

Н О В Ы Й М И Р

К Н И Г А Ш Е С Т А Я

СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ:

Н. НИКАНДРОВ.
Л. СЕЙФУЛЛИНА.
СЕРГЕЙ БУДАНЦЕВ.
СЕРГ. КЛЫЧКОВ.

СТИХИ:

Г. САННИКОВ.
И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ.
М. ГОЛОДНЫЙ.
А. ПРИШЕЛЕЦ.
П. ШАМОВ.
П. РАДИМОВ.
ВЛ. МАЯКОВСКИЙ.

СТАТЬИ, ОЧЕРКИ, ПИСЬМА:

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.
В. Я. БРЮСОВ.
П. КОЗЛОВ.
Н. СМИРНОВ.
Н. ЗАМОШКИН.
Б. АНИБАЛ.
Р. КУЛЛЭ.
Я. ТУГЕНДХОЛЬД.
С. ВЕТЛУГИН.

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ.

М О С К В А
4 . 9 . 2 . 6

СЕЛИВЕРСТОВСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

СРЕТЕНКА, 24 (вход с Селиверстовского пер.). Тел. 4-68-22.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Горлов., ушн., носов.	с 8—8	Нервные	с 8—8
Венерич. и мочепол.	8—8	Туберкулез легких. с 8—12 и 6—8	
Женские и акуш.	8—8	Внутренние.	8—8
Хирургические.	8—8	Детские.	8—8
Глазные (подбор очков)	8—8	Кожные.	8—8
Желудочные	с 8—10 и с 12—2	Лечение угрей и пятен, леч. волос (выпад., перхоть)	8—8
Болезни сердца.	12—1	Искривл. позвоночника и туберк. костей (налож. с'емн. корсетов). с 7—8	
Болезни мочевых путей (мочев. пузыря, лоханок и почек) с 8—8		АНАЛИЗЫ: крови, мочи, мокроты и желудочного сока.	

Зубоврачеб. отд.: с 8—8 ч.; хирург. полости рта (бол. десен) с 3—4 ч.

Рентгеновский каб.: снимки, просвечив., лечение бол. кожи с 10—1 ч.

Электролечебный каб.: все виды электролечения, ванны (солян. и углекисл.), горн. солнце с 8—8 ч.

Вызов врачей на дом по всем специальностям.

По воскрес. и праздн. прием с 10—4 ч. КОНСУЛЬТАЦИЯ ПРОФЕССОРОВ.

ЛЕЧЕБНИЦА

Т-ВА ВРАЧЕЙ

б.о-ва русских врачей, суш. с 1861 г.

Арбат, 25, тел. 3-70-85.

ПРИЕМ ВРАЧАМИ-СПЕЦИАЛИСТАМИ:

Внутренние 9—8
 Кож., венер. 9—12 и с 3 1/2—7
 Ухо, гор., нос 9—11 1/2 и с 2—7
 Детские 11—7
 Мочепол. 12—3; 7—8
 Глазные 10—2; 5—7
 Хирург. 9—12; 2—7
 Женск. акуш. 10—7
 Нерв 10—12; 3—5 и с 7—8

Зубные и искусствен. зубы 9—8
 Туберкулез костей и суставов
 Ортопед. вторн., четв. и суб. 7—8
 Лечен. угр. и пятен, лечение волос (выпад., перхоть): понед., пятн., среда от 7—8; 1—3

По воскресеньям прием больных 10—3.

Рентгеновск. и электро-светолечебный кабинет: снимки, просвечивания (вторн., четв. и суббота от 5—7 ч.), лечение (понед., среда, пятница 5—7 ч., вторн., четв. и суббота 12—2 ч.). Горное солнце (кварцев. лампа). Хирург. пол. рта. Анализы: крови, мочи, мокроты и др. 9 1/2—8 ч.

Приним и консультацию. профессоров. По предварит. записи. ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ.

ПЕТРОВОРОТСКАЯ ЛЕЧЕБНИЦА

Петровские ворота, Петровка, 32, тел. 1-80-28.

ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ и КОНСУЛЬТАЦ. ПРОФЕССОРОВ.

Внутренние	с 9—9 ч.	Мочепол. отд.	с 9—9 ч.
Хирургическ.	9—9	Ухо, горло, нос 10—3, 5—8	
Женские и акуш.	9—9	Нервные	11—1; 4—8
Венерич. и кожные	9—9	Желуд.-кишечн.	6—8
Врач. косм. (волосол.)	1—5	Глазные	12—2; 4—6

ЭЛЕКТРОЛЕЧ. КАБ.—все виды электролеч. (горное солнце, аэтария д'Арсонваль).

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ КАБИН.—все виды зубо-врачебн. помощи.

АНАЛИЗЫ—крови, мочи, желуд. сока, мокроты и пр.

СТАЦИОНАРИЙ для женщ. и хирург. больн. с родильн. отдел.

По воскрес. и праздн. пр. с 10—4 ч.

ВЫЗОВ ВРАЧЕЙ НА ДОМ.

Старо-Триумфальная ЛЕЧЕБНИЦА

Садовая, уг. Тверской, д. 2/70, тел. 5-94-40.

Врачи-специалисты и консультац. професс.

Внутр., детск.	10—8	Хирургия	2—4
Кожн.-в. и мочеп.	9—8	Женск., ак.	9—8
Ухо, нос, горло	10—2; 5—6	Нервн.	6—8
Главные 9—10; 4—5 1/2		Туберкулез	9—10; 4—6
Влив. Сальварс. „914“		Зубные.	9—8

Вызов врач.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ВРАЧЕЙ и ЛЕЧЕБНИЦ ПРИНИМАЮТСЯ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ на 1926 г.

НА БОЛЬШУЮ ЕЖЕДНЕВНУЮ и самую распространенную советскую газету— центр. орган правит. СССР

ИЗВЕСТИЯ

ЦЕНТРАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬН. КОМИТЕТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК и ВСЕРОСС. ЦЕНТРАЛЬН. ИСПОЛНИТ. КОМИТЕТА СОВЕТОВ РАБОЧИХ, КРЕСТЬЯНСК. и КРАСНОАРМ. ДЕП.

(10-й год изд.) Под ред. И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА. (10-й год изд.)

На страницах «Известия ЦИК СССР и ВЦИК» уделяется внимание: освещению иностранной и внутренней политики, деревне и крестьянству, советскому строительству, борьбе за режим экономии, поднятию производительности труда, экономической жизни СССР, декретам и постановлениям Советского Правительства, партийной и профессиональной жизни.

«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» дают богатейшую информацию, помещая телеграммы и корреспонденции от собственных корреспондентов из всех крупных городов СССР, а также из европейских, азиатских и американских центров.

«Известия ЦИК СССР и ВЦИК» по своему содержанию близки и понятны всем: рабочим, крестьянам и всем трудящимся.

Ежедневно в тексте: рисунки, карикатуры, портреты полит. деятелей.

У С Л О В И Я П О Д П И С К И:
 на 7 мес. (июнь—декабрь)—6 р.45 к., на 6 мес.—5 р.50 к., на 3 мес.—2 р.85 к., на 1 мес.—1 р.

Цена отдельн. номера—5 к. За границу—на 1 мес.—1,5 долл.

Подписка принимается: в Москве—Главной Конторой Известий ЦИК, Тверская, 48, и городских отделениями.

В провинции—отделениями и контрагентами Гл. К-ры «Известий ЦИК» и почтово-телеграфными конторами.

Н О В Ы Й

М И Р

**ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И**

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

Ж у р н а л

**К Н И Г А
Ш Е С Т А Я
И Ю Н Ъ**

М О С К В А
4 . 9 . 2 6

Москва. Главлит № 61.788.

13.000 экз.

«Мосполиграф». 16-я типография, Трехпрудный, 9.

СОДЕРЖАНИЕ

	<i>Стр.</i>
1. Н. НИКАНДРОВ.—Ночь, повесть	5
2. И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ.—Стихотворение	48
3. Г. САННИКОВ.—Два стихотворения	49
4. Л. СЕЙФУЛЛИНА.—Канн-кабак, повесть (окончание) . .	51
5. Мих. ГОЛОДНЫЙ.—Два стихотворения	81
6. Антон ПРИШЕЛЕЦ.—Утро, стихотворение	83
7. Сергей БУДАНЦЕВ.—Сын, рассказ	84
8. Петр ШАМОВ.—Отцу, стихотворение	98
9. П. РАДИМОВ.—Журавли, стихотворение	99
10. Серг. КЛЫЧКОВ.—Чертухинский Балакирь, ром. (продолж.)	100
11. Вл. МАЯКОВСКИЙ.—Богомольное, стихотворение	113
—	
12. А. Н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ.—Поиски объекта	116
13. ИЗ АРХИВА ВАЛЕРИЯ БРЮСОВА (с предисл. Н. Ашукина)	129
14. П. К. КОЗЛОВ.—Монголо-Тибетская научная экспедиция .	133
ДОМА И ЗА ГРАНИЦЕЙ	
15. Ник. СМИРНОВ.—На том берегу	141
16. Н. ЗАМОШКИН.—По альманахам и сборникам	150
17. Б. АНИБАЛ.—Около Есенина	155
18. Р. КУЛЛЭ.—О современной немецкой литературе	158
19. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—О современной живописи	165
20. С. ВЕТЛУГИН.—Казачья Лопань	171

ОТЗЫВЫ О КНИГАХ:

Бор. ГУБЕР.—Ник. Никитин „Полет“	176
Анна БАРКОВА.—П. Низовой „Черноземье“	177
Ф. ЖИЦ.—В. Ряховский „Сокращение штатов“	178
К. ЛОКС.—Г. Устинов „Черный ветер“	179
Н. ЭЙШИСКИНА.—Б. Келлерман „Братья Шелленберг“ . . .	180
П. МАРКОВ.—А. Луначарский „О театре“	180
В. БРАГИН.—Э. Форстер „Поездка в Индию“	181
Арк. ГЛАГОЛЕВ.—В. Ф. Переверзев „Творчество Гоголя“ . .	183

Н о ч ь

П о в е с т ь

Н. НИКАНДРОВ

I

Внутренность большого зала в разрушенном доме. Крыши нет, ее заменяет открытое небо. Ни окон, ни дверей; вместо них, в остатках красных кирпичных стен зияют ряды сквозных дыр. Полов тоже нет,—голая, исчерченная прямыми тропинками земля, с зеленеющей кое-где низенькой травкой, с высокими кустиками худосочного бурьяна в сырых углах.

Передняя стена зала разрушена до основания. Только на самой середине ее уцелел небольшой кусок кирпичной кладки в виде косяго паруса,—да и тот вечно угрожает падением.

Остатки боковых стен невысоки: где в сажень, где в человеческий рост, где еще ниже. В них чернеют искусственно проломанные, захватанные руками дыры,—очевидно, ходы в смежные такие же комнаты.

Больше других сохранилась задняя стена.

Над ее иззубренными краями и в амбразурах окон виднеется далекое темное небо и панорама ночной Москвы, с горящими в разных местах города,—у входов в кино,—яркими, цветными, ядовитыми на вид, огоньками: малиновым, зеленым, оранжевым...

Под фундамент этой стены, в трех местах, подрыты чернеющие глубокой тьмой дыры, напоминающие лисьи норы. Это пролазы в сохранившиеся подвалы.

Теплый летний вечер.

Ярко светит полная луна.

Вокруг развалин, на некотором отдалении, все время стоит смешанный гул столичного города: железное дребезжание приближающихся и удаляющихся трамваев; нервные, пугающие своей внезапностью гудки автобусов...

А внутри руин, в зале, сидят на земле вдоль всех стен и передвигаются, вместе со своими тенями, сами похожие в этот час на тени, какие-то странные, совсем необычные люди...

II

Женская фигура без лица, с очень красивыми формами, вся, с головы до ног, закутанная в дерюгу из дырявых мешков, несколько мгновений стоит посреди развалин, облитая светом луны, точно бронзовая статуя, изображающая задумчивость. Потом медленными-медленными пластическими движениями она удаляется к задней стене, садится на камешек, скрещивает на груди руки и надолго застывает, как странное, незаконченное, еще без лица, изваяние.

Антоновна, нагорбленная старуха, с выбивающимися из-под темного платка космами седых волос, с синяком под глазом, сидит под той же стеной на кирпичах, сложенных в тумбочку, трудно задирает вверх голову, глядит в небо:

— Луна-то, луна, а поглядите, девочки, какая оттуда надвигается наволочь... Как бы опять не пошел дождь...

Осиповна, пожилая женщина, с желтым опухшим лицом, с повязанной белым платком щекой, сидит рядом с Антоновной, устремляет взгляд туда же:

— Да-а... Если и этой ночью польет дождь, опять все кинутся, вместе с гостями, в подвальные помещения. А сбегать в ларек, купить заранее свечей, ни одна сука не позаботится!

Антоновна бросает укоряющий кивок в ту сторону, где, под боковой стеной, молоденькая, в шляпке, Настя, покуривает, сидя на камешке, рядом со своим гостем:

— Разве молодые когда-нибудь о чем-нибудь заботятся? Им лишь бы мазаться, да рядиться! Только мы с тобой, Осиповна, и поддерживаем тут мало-мало чистоту и порядок. А то бы...

Осиповна оглядывает земляной пол, качает головой:

— А насорили как! А насорили как!

Кряхтит, встает.

— Пойти, взять веник, подмести, что ли.

Идет в угол за веником.

Антоновна ворчит низко, отдельно:

— Мусорить много охотников, а коснись убирать—некому!

Вздыхает.

Осиповна веником, сделанным из зеленого бурьяна, не торопясь, сметает с земли в один угол бумажки от закусок, жестянки от консервов, коробки от папирос, пустые бутылки...

Поднимает бутылку, рассматривает.

— Если б не отбитое горлышко, можно было б снести в ларек, получить залог...

Бросает бутылку, метет дальше, натывается на китайца, распластанного ничком на земле:

— Эй, ты, ходя, вставай! Чего разлежся на дороге? Не нашел другого места?

Она сперва тычет его концом веника в мертвенно-желтую щеку, потом пинает носком башмака в бок.

— Слышишь, китаеза?..

С жестом досады бросает его в покое, продолжает мести:

— Вот накурился этого самого дурману!

Антоновна чмокает с завистью:

— Значит, у человека есть на что курить, если накурился. А мне вот и хочется понюхать, да никак не могу сбить полтинник на один порошок.

Тоскливо стонет:

— Йох!.. Хотя бы гость какой ни на есть подошел!..

Смывает на свой наряд:

— Знаешь, Осиповна, была б на мне одежда почище, да шляпка, да пудра, вышла б я сейчас на Неглинную, да подцепила б себе какого барина!

Осиповна метет, усмехается:

— Ну, нет, Антоновна. Гулять по Неглинной, да по Тверской наше с тобой время прошло: не те годы. Да и теперь там,—где надо и не надо,—горит такое электричество...

Антоновна тоном сладостных воспоминаний:

— Да... Было времячко, да прошло...

Спустя минуту, кричит в сторону резким голосом:

— Настыка! Манька-Одесса! И кто там есть еще, помоложе! Все-таки уберите с дороги китаезу, перенесите в дальнее помещение! Неприлично! Могут притти хорошие гости!

Две молодых женщины, нарядная Настя и босая, простоволосая, похожая на подростка-нищенку Манька-Одесса, выходят из тени на середину руин, берут бесчувственного китайца за руки, за ноги, и при свете луны уволакивают его через один из проломов за боковую стену.

Фигура без лица встает, медленно-медленно потягивается, как бы показывает луне свои красивые формы, потом садится на прежний камешек и вновь надолго окаменевают,—уже в другой позе.

Это она продлевает время от времени и потом, в продолжение всей ночи...

III

Мужик, лохматый бородач, лет пятидесяти, в грязном фартуке и смазных сапогах, из мастеровых, тяжело перешагнув через разбросанный кирпич передней стены, идет по рядам сидящих на камешках женщин, присматривается, выбирает.

Когда мужик доходит до Антоновны, она заправляет под платок седые космы, прикрывает рукой синяк под глазом, кивает в глубь развалин:

— Сходим, что ли?

Мужик приостанавливается, не решается:

— Оно и надо бы сходить... и в роде предостерегаюся... не знавши.

Антоновна удивляется:

— А чего тут остерегаться? Ты молодых остерегайся, глупых. А я женщина пожитая, рожала, детей имею, — сама каждого остерегаюсь. Сразу видать, что недавно из деревни приехал.

Мужик стоит, кособочится, думает, шлепает одними губами:

— Кто его знает....

Потом морщит нос на ее ветхое, в заплатках, платье, на замусленный, в дырках, платок..

Антоновна не смущается:

— Ты на мою одежду не смотри. Я по крайней мере каждую неделю в баню хожу. А другая и в шляпке и в шелковых чулочках, а в бане сроду не бывает.

Встает, берет мужика под руку, прячет лицо в тень, хихикает:

— Идем?

Мужик загорается внутренним жаром, широко раскрывает темный рот, похожий в этот момент на пасть, таращит заблестевшие в лунном свете глаза, обнимает легонько Антоновну за талию, покалывает ее щеку проволочной бородой, шепчет:

— Пройдемси в темный уголочек...

Антоновна вывертывается из его объятий. С достоинством:

— Ну, нет! Я не урод какой-нибудь, чтобы по темным уголкам прятаться, и не заразная!

Мужик жарко, хрипло, тихо:

— Ну, посидим под стенкой покеда...

Антоновна решительно:

— И сидеть не хочу! Чем время зря терять сидевши, лучше сразу до места итти!

Мужик, низко свесив одну руку, прощупывает длинный, в роде кишки, карман:

— А почему?

Антоновна сговорчиво:

— С тобой сладимся. Не беспокойся, лишнего не возьму. Знаю, что в другой раз придешь. Только спроси Антоновну, меня тут каждый знает... А ты что, вдовый?

Мужик откровенно:

— Я с одной на фатере четыре года жил, потом у нас вышло расстройство, и она на той неделе к молодому ушла. Думает с молодым будет мед! А я, покедова с новой с какой познакомлюсь, пришел вот сюда, к вам,—охоту сбить.

— И хорошо сделал, что пришел. Познакомишься со мной, постоянно будешь ходить.

— Я и сам не хочу трепаться зря,—сегодня с одной, завтра с другой. Я люблю, чтобы все было к череду, по-семейному.

— Вот и идем со мной.

— А сколько ты с меня слупишь? Может, у меня и денег таких нету?

- Ну, трешня-то найдется.
- Трешня—дорого.
- Это дорого? Раз в „Эрмитаже“ мне один гражданин 20 рублей дал!
- Тута не „Ермитаж“. Тута воля. За место не платите.
- А сколько же для тебя не дорого?
- Рублевку дам, чтобы не торговаться. По своему достатку.
- Ополоумел, что ли? Кто же с тобой за рублевку пойдет?
- Не пойдет тута, в другом месте найду. Бабы они везде бабы.
- Все равно одинаково.
- Давай два!
- Полтора!
- Ну, идем. И это только для тебя. Вижу, что трудящий.
- Знамо, трудящий. Не буржуй.
- Антоновна ведет мужика под руку к боковой стене, останавливается перед самым проломом,—ходом в смежное помещение.
- Деньги вперед!
- Ладно, ладно.
- Не „ладно“, а давай сейчас!
- На, на, не бойся.
- Они низко наклоняют головы, проходят гуськом в пролом, исчезают за стеной.
- Настя, в тени, под стеной, попыхивая папироской, кричит со своего места:
- Осиповна, за сколько она, за полтора пошла?
- Осиповна устало, в землю:
- За полтора.

IV

Под фундаментом задней стены, в одной из трех лисьих нор, в средней, в черной темноте, вспыхивает желтым огоньком спичка и освещает две руки, отсчитывающие деньги. А в следующий момент оттуда вылезают на поверхность земли молоденькая Фроська и ее гость, мужчина средних лет, с выбритым, строгим, почти свирепым лицом.

Фроська, здоровая на вид, цветущая, живая, в яркой шляпке, в короткой юбке, одной рукой стряхивает с колен землю, а в другой держит перед недовольно-удивленным лицом деньги:

— Сколько же вы дали?..

— Как договаривались.

И бритый-строгий, покаянно опустив в землю глаза, спешит к выходу из руин.

Фроська цепко виснет на его руке:

— Прибавьте полтинник на пиво!

— Довольно с вас. Достаточно заплатил.

— Ну, двугривенный на папиросы!

— Нет, нет. Не могу.

— Ну, хоть гривенник на трамвай! Гривенника жаль?

— Не люблю когда кланчат. Я ведь, кажется, с вами не торговался,—считал неудобным,—а сколько запросили, столько и дал. А вы и еще кланчите.

— Гражданин! Только гривенник! Я не прошу рубль! А другие и по три рубля мне дарят!

Бритый-строгий, чтобы отвязаться, с раздражением дает ей:

— На-те!

Фроська отпускает его руку:

— Вот теперь спасибо!

Останавливается в руинах, кричит ему вслед:

— Счастливо вам! Заходите в другой раз!

Прячет в чулок деньги, становится лицом к луне, пудрит перед зеркальцем нос, красит губы, румянит щеки, поправляет возле ушей кудряшки волос, запихивает под кофту на месте груди два высоких комка тряпья, потом, оглядев всю себя и изобразив примерную дергающую походку, которой она сейчас защеголяет по освещенным улицам Москвы, уходит из руин в город,—за новым хорошим гостем.

V

Осиповна встает, идет, подсаживается к Насте, обращается к ее гостю:

— Гражданин, одолжите покурить.

Гость охотно угощает ее:

— Пожалуйста! Курите! Мне не жалко! Я такой человек! Каждому сочувствую!

Осиповна курит, наслаждается, сплевывает:

— А Фроська, шкуреха, опять на Неглинную побежала, гостя ловить.

Настя пускает изо рта дым:

— Ну и что ж?

Осиповна прежним тоном:

— За сегодняшний вечер она уже шестерых приняла, за седьмым побежала. А вся ночь еще впереди.

Настя, с одобрением:

— Что ж. Хорошо.

— Мало хорошего. Она будет семерых принимать, а другие все без почина сидят.

— Значит, умеет. Сумей ты. Сумей ты семерых принять.

Осиповна с гордостью:

— Семерых? Никогда! Я еще понимаю принять девушке в вечер двух-трех гостей, от силы четырех. Но не семерых же!

Настя смеется:

— Фроська, она и семнадцать примет. И осуждать ее за это тоже нельзя. Пока молодая, пока мужчины интересуются ею, она старается

обеспечить себя на будущее. Она в твои годы не будет так, как ты, в развалке сидеть. Мы вот и курим, и нюхаем, и выпиваем, а она знает одно: копит и копит деньги. Которая с ней на квартире девушка Лелька живет, так та рассказывает, что у Фроськи две тысячи денег в трудовой сберегательной кассе на книжке лежат. А до чего экономная она в расходах! Привозит ей мужик с базара дрова, а она, заместо денег, предлагает ему остаться с ней. Приходит к ней из коммунхоза получать деньги за электричество старичок, а она и его замарьяжит. То же самое с обойщиками, когда оклеивает новыми обоями комнату, и с печником, когда ремонтирует печь,—со всеми, со всеми! И никому не платит, и денежки целиком остаются у ней в кармане.

Гость, вернее, силуэт гостя, едва заметный под стенкой, в тени:

— Гы-гы-гы! И трубочиста с собой положит, когда тот почистит у них в доме трубы? Гы-гы-гы! Такая девушка всегда будет хорошо жить.

Настя:

— А конечно! Она и сама говорит: „Девочки, мне еще только год поработать, а тогда буду барыней“.

Осиповна:

— Д... Будет... Как раз... Держи карман шире...

VI

Из пролома в боковой стене выходят, согнувшись, гуськом прежний лохматый мужик и Антоновна.

Антоновна, веселая, легкая, довольная, что заработала, провожает мужика к выходу из руин:

— Пупсик! Подари гривенничек!

Мужик, разочарованный, мрачный, с перекошенным черным лицом:

— Нету, нету. Чего там. И так дорого заплатил, погорячимшись. А приведись мне сейчас, я б тебе и копейки не дал. Задаром с тобой не пошел бы.

С отвращением плюет в сторону:

— Тьфу!

— Ну, пятак! Только один пятак! Пятачек не деньги!

— И не проси. Все равно не дам. Будет с тебя. Пожил с тобой я каких-нибудь пятнадцать минут, а полтора рубля выскочило. А мы за полтора рубля, знаешь, сколько работаем?

— Ну, три копейки! Мне не для денег, мне только для почину, у тебя рука легкая!

Обнимает его за необ'ятную талию, нежно:

— Пупсик, ну, не скупись, не скупись...

Мужик, не глядя на нее, с озлоблением тычет ей в руку медяк:

— На, с-смола!!!

Он уходит.

Она ему в гневную, удаляющуюся спину:

— До свиданья! Смотри, в другой раз когда приходи! Тогда можно будет и подешевле!

VII

Солдат входит в руины, стоит, волнуется, глотает большими глотками воздух, переступает с ноги на ногу, жадно щурится на сидящих под стенами женщин.

Настя к Осиповне:

— Жалуешься, что без почину? Вон солдат пришел. Иди, замарьяжь его.

Осиповна с жестом пренебрежения:

— Этот без денег. Этот только так. Этому только бы посмотреть. Это не гость.

— А каких же ты хочешь? Позже, когда окончатся театры, тогда безусловно можно ожидать приличную публику. А пока чище этих не будет.

— А ну его. Не пойду. Чего зря ходить? Пускай какая другая идет, если хочет...

Беременная женщина, с высоким животом, с немолодым изможденным лицом, выходит из темного угла на свет, приближается к солдату, заигрывает с ним:

— Люблю военных!.. Военные—это моя болесть!.. А молоденький какой?.. Чего молчишь?.. Давно на службе?..

Солдат глядит вбок:

— С этого года.

Беременная ласково:

— Ну, что?.. Пойдем?.. Чем так стоять, смотреть, только себя расстраивать...

Солдат, с разочарованным видом:

— Рад бы в рай.

— А что? больной?

— Хуже!

— Денег нет?

— Да.

— Это плохо. Хотя я дорого с тебя не возьму. Сознаю, что военный. Где тебе взять? Мне бы какой-нибудь рублик.

— И того нету.

— Но полтинник найдется?

— Ни копейки нету.

— А это вовсе нехорошо.

— Вот это главное!

Беременная, после небольшой паузы:

— Так и будешь тут стоять?

Солдат передергивает плечами:

— Постою.

Беременная раздумывает:

— Что же мне с тобой делать, что же мне с тобой делать?.. Жаль хорошего человека, жаль... Вот что: хочешь, оставишь что-нибудь из одежды?

Солдат осматривает свой наряд:

— Из одежды нельзя. Будет видать. И тогда не распутаясь.

— Ну, из белья: исподники, рубаху?

— А это ничего, подходяще.

— Белье старое? Давно выдавали?

— Вовсе новое, ни разу не стиранное.

— Ну, что с тобой делать. Пойдем. Тоже и таким кто-нибудь сочувствовать должен.

Ведет его к боковой стене.

Солдат идет, спотыкается, бормочет в землю:

— На чужой стороне... Нету подходящих знакомств...

Беременная проталкивает его в один из проломов в стене:

— Идем туда. Там повольней белье скидывать.

Они скрываются за стеной.

VIII

Инвалид, на двух костылях, с красными мясистыми щеками, с бравыми унтер-офицерскими усищами, входит, весело глядит вокруг, находит глазами Осиповну, направляется прямо к ней, разливается широкой улыбкой во все лицо:

— Ты тут?

Осиповна встает, идет навстречу, радуется:

— А то где же мне быть? Заждалась тебя. Думала не придешь, обманешь.

Инвалид геройски:

— Я человек однословный: сказал - сделал!

Осиповна прошупывает мотню висящей на нем холщевой сумки с подаяннем:

— А винца обещал взять, — взял?

Инвалид с торжеством достает из-под полы бутылку в вытянутой руке, отстраняет ее:

— А это что?

Прищелкивает языком:

— А закуска какая!

Похлопывает рукой по спине.

Осиповна провожает его к одному из пролазов в стене:

— А деньги опять медяками принес?

— Червонцами не подают!

— Два часа считать...

— Сосчитаем! Ко мне и так старший приказчик два раза из магазина на улицу выходил, мелочь для сдачи у меня забирал.

— Сегодня где стоял?

— Возле магазина бывшего Елисеева. Теперь МСПО.

— Все-таки порядочно настрелял?

— Не больно.

— Почему так?

— Мало в обращении мелкой медной монеты: редко у кого в кармане имеется. Чеканка производится в Ленинграде: пока начекают, да пока подвезут... Потом наладится—будет лучше.

Осиповна со скрытым недоверием, протяжно:

— Безногому должны хорошо подавать.

Обнимает его, нежно целует в щеку:

— Полчервяка все-таки настрелял?

Инвалид уклончиво:

— Будет время—сосчитаем.

Щиплет ее за талию:

— Говоришь, думала обо мне?

— Только об тебе и думала.

— Что же ты думала?

— Все.

— Ну, что „все“? Хе-хе...

— Думала, где-й-то он там сейчас стоит. Думала, да как ему там сейчас стоять, не прогоняет ли милиция. Думала, да как ему там сейчас подают. Думала, да скорей бы бросал стоять, сюда приходил.

— Хе-хе... Только об этом и думала? Больше ни о чем? А такого ничего не думала? А? Хе-хе...

Тормошит ее, хохочет.

Осиповна улыбается:

— Как не думать? Думала.

Инвалид с жаром целует ее в губы, страстно шепчет:

— Когда получше познакомимся, на квартиру жить возьму! На жилой площади будешь жить!

— Это все мужчины так говорят. Чтобы девушка лучше старалась.

— Нет! Тогда увидишь! Я не люблю двуличничать! Лишь бы ты со мной не двуличничала!

Они пролезают в пролаз.

IX

Бритый-строгий, прежний, возвращается в руины, с решительным видом догоняет уваливающую от него Фроську:

— Фрося, стойте! Куда же вы от меня бежите? Все равно не уйдете!

Фроська, разгоряченная, красная, вызывающе останавливается:

— Чего вы от меня хотите? Я вам должна?

— Да! Должны!

— Сколько я вам должна?

— Не сколько, а что! Вы должны сказать мне правду: вы больны или нет?

Фроська нагло хохочет:

— Ха-ха-ха!

К женщинам:

— Девочки, слышали: я больная! Ха-ха-ха!

К бритому-строгому:

— Может, вы сами больные?

Настя с своего места:

— А вот это скорей! Жаль Владьки тут сейчас нет! А то бы он ему показал, какая она больная!

Антоновна подходит:

— Гражданин, об этом надо было раньше думать, если вы так боитесь. Которые так боятся, те сюда не ходят.

Бритый-строгий размахивает руками:

— Как это так, „раньше“ думать! Раньше мне не надо было думать, потому что я доверился на ее честное слово! Пока мне другие про нее не сказали, я даже ничего не подозревал!

Фроська шурится, нацеливается в него щелочками глаз, вытягивает шею вперед:

— Кто, какая гнида могла вам на меня доказать?..

Бритый-строгий отводит рукой ее взгляд:

— Это не важно, кто. Важно, чтобы вы сами сознались мне во всем. Тогда, по крайней мере, я смогу сейчас же начать лечиться, если вы меня заразили.

— Ну, и лечись!

— Прошу говорить со мной по-человечески.

— А я—по-собачьему?

Антоновна примирительно:

— Фрося...

Фроська дергается от нее:

— А ну его! Надоел! С самой Неглинной пристал ко мне „больная“ и „больная“!

Антоновна в сторону:

— Хотят и удовольствие получать и быть здоровыми.

Фроська вертится на месте, злится:

— Помешался умом! Сознайся ему, что я больная, когда я даже ничего не замечаю за собой! Не шел бы тогда со мной, если я больная! Наверное, сам уже не раз болел, оттого и боится опять заразиться! Жаль Владька мой сидит арестованный...

— Пожалуйста без угроз!

— А кто вам грозит?

— В-вы! И если вы говорите, что вы здоровая, тогда отчего же вы боитесь пойти сейчас со мной к доктору на осмотр?

— К доктору? Срамить себя? Вот еще новости какие!

— Он только освидетельствует вас, а потом, когда будет делать анализ, вы можете даже уйти,— значит, и всего-то вы потеряете каких-нибудь десять минут.

— Девочки! Глядите! Ну, разве не помешанный? Пойду я ему среди ночи к доктору!

— Но я от вас так все равно не уйду! Неужели вы думаете, что я смогу сейчас уйти домой и лечь спокойно спать? Да ни за что! Предупреждаю: если вы добровольно пойдете сейчас со мной на осмотр, я отблагодарю вас за потерянное время, а если откажетесь—с милицией возьму!

— Иди, зови милицию! Иди! Зови!

Антоновна хозяйственно:

— А сколько вы ей дадите, если она пойдет?

Бритый-строгий, момент подумав:

— Трояк дам.

Фроська со смехом:

— О!.. „Трояк“!.. Я за это время скольких гостей отпущу!

Антоновна спокойно:

— Трояка, гражданин, мало. Теперь не день. Днем она и за два рубля пошла бы. А теперь ночь, когда у нас самые гости.

— Ну, пятерку!

— За пятерку я тоже несогласная. Буду я мараться за пятерку.

Бритый-строгий, не в силах скрыть бессильную злобу, со скрежетом зубов, отдельно:

— Сколько же вы... хотите... с меня... содрать???

Фроська смотрит на Антоновну. Та показывает ей 10 пальцев.

— Десятку дадите, пойду.

— Идемте!

Они быстро уходят.

Антоновна Насте, садясь на камешек:

— Вот как Фроське деньги в руки лезут,—сами! Только бери.

Настя со своего камешка:

— Она тебе тоже должна из той десятки что-нибудь дать, что ты ей присоветовала.

— А, конечно, должна.

Х

Солдат и беременная выходят из пролаза.

Солдат, в печальном раздумьи, опустив голову:

— Прощайте, мамаша!

Беременная, с узелком солдатского белья под мышкой, кротко:

— Прощай, сынок! Заходи когда!

Солдат не поднимает головы:

— Зайду, если!

Беременная, отставая от него:

— Может, вам из продуктов что выдают? Я и продуктами возьму: мылом там, табаком, крупами... У меня семейство.

Солдат:

— Ладно.

Исчезает.

Беременная садится на землю рядом с Антоновной.

Они, работая в четыре руки, внимательно разглядывают на лунный свет солдатское белье: исподники, рубаху...

XI

Из другого пролома выходят инвалид на костылях и Осиповна с повязанной щекой, оба легонько выпившие.

Осиповна жалобно:

— Прибавил бы мне еще рублик. Я так ждала тебя. Скольким хорошим гостям отказала.

Инвалид твердо:

— Пой, ласточка, пой! Ты и так у меня, у калеки у несчастного, много медяков из кармана повытаскала! Думаешь, не видал? Пьяная-пьяная, а свое дело знает!

— Ничего подобного!

— Со мной—не спорься! Раз говорю, значит видал!

— Если я и подобрала с земли какую мелочь, то все равно ты сейчас пойдешь, жуликам в карты проиграешь.

— А это неизвестно! Может, выиграю!

— У жуликов не выигрывают. Дай, правда, рублик. Лучше в другой раз меньше дашь. А то в деревне, пишут, издохла корова, я на корову, на хорошую, на колмогорскую собираю.

— Мели, Емеля! Здесь, на этой мусорной свалке, тебе так же нужна колмогорская корова, как мне, допустим, на Тверской, возле Елисеева, нильская крокодила! Хе-хе...

Он уходит, постукивает по кирпичам костылями...

Она остается, садится под стенкой, высыпает на землю кучу медяков, улыбается в лунном свете, считает...

XII

Возвращаясь от доктора в руины, Фроська прихватывает с собой по дороге юношу-вузовца.

Антоновна приветливо:

— Скоро ты, Фрося, скоро. Магарыч с тебя, что я тебе помогла десятку с того человека слизнуть. Десять рублей не десять копеек!

Фроська:

— Знаю. Магарыч потом, я не отказываюсь. А сейчас, видишь, некогда!

Вузовцу:

— Ну, молодой человек, чего же вы остановились? Идемте!

Вузовец стоит у кирпича передней стены, глядит в руины глазами приговоренного к смертной казни, меняется в лице:

— Как будто... немного того... страшновато...

Фроська весело изумляется:

— Кого, меня боитесь? А еще, говорите, студент! Но, может, вы вовсе и не студент? У нас бывают студенты, так те ничего не боятся.

Пробует обнять вузовца.

Вузовец мучительно отстраняется.

Фроська:

— Чего вы боитесь? Не бойтесь! Тут вас никто не обидит. На квартирах у девушек фраера вас скорей обернут и еще изобьют!

Вузовец не отрывает смертельных глаз от руин:

— Погодите, не торопите меня... Я сперва посмотрю...

Дрожит.

Фроська со смехом:

— А дрожит как! Видать, что в первый раз пришел.

К женщинам:

— Девочки! Глядите! Невинного привела!

Смеется.

Антоновна встает из-под стены, подходит, обращается сперва к студенту:

— Здравствуйте.

Потом к Фроське:

— Это у них без привычки. Привыкнут,—будут смелей. А ты не смейся. Смеяться не хорошо. Проводи их туда.

Указывает в глубь развалин:

— Там им будет вольней распорядиться.

Уходит на свое место.

Фроська вузовцу:

— Ну, как? Идемте?

Вузовец с улыбкой больного:

— Погодите, погодите немного...

— Чего ждать-то?

— И хочется пойти с вами и... боюсь.

— А как же другие ходят, не боятся? Надо пересиливать страх!

Вузовец, как в лихорадке:

— Один голос во мне говорит: „иди, не бойся“. А другой: „не ходи, пропадешь“. Вот и разрываюсь на части. Знаю, что если пойду, то потом недели две-три буду каяться, убиваться, ночей не спать, все думать, что заразился от вас. А не пойти тоже не могу...

Фроська обиженно:

— Вот глупости какие! Если бы я была заразная, а то я совсем здоровая! Можете даже у девочек спросить!

Кричит Антоновне:

— Антоновна, слышишь, я заразная!

Антоновна из-под стены:

— Разве такие девочки бывают заразные? Вы только поглядите на нее! Это даже если кто не понимает, и то...

Вузовец с нежностью глядит на холодное лицо Фроськи, тепло улыбается:

— Главное, вы страшно напоминаете мне мою прежнюю. Такая же миниатюрненькая, аккуратненькая, с такими же красными щечками...

Ласкает ее подбородок, жмурится от испуга и наслаждения.

— Вот и пойдемте со мной, если я вашу вам напоминаю. По крайней мере вспомните.

— В конце концов, конечно, не слажу с собой и пойду... Мужчина в этом отношении скверно устроен, прямо возмутительно... Иногда на нас накатывается такая волна, такая смертельная тоска, когда ничем не заменить нам вашего брата...

Фроська хвастливо:

— С нами ни один человек не затоскует! Мы любую тоску из человека в два счета выгоним!

Приглядывается к нему:

— А красивенький какой! И я, дура, только сейчас это заметила! Сядемте пока, если так.

Сажает его рядом с собой на кучу битых кирпичей.

— Ты такой хорошенький, такой симпатичный, что, пока я разговаривала с тобой, уже успела влюбиться в тебя. Потрогай, как бьется мое сердце. Дай руку, не бойся, трогай, трогай. Видишь, что ты сделал со мной? Теперь я так не отпущу тебя! Раз мужчина мне нравится, то я уже не могу его так отпустить.

Смотрит на него в упор, любитесь им.

Вузовец смотрит на нее, любитесь ею:

— Ну, вылитая моя! Как две капли воды! Так жалею, что разошелся с ней... Такая была редкостная, такая замечательная...

— Обойдешься без ней.

— Теперь—жду—из провинции должна приехать ко мне другая. Пришлось выписать из провинции: в Москве нет таких знакомых. Вот поэтому я и побаиваюсь решиться с вами: вдруг и себя заражу, а потом, когда она придет, и ее!

— Вовсе даже глупые ваши слова, товарищ студент! „Заражусь“ да „заражусь“! Первый раз слышу! Какое может быть заражение от такой чистенькой девочки, как я! Смотрите, какая я!

Расстегивает ворот, показывает шею...

Вузовец, с гримасой отчаянья:

— Проклятая мужская природа!.. Кто мог бы подумать, что я сюда попаду!.. Тут надо заниматься, а тут лезут в голову разные мысли о женщинах!.. Какая-то рассеянность, невнимательность ко всему, что читаешь!.. Мысли обрываются, скачут, не имеют никакой связи!.. Настоящее сумасшествие!..

Обхватывает руками голову, стонет.

Фроська с любопытством приглядывается к нему:

— О, какие вы нервные! Не люблю нервных мужчин. Тогда они делаются хуже нас, баб. По-моему—боишься—не ходи.

— О, если бы я знал, что вы не больная!..

— Клянусь моим счастьем, что я совсем здоровая!..

Неожиданно ловит его за шею, притягивает к себе, насильно целует в губы.

Вузовец вырывается:

— Ой, что вы, что вы!..

В испуге морщит лицо, кривит рот и потом все время украдкой трет платком губы.

Фроська шипит, наклонившись к нему:

— А зачем ты меня так раздражил?.. Вот что значит долго не встречалась с мужчиной!..

Вузовец, с надеждой:

— А разве вы долго.. не встречались с женщиной?

Фроська:

— А вы не видите? Два месяца терпела, а сегодня говорю себе: дай выйду, может, порядочного какого встречу. Вышла, смотрю: вы идете.

Вузовец проясняется, как младенец:

— Правда?

— А, понятно, правда. Спросите, кого хотите. Антоновна, правда я тут два месяца не была?

Антоновна издали:

— Правда, правда, гражданин! Ей тут два месяца не было! Только сейчас с вами пришла!

На лице вузовца мука, борьба:

— Сам не знаю, что делать... Это называется потерять волю... А раньше какая была сила воли!.. Ехал в Москву, храбрился!.. Мечтал покорить едва не весь мир!.. Казалось, все в моей власти!.. А выходит не все... И, главное, каждый день так: подойду к вашей сестре на Тверской, договорюсь, сторгуюсь, а потом вдруг как побегу прочь! А завтра снова на Тверской... Ужас, что такое!..

Фроська:

— Боятся хуже. Кто боится, тот скорей попадается, — как с вашей стороны, так и с нашей. Тут у нас были, которые..

Вузовец не слушает ее, мучается своим, вдруг выкрикивает с восторгом, как победитель:

— А вчера я все-таки победил себя! Уже вошел к одной в комнату, уже снял пальто, шапку, а когда она вышла в кухню с кувшином за водой, я кубарем как покотился по лестнице вниз! И убежал... Только она все-таки успела вылить мне на голову с третьего этажа ведро вонючих помоев... Зато потом, весь день, я так хорошо себя чувствовал, таким героем, что переборол-таки себя, убежал!

Фроська со злобой:

— Ненормальный! Тогда зачем же ты за мной с самой Театральной волокся? Кто тебя просил? Хотел над бедной девушкой посмеяться?

Вузовец, не то смущаясь, не то пугаясь:

— Вы не сердитесь, не сердитесь. Я еще, может, пойду...

Указывает, шуряя, на руины:

— А там у вас как? Какая-нибудь мебель?

Фроська с усмешкой:

— Зачем мебель? Просто земля, в роде песочка. Мебель хуже: на ней скорей всякая паршь разводится. Об этом-то вы не беспокойтесь, там у нас хорошо, чисто. Вот пойдете, посмотрим. Только посмотрим.

Она поднимает его, он встает, она тащит его за подмышку, он упирается, как бык перед воротами бойни, но все же понемногу сдается, шаг за шагом идет.

Фроська повторяет:

— Только посмотришь!.. Оставаться не будешь!.. Только посмотришь местность!..

Вузовец доходит с ней до пролома в стене, а там, со всей проснувшейся в нем силой, вдруг вырывается из ее рук:

— Нет! Решил! Не пойду! Не хочу!

Она ловит его сзади за плечи, силится протолкнуть в дыру в стене.

Он вывертывается, бежит к выходу.

Она кидается за ним:

— Девочки! Держите его! Держите паршивца! Два часа голову даром крутил!

Хватает с земли кирпичину, заносит руку с кирпичиной выше головы.

Настя вскакивает, бежит, наклоняется на бегу за камнем:

— Бей его, супника! Бей!

Фроська швыряет через стену в вузовца кирпичом. С торжеством:

— Попала! В самую хребтину! Так и согнулся! Будет помнить, как бедных девушек обманывать!

Беременная выходит из тени на свет, дико улыбается при луне:

— А все-таки хорошо попала? Так ему! Их, таких, учить надо! Без денег хотел! Нам тоже не даром достается!

Осиповна, с камнем в руках, взволнованная, дрожащая, зеленая при луне:

— Котовать пришел! У нас своих котов много!

Антоновна, по-старушечьи удаляясь на свое место:

— Я сразу заметила, что халуй. Жужжит и жужжит у Фроськи над ухом, как пчела.

Расходятся по углам, мало-по-малу успокаиваются.

XIII

Цыганка - Варя, вся в ярких лентах, бусах, монетах, сильно пьяная, выходит через пролом из глубины развалин, пляшет по середине зала, сверкает в лунном свете, поет:

Как шоффера не любить,
 Когда он чисто ходит?..
 На нем кожана тужурка
 С ума меня сводит...
 Тра-ла-ла-ла-ла-ла...

Коренастый молодой мужчина, во всем кожаном, новом, блестящем, тоже пьяный, идет за ней, держит вытянутые руки выше головы, бьет в ладоши, как в бубны, пританцовывает, поет с сияющим красным лицом:

Отчего, да почему, да по какому случаю...

Цыганка ко всем женщинам, дико, разливисто:

— Девочки!.. Родненькие!.. Я сегодня гуляю!..

Взмахивает рукой, вскрикивает, плачет...

Мужчина пьяным удалым криком:

— Давай, давай!.. Блаженство и рай, садись на край и ножками болтай!.. Йэхма!.. Ха-ха-ха...

Цыганка, в слезах, пропащим выкриком:

— Девочки!.. Месячного своего провожаю!.. Помесячно со мной жил, а теперь женится на землячке!..

Мужчина заглушает ее:

— Варя! Прощай!

В пьяном слезливом восторге обнимает, целует ее.

Антоновна, Осиповна, Настя, Фроська, Манька-Одесса, беременная широким табором провожают их к выходу.

Пара исчезает за руинами, и некоторое время слышно, как бывший месячный пьяно горланит в ночи „Разлуку“...

Над одной из стен развалин появляются головы любопытных: посмотрят смеющимися лицами внутрь руин и уходят...

XIV

Осиповна подходит к стене, к голове одного любопытного:

— Усастый, угости покурить.

Голова на стене, в приличной шляпе, с громадными горизонтальными усами:

— Я не курю.

Осиповна:

— Ну, давайте, сбегая куплю.

— Мелких нет.

— Можно сходить разменять.

— Ночь. Лавки заперты.

— В „Ларьку“ торгуют до двух часов.

Голова усача исчезает, проваливается за стену.

На ее месте возникает другая: упитанного краснощекого турка в красной феске.

Осиповна вкрадчиво тонко:

- Интересуетесь поглядеть?
Турок:
— Ну да...
— В вашей стороне этого нету, чтобы девушки так гуляли?
— Г-гы... Зачем нэт?.. Есть... Еще лучше...
— Тут у нас тоже хорошо, несмотря, что без крыши...
— Г-гы...
— Наверное, приезжие?
— Г-гы... Ну да...
— Наверное, из-за границы?
— Г-гы... Зачем из-за границы?
— А откуда ж?
— Г-гы... Все надо знать, все надо спрашивать!.. Каждый человек для себе знает, откуда он, кто он... Ну, из Крыма я!.. Крым знаете?..
— Крым? А как же. Знаю. Это на Кавказе. Хорошая сторона.
— Г-гы...
— А красавец какой! У русских таких красавцев нет!
— Г-гы...
— Может быть, сходимте куда-нибудь?
— Н-нэт...
— Почему? Вы не сомневайтесь. Там в развалке у нас хорошо: тихо, уютно, никто не беспокоит.
— Н-нэт!..
— А почему?
— „Почему“, „почему“! Мы не русски! Мы не любим шалаться туда-суда! Нам постоянный Маруська надо!
— Ну, что же, берите у нас постоянную. Тут у нас можно выбрать очень порядочную девушку, которая этим не занимается, а так сюда приходит. Зайдите, поглядите там под стенкой.
Турок отрицательно цыкает губами, отрицательно мотает головой.
— Ну, подарите мне копеек пятьдесят.
Голова турка мгновенно проваливается.
Осиповна плетется на свое место:
— Вот проклятый Аллах!.. Как только дело коснется, чтобы девушке что-нибудь подарить, так давай бог ноги!.. Ходят сюда только смотреть!.. Па-ра-зи-ты!..

XV

- Бритый-строгий, прежний, неожиданно врывается в руины с револьвером в вытянутой руке:
— А ну-ка, где тут ваша заразная?!
Направляет дуло револьвера на Антоновну:
— Говори, старая, где сейчас Фроська!!!
Все, кроме Антоновны, вмиг разбегаются.
Антоновна в страхе увертывает голову от дула револьвера, косится в тот пролом, куда в момент шмыгнула Фроська:

— Что вы, что вы, гражданин! А меня за что? Не наводите, не наводите на меня!

Бритый-строгий весь сотрясается от злости:

— Говори, ведьма, а то застрелю, как собаку!!! Говори сейчас!!!

Антоновна заслоняется от револьвера руками:

— Скажу, скажу, только опустите пистолет!

Тише, озираючись:

— Вот туда она побежала, в тот пролаз.

Бритый-строгий напоследок еще раз грозит ей револьвером, рычит:

— Уррр!!!

Бешеными прыжками бежит к пролому, на который она указала.

Антоновна подбирает полы платья, по-старушечьи улепetyвает из зала.

Фроська, без шляпки, растрепанная, с дикими глазами, одна, ветром пролетает через весь зал, из одного пролома в другой. Вопит не своим голосом:

— Де-воч-ки!!! У-би-ва-ют!!!

Исчезает за стеной.

Бритый-строгий, как тигр, тотчас же пронесется вслед за ней, в тот же пролом, держа перед собой наготове револьвер:

— Врешь, сатана!!! Не уйдешь!!!

Едва он скрывается за стеной, как оттуда доносятся три спешных выстрела: пах-пах-пах. Затем на мгновение все стихает...

Женский протяжный голос в глубине руин:

— Не по-па-ал!.. У-бег-ла-а!.. Вон она бежит, вон!.. На Самотеку по-да-ла-ась!..

XVI

Товарищ Казимир, пожилой, хилый, нарядный, и товарищ Вера, молодая, приятная, скромная, осторожно подходят к куску передней стены, похожему на косой парус, заглядывают во внутрь опустевших развалин.

Товарищ Вера с тревогой в голосе и лице:

— Никого нет... Тишина...

Товарищ Казимир удивленно:

— Странно, странно... Ага, помните, Вера, мы только что слышали, как где-то тут недалеко были три выстрела? Должно быть, здесь несколько минут тому назад, произошла какая-то уголовщина, и теперь вся эта публика разбежалась.

Вера вздрагивает, задумывается:

— Скажите, Казимир, а он не мог тут пострадать во время этой перестрелки?

Казимир с неприятным смешком:

— О, нет. Суб'екты, подобные Шибалину, очень дорожат жизнью своей особы. Хе-хе... И вы о нем не беспокойтесь.

— Значит, вы уверены, что его жизни тут только что не угрожала опасность?

— Вполне. Вполне уверен. Хотя, правда, тут ему грозит совсем другая, пожалуй, еще более страшная опасность.

— Какая?

— Я вам об этом уже говорил.

— Ах, да... Но неужели это факт? Неужели это возможно, чтобы он, Шибалин, Шибалин... и—вдруг!

— Погодите полчасика и сами убедитесь в этом.

Достает часы, смотрит.

— Сядемте тут.

Они садятся на куче битого кирпича, впереди куска передней стены.

Вере не сидится, она томится, страдает:

— Казимир, но почему вы так убежденно говорите, что Шибалин непременно тут будет?

— Потому что сегодня четверг. А ваш „великий человек“, порвав связь с вами, находит более удобным разрешать для себя „любовный вопрос“ именно здесь, в этой клоаке, раз в неделю, по четвергам, ночью, приблизительно в эти часы.

— Но почему вы это знаете? Может быть, он приходит сюда только собирать материал для своих будущих повестей?

— О, да, „материал“, „материал“! Для подобного „гения“ весь мир, конечно, только материал, над которым он призван проделывать важные опыты! И вы, Вера, и ваша связь с ним, и ваша беззаветная любовь к нему послужили для него тоже только очередным литературным материалом!

— Казимир. Я запрещаю вам говорить о Шибалине в таком тоне. Все-таки он—Шибалин.

— Он был Шибалин! Был! А теперь разве вы не замечаете, с какой головокружительной быстротой этот человек падает?

— Ничего подобного. В вас говорят нехорошие чувства: зависть, ревность.

— Зависть? Чему завидовать? Не тому ли, что человек когда-то был на высоте, а теперь летит в пропасть? Ревность? Но к кому? К человеку, которому небезопасно даже подавать руку в чисто, так сказать, санитарном отношении?

— А про это вы тоже напрасно говорите, Казимир. Про „санитарное отношение“.

— Нет, не напрасно! Я только поражаюсь вашей смелости. Вера, как вы не боитесь искать с ним встречи именно здесь, где каждая пядь земли пропитана бактериями страшных болезней!

— А это мое дело. Я так хочу.

— Тогда я молчу.

— Это самое лучшее, что вы сейчас можете сделать.

Встает, заглядывает через стену во внутрь зала.

В это время выходят из всех пролазов и занимают свои обычные места под стенами зала Антоновна, Осиповна, Настя, Манька-Одесса и другие,—все, кроме Фроськи.

Казимир Вере с ужасом:

— Видите? Не показывайтесь им, не показывайтесь!

Вера по-женски раздраженно:

— Сидите вы! Молчите! Я хочу их спросить. Может быть, он уже тут, у них, в развалинах этих.

Казимир с испуганными ужимками:

— И не думайте спрашивать! Вы их не знаете! От них такое можете услышать!

Вера смело:

— Пусть. Я не боюсь.

Идет одна внутрь руин.

XVII

Вера обращается к Антоновне, как самой старшей по виду:

— Скажите, гражданка, сюда к вам сегодня такой не приходил: здоровый, в сером летнем пальто?

Антоновна загадочно:

— А кто его знает? Разве так скажешь? Тут за день много перебивает всяких: и в черных пальтах, и в серых, и вовсе без пальт. По пальту не узнаешь.

Осиповна встает, подходит:

— Кого-й-то спрашивают?

Настя встает, подходит:

— Кого-й-то спрашивают?

И остальные женщины встают со своих мест, собираются вокруг Веры:

— Кого-й-то?

Вера объясняет, показывает руками:

— Ну, солидный такой, прилично одетый...

Антоновна равнодушно:

— Сюда большая часть солидных ходят и прилично одетых. Каких попало мы сюда не пускаем. Сюда, бывает, перед рассветом, в автомобилях за девушками приезжают. Давай и давай! А вы: „В летнем пальте“... А что, он ваш муж?

Вера, сомкнув губы:

— Нет. Брат.

Уходит из руин. Идет так, как-будто ожидает, что в спину вот-вот сейчас ее ударят камнем.

Женщины стоят при луне неподвижной толпой, поворачивают лица ей вслед и все на разные голоса:

— Ха-ха-ха!.. Знаем мы таких „братъев“...

Казимир Вере, когда она возвращается к нему за переднюю стену:

— Ну, что? Я говорил! Получили?

Вера утомленно садится:

— Молчите вы! Не каркайте! Всегда каркает...

Казимир встревоженно-озабоченно:

— Вера! Что с вами? Вам нехорошо? На вас лица нет!

Вера слабым голосом:

— Ничего... Это сейчас пройдет... Еще бы!.. Поглядели бы вы на них... на этих... на ведьм!.. Как обступили меня!.. И как заговорили своими сиплыми голосами!.. А обстановка вокруг при луне!.. Ад!.. Полная картина ада, населенного нечистыми духами!..

— Я говорил—не надо было туда ходить!

— Наоборот. Я очень довольна, что сходила туда и поглядела на этот мир своими глазами.

— Бежать вам надо, Вера, из Москвы! Бежать! Иначе вы Шибалина никогда не забудете! Утопая сам, он потащит за собой и вас! На-днях я откомандировываюсь в Ленинград для редактирования там одного профжурнальчика. Советую и вам воспользоваться этим случаем и поехать со мной.

— А я зачем? Только этого еще не доставало, чтобы я переехала Ленинград!

Казимир горячо доказывает ей, убеждает, не спускает с нее млеющих глаз...

Вера не слушает его, вертится, встает...

— А он с которой стороны должен прийти? С той? Или с этой?

Казимир недовольно:

— С этой.

Вера, с лицом, выражающим боль:

— Мне не сидится, Казимир. Я очень волнуюсь. Походим. Пойдемте е м у навстречу, что ли.

Казимир неохотно:

— Пойдемте.

Вера резко:

— Но уговор: как только увидим е г о издали, так извольте сейчас же оставить меня одну!

— Об этом можно было не говорить...

Они уходят от руин.

XVIII

Шибалин, крепкий мужчина, с упорным медлительным взглядом художника и мыслителя, сперва проходит мимо руин, только заглядывает туда через стену, смотрит, кто есть. Потом поворачивает обратно и направляется прямо в руины.

Вера, следившая за ним издали, подбегает к нему, хватая сзади за руку:

— Никита!.. Ты куда?

Отводит его в сторону от входа в руины.

Шибалин, смущенный:

— Вера... А ты каким образом попала сюда? Зачем?

— За тобой! За тобой пришла!

— Откуда у тебя такая дикая фантазия?

— Ника, умоляю тебя, умоляю, уйдем сейчас из этого ада!

— Вера, оставь эту дамскую блажь! Она тебе совсем не к лицу!

— Ника! Не издевайся надо мной, над моим порывом! Если бы ты знал, с каким чувством я помчалась сюда, когда узнала, что сегодня ночью ты будешь здесь!

— Не стоило трудиться. А от кого ты узнала?

— Это многие знают.

— Даже многие?.. Гм...

Саркастически улыбается.

— Никогда, никогда, никогда я не ожидала, Ника, что ты в конце концов попадешь в стан развратников, сластолюбцев, покупающих за деньги женскую любовь!!!

— Городишь ерунду! Знай, что среди мужчин, обреченных ходить к проституткам, нет ни „развратников“, ни „сластолюбцев“, а есть только несчастные, неудачливые в любви, мученики, великие мученики, жертвы идиотского уклада всей человеческой жизни! Понимаешь ты: жертвы!

Вера с усмешкой:

— О!.. Он все о своем!..

Шибалин желчно:

— Да! О своем! И всегда буду об этом своем! Всегда! Всю жизнь! Сядем здесь...

Они садятся на кирпичи впереди передней стены:

— Ника, скажи правду, а ты, ты, лично ты пользуешься проституцией?

— Конечно.

— Тут?

— Тут. Но чему ты поражаешься? Не я первый, не я последний. Сколько человеческих дарований, талантов, гениев преждевременно сгорают на этом быстром огне, огне уродливо разрешаемой проблемы пола! Вера, если ты когда-нибудь замечаешь на сером небосклоне жизни новое яркое восходящее светило и потом вдруг обнаруживаешь столь же внезапное его исчезновение, то знай, что подававшая надежды звезда непременно запуталась в невылазных тенетах любви. Следующий свой роман я посвящу этой теме и назову это так: „Падающие звезды“. Правда, красиво?

— Красиво-то красиво...

— Но что? Говори, что? Договаривай!

— Боюсь, рассердишься.

— Что за глупости! Что я обыватель, что ли? Ну, говори! Вера не сразу:

— Я хотела спросить, почему у тебя, Ника, в последнее время рождается так много красивых названий для твоих будущих произведений, а самых произведений все нет?

Шибалин с перекосившимся лицом:

— Ааа!!! Значит, ты тоже уже не веришь в меня, как в писателя?.. Ааа!!! Ты тоже уже сомневаешься в моем таланте?.. Да... Конечно, „Шибалин исписался“... „Шибалин выдохся“... „Запутался в вопросах любви“... „Падающая звезда“... Ха-ха-ха...

— Нет, Ника, нет! Совсем нет! В литературный твой талант я попрежнему верю! Я только нахожу, что ты в своих исканиях действительно сбился с пути, забрел в такие дебри, из которых, не знаю, как выберешься! Например: в теории, в книгах своих громишь зло, а на практике собственной персоной поддерживаешь проституцию!

Шибалин:

— Все мужчины поддерживают проституцию.

Вера:

— Это неправда.

— Правда! Мне лучше это знать! Я—мужчина!

— Чем же тогда ты это объясняешь?

— Очень просто. По вине женщины проституция в настоящее время является е-дин-ствен-но-й формой брака, которая не связывает по рукам и ногам мужчину.

— О! Вот так „брак“! Додумался! Доискался! Дальше итти уже некуда!

Раздельно:

— От-ка-зы-вать-ся от чис-тых жен-щин и соз-на-тель-но лезть в эту грязь!..

— Мелешь ерунду! Ни один мужчина не предпочтет проститутку так называемой чистой женщине! Ни один!

— Но ведь со мной-то ты разошелся, от меня-то ты отказываешься, а этих не гнушаешься, к этим ходишь?

— О! Она все о своем!..

— Да! О своем! И всегда буду об этом своем! Всегда! Всю жизнь! У тебя своя идея, у меня своя! Ника, подумай и ответь себе, кто же для тебя лучше: они или я? Неужели они?

Шибалин твердо:

— Оба хуже: и ты и они. Ты по-своему, они по-своему.

— Объясни подробней!

— Сотни раз объяснял.

— Объясни, почему ты не хочешь еще раз попробовать возобновить нашу связь! Это такая глупость, такой абсурд, что мы с тобой разошлись!

— Вера, с этим у нас покончено давно и навсегда. Ты не та женщина, связь с которой принесла бы мне счастье.

— Но скажи, чем я не та? Ты никогда не говоришь, чем я не та. Объясни толком, какая женщина тебе нужна! Может быть, я сумею перемениться?

— О! Уже скоро год, как мы с тобой разошлись, а ты все ходишь за мной и спрашиваешь, почему, и предлагаешь перемениться. Довольно! Больше ни слова об этом! Ни слова!

— Я так и знала, что ты не дашь мне договорить до конца...

Нервно трясущейся рукой достает из своей сумочки толстую пачку бумаг, передает ее Шибалину.

— ... поэтому я изложила свои мысли на бумаге. Возьми это, прочти. Ты воображаешь себя великим психологом, а в моих переживаниях разобраться не мог. Ты судил обо мне поверхностно, принимал меня за ничтожество. Но я смею считать себя несколько иной.

Раздельно, с ударением на каждом слове:

— Так не по-нять ме-ня!!!

Шибалин поражается толщиной пачки:

— Это про что же тут?

— Про мое чувство к тебе, про мою любовь.

— Такая толстая пачка про любовь?

— Не смей смеяться надо мной, над моим чувством!

— Я не смеюсь.

— Смеешься! Думаешь, я не вижу? Конечно, я очень извиняюсь, что чтение моего послания отнимет у тебя несколько минут времени...

Шибалин пробует пачку на вес:

— Тут не на несколько минут, тут на два часа чтения.

— Ну, пожертвуй для меня раз в жизни два часа времени! Только, смотри, прочти! Я хочу, чтобы ты, наконец, понял меня!

— Хорошо. Хотя я и так понимаю тебя.

— А когда можно будет узнать ответ?

— Какой ответ?

— Ну, на это... писание.

— Еще надо давать и ответ?

Опять вертит в руках и взвешивает пачку.

— Никита! Не издевайся над моими страданиями! Будь хотя раз повнимательнее ко мне!

— Ну, хорошо. Обещаю. Прочту. Ответ дам в нашем союзе. А теперь тебе пора, Вера...

— Хорошо, хорошо, уйду. Прощай!

Крепко жмет его безучастную руку. Раздавленная великим горем, потерянная, безумная, уходит.

Шибалин несколько мгновений сидит без движения, скованный мукой. Потом порывисто встает, проводит по лицу рукой, точно снимает с глаз повязку, и входит в руины.

XIX

Женщины при появлении в зале Шибалина подтягиваются, оживают, поочередно проходят мимо него, приостанавливаются, заговаривают.

Он сидит в стороне от всех на тумбочке из кирпичей.

Антоновна подходит, сладким голосом:

— Вам скучно одному?

Шибалин холодно:

— Очень.

Антоновна с кокетством:

— Мне тоже чтой-то скучно.

После небольшой паузы, таинственно:

— Пройдемтесь?

Шибалин каменно:

— Нет.

— Чего так?

— Другую жду.

— Ну, жди другую.

Отходит от него к своим. Со злобной усмешкой:

— Другую ждет! Ему нужна, которая в шляпке, на высоких каблукках, намазанная! Ничего, ничего. Пусть, пусть...

Опускается на камешек рядом с Настей. По-старушечьи кричит, стонет.

Настя:

— Ну, на самом-то деле, Антоновна, куда же ты лезешь? Разве не видишь, что это за человек? Неужели его карман не позволит ему взять что-нибудь получше?

Антоновна:

— Не то хорошо, что хорошо, а что кому нравится. Ты слишком молода, Настя, чтобы все понимать.

Беременная выплывает из темного угла зала, пересекает ярко освещенное место, направляется к Шибалину:

— Гражданин, вы меня поджидаете?

Шибалин вбок:

— Нет.

Старается не глядеть на нее, на ее высокий живот.

Беременная церемонно, с манерами:

— Очень-с жаль-с! Извиняюсь!

Делает реверанс, отходит, опять пересекает ярко освещенную площадь зала и тонет в глубокой тени под стенами.

Осиповна, с напускной развязностью, с деланной жестикуляцией, идет к Шибалину:

— А! Вот кто выручит меня! Понимаете, гражданин, как мне сегодня не везет! Все девочки уже по нескольку раз ходили с гостями, а я все еще без почину! Выручайте! Сделайте почин! Поддержите коммерцию!

Шибалин коротко:

— Нет.

Осиповна, попрежнему притворяясь очень веселой, очень молодой:

— Почему „нет“? Почему не „да“?

— Условился с другой.

— С какой?

— Тут с одной.

— Как ее звать?

— Не знаю, не помню.

— Не знаешь?

Со злобой отходит:

— Договорился, а с кем не знает! Ха-ха... Хотя б складней врал! Садится возле Антоновны.

Антоновна, качнув головой:

— Вот такие и налетают!

Манька-Одесса, дурочка, недоразвитая, одичалая, с распущенными волосами, на босых косолапых ножках, приближается к Шибалину, сутулится, исподлобья кривит ему идиотские слюнявые улыбки, хихикает, потом, убедившись в его равнодушии, уходит:

— Хи-хи..

Женская фигура без лица, вся закутанная в дерюгу, с выступающими женскими формами, неслышно подплывает к Шабалину, медлительной пантомимой, как в балете, приглашает его за собой в глубь руин.

Шибалин такой же пантомимой отвечает, что не желает.

Фигура без лица медленно уплывает, садится на свое место под стеной, свертывается, каменеет.

Последней атакует Шибалина Настя.

XX

Деликатно выпроводив своего гостя, она торопливыми руками поправляет на себе наряд, прическу, шляпку, глядится в зеркальце, натирает ладонью нос, бежит к Шибалину, протягивает к нему обе руки:

— Семен Николаевич! Наконец-то! Здравствуйте, здравствуйте! Давно вы у нас не были, давно!

Шибалин сдержанно улыбается:

— Я не Семен Николаевич. Видимо, вы принимаете меня за кого-то другого.

Настя притворяется удивленной:

— Разве? Неужели я обозналась? Ну, ничего. Неважно. Семен Николаевич вы или Иван Иваныч,—какая разница? Все равно мужчина. А если мы с вами еще не знакомы, то можем познакомиться, не правда ли?

Шибалин смеется, заинтересовывается:

— Правда, правда.

Настя заботливо берет его за руку, снимает с места:

— Где вы сели? Пойдемте, найдемте местечко поуютнее.

Ведет его вдоль стены, ищет, где лучше.

Шибалин:

— Вот здесь хорошо.

Настя:

— Нет. Вот тут лучше, сушее.

Они усаживаются под стеной на целой горе кирпича.

Шибалин зорко присматривается к ней, изучает ее:

— Настя, а куда вы спровадили вашего гостя?

— Ушел домой. Это не гость. Это мой постоянный, месячный.

Не оставался. Так приходил. Повидаться. Деньги за месяц приносил. Душ пять-шесть хороших месячных иметь, и можно спокойно жить, не таскаться.

Осматривает его костюм, обувь:

— А вы что? Где-нибудь служите?..

— Нет.

— Чем-нибудь торгуете?

— Нет.

— А как же так?

— У меня свободная профессия.

— Доктор?

Шибалин смутно:

— Доктора тоже относятся к свободной профессии. И музыканты.

И художники.

Настя с удовлетворением:

— Ну, да. Значит, вы все-таки прилично зарабатываете?

— Конечно.

Настя с нежностью прижимается к нему:

— Ну, расскажите мне что-нибудь новенькое.

— А я собирался вас послушать. Вы расскажите.

— Я женщина. А что может знать женщина, сидевши дома? А вы мужчина,—мужчины везде бывают, все видят.

— Это не совсем верно, Настя. У каждого человека есть что рассказать. В особенности, если говорить голую правду. Вот вы, Настя, расскажите мне сейчас самую откровенную, самую страшную правду про вашу жизнь.

— Зачем вам?

— Хочется подальше уйти от себя, от своей жизни, от своих дум. Хочется побольнее шлепнуться с неба моих фантазий на землю вашей действительности.

Настя двумя пальцами трогает у себя шею под подбородком:

— Что-то в роту пересохло.

— Хотите выпить?

— Ну да.

— А послать есть кого?

Настя поднимает руку, кричит:

— Манька! Одесса! Иди сюда!

Манька-Одесса идет, косолапит, горбится, свесив длинные руки — впереди живота.

Настя к ней:

— Сбегай вот господину за покупками, на папиросы подарит.

Шибалин достает деньги, разглядывает оборванную дурочку:

— А ей можно доверять?

— Ей? О! Сколько угодно! Она у нас хоть и дурочка, а чужого ничего не возьмет. А то у нас есть еще другая девчонка-беспризорница, Катька-Москва. Вот за той надо остро глядеть: очень способная на руку. У своих ворует! И сколько ее ни били, сколько ни изувечивали, не помогает. Такая природа.

Шибалин—Насте:

— Говорите ей, чего покупать.

Настя дурочке:

— Сперва возьми полдюжины пива, а то очень в роту пересохло. После пива захочется кушать,—возьми два фунта хорошей ветчины и копеек на 40 белых булок. На 40 мало, возьми на 50. Но ветчину без вина не идет кушать, очень жирная вещь,—возьми бутылку коньяку, скажи: велели самого крепкого! Потом...

Шибалин, улыбаясь, перебивает ее:

— А не довольно?

Настя:

— Довольно, только еще чего-нибудь на десерт. Ну, там, бутылку портвейну и два десятка пирожных, два мало, возьми три, да, смотри, выбирай крупных, маленьких не надо. Поняла, что взять?

— Поняла.

— Да: еще к ветчине баночку хорошей горчицы, только побольше, ну, бежи поскорей.

Манька-Одесса, хихикнув, бежит, по пути стаскивает с головы Осиповны платок, накидывает его на себя, исчезает за стеной.

Настя вскакивает на кирпичах, кричит ей вслед, сложив кисти рук трубой:

— Если вина в ночных магазинах не достанешь, поезжай на вокзал, возьми в буфете! По-рож-ня-я не при-хо-ди!

XXI

Настя, в ожидании Маньки-Одессы, обнимает Шибалина:

— Отчего вы такой серьезный?

— Расстроен.

— Чем?

— Всем, всей жизнью, и своей и чужой.

— А почему расстраиваться чужой жизнью? Я еще понимаю — своей. Тем более, если мужчина.

— У меня такое призвание, Настя, и такая профессия: болеть за всех, душой...

— Уухх..: как в роту пересохло!.. Со мной еще никогда так не было!.. Скорей бы приходила Одесса!..

— А вы, Настя, чтобы скорее прошло время, расскажите мне что-нибудь из своей жизни.

— В нашей жизни, гражданин, нет ничего хорошего.

— Рассказывайте тогда про плохое. Про самое плохое.

— Не знаю, что говорить...

— Вы давно начали заниматься этим?

— Гулять?

— Да.

— Уже порядочно. Не смотрите, что я такая молодая. Я уже всякую жизнь испытала, и хорошую, и плохую. Всего видала...

— Пробовали с кем-нибудь постоянно жить?

— Пробовала.

— С кем?

— С господином с одним, с которым себя потеряла.

— А потом?

— А потом... А потом больше не хочу рассказывать, не буду, пока не вернется Одесса. Очень в роту пересохло.

— А далеко от вас ночной магазин?

— Нет. Совсем близко. Под боком. На том угле.

Встает на кирпичи, вытягивается, глядит вдаль, улыбается всем лицом, как на восход солнца:

— А вон и Одесса идет, покупки несет!

Манька-Одесса, дико-сосредоточенная, очевидно, преувеличивающая важность доверенного ей дела, идет, спешит, сдирает на ходу со своей головы платок, набрасывает его обратно на голову Осиповны...

Настя принимает у нее покупки, достает из кармана штопор, откупоривает первую бутылку пива, подает ее Шибалину, потом вторую, три четверти которой жадно—взасос—отпивает сама, а остаток подает дурочке:

— На, Маня, допивай! А то ты бегала. Ишь как запыхалась! Можно задышку получить.

Манька-Одесса не берет, прячет руки назад, с робостью поглядывает на Шибалина:

— Не надо мне... Не надо... Зачем мне?..

Настя смеется, горячится:

— Дурочка! Бери, пей, тебя угощают! Они угощают!

Потом другим тоном к Шибалину:

— Она боится, что если выпьет, то вы ей это за труды засчитаете и больше ничего не дадите. Скажите ей!

Шибалин достает из кармана мелочь:

— Дам, дам! Пейте, Маня! Слышите, пейте!

Настя суетливо поясняет ей, точно переводчица с иностранного:

— Слышишь, что они говорят? Пей! Они не засчитают!

Манька-Одесса протягивает руку к бутылке:

— Ну, выпью... раз так нахально просите.

Опрокидывает в рот бутылку, пьет, потом вытирает рукавом губы, с идиотской улыбкой глядит на полученные от Шибалина деньги

Настя:

— Прибавьте ей еще копеек 10. Или 20. Вчера у ней померла мать, хоронить нечем, жильцы во дворе по подписному листу собирают.

Шибалин дает ей еще, она схватывает, взвизгивает, убегает, еще более горбась.

Настя в одну минуту устраивается на кирпичках, залитых светом луны, как на пикнике. Раскладывает на бумажках закуску, десерт, раскупоривает пиво, коньяк, портвейн. Вместо рюмок откуда-то достает донышки из-под разбитых винных бутылок. Наливает себе, Шибалину. Они чокаются, пьют рюмку за рюмкой, закусывают, оба быстро хмелеют.

Настя жалуется:

— Мало горчицы Одесса принесла. Раз-два помазать ветчину и—нету.

Густо мажет горчицей, с громадным аппетитом ест.

Шибалин, повеселевший, смеется:

— Что вы, что вы, Настя! Горчица такая крепкая!

Настя пьет без конца, крикает за каждой рюмкой, как мужчина; близкими, приятельскими глазами глядит на Шибалина:

— Знаете, гражданин... Перец, горчица, хрен, соленые огурцы,— это моя болезнь... И селедки тоже... Жаль селедок не захватили...

Сиротливо подошедшей Осиповне наливает вина:

— Пей, Осиповна!

Осиповна к Шибалину, с подчиненным лицом:

— За ваше здоровье!

Выпивает, отходит за спину Шибалина, делает Насте какие-то знаки.

Настя Шибалину:

— Гражданин, подарите что-нибудь Осиповне за платок, за то, что Одесса в ее платке за покупками бегала. Осиповна! Иди, получи за платок!

Осиповна руками и глазами берет из рук Шибалина мелочь.

— Очень вами благодарна. Извиняюсь: поднесите еще стаканчик и я уйду.

Настя подносит, она выпивает:

— Побольше бы таких гостей!

Уходит.

В это время раздается хриплый алкоголический голос из-под земли, из левой лисьей норы:

— Манька-аа!.. Одесса-аа!..

Одесса подбегает, наклоняется к норе.

Алкоголический голос хрипло везет:

— Сбегай за папиросами...

Одесса берет у кого-то из темной норы деньги, сдирает с головы Осиповны платок и убегает.

Спустя несколько минут, второй алкоголический голос, из второй лисьей норы, из правой:

— Манька-аа!.. Одесса-аа!.. Сбегай, разменяй червонец так, чтобы было два по полтиннику..

Осиповна подбегает, услужливо кричит в зияющую темнотой нору:

— Ей сейчас нету! Ушла за папиросами! Скоро придет! Тогда скажу!

Алкоголический голос, в знак согласия, протяжно хрипит под землей:

— Эээ...

Шибалин, хмелеющий, наполняется все новыми и новыми волнами большого хорошего чувства, сочувствия ко всем людям, в том числе и к Насте:

— Настя, пейте... Настя, ешьте... Поправляйтесь...

Настя:

— Спасибо, спасибо... А поправиться мне на самом деле надо бы...

А то от такой жизни худаешь и худаешь с каждым днем...

С пьяненьким сожалением оглядывает себя, свое тело:

— Разве раньше я такая была?

Щупает свой затылок:

— Ишь зашеина как поменьшела!.. А раньше она вот такой толщины была!.. Раньше я кругом была толстая, да красная, как наливная... А теперь?..

Обнажает одну ногу, поднимает, разглядывает, кладет ее на ногу Шибалина:

— Хотя я и теперь тоже еще ничего,—против других... Правда, гражданин?..

Антоновна наставительно, со своего места,

— Настька! Ты хоть и выпивши, а все-таки женщина и должна перед хорошим мужчиной стеснение иметь!

Настя продолжает с удовольствием прощупывать свою обнаженную ногу:

— А что я такого делаю?.. Девушки, которые очень худые, те безусловно должны перед мужчинами стеснение иметь... А я все-таки еще не до такой степени... Кое-что у меня еще есть...

Пьяно наваливается на Шибалина, трудно бормочет неповоротливым языком:

— Слушай, гражданин, что я тебе скажу... Живи со мной!.. Чем таскаться от одной к другой... Найдем в Сокольниках койку... Ты будешь на службу ходить, я буду хозяйство вести...

Шибалин весело хохочет;

Настя, глядя на его смех:

— Ты не смейся, не думай, я не деревенская!.. У меня вся родня приличная: отец кучером ездит на шоколадной фабрике, мать домовая прачка, старший брат дамским парикмахтером занимается!..

Шибалин сотрясается от здорового, беззаботного, совершенно детского хохота, сидя при луне на кирпичках.

Настя продолжает свое:

— Согласны?.. А?.. Все равно лучше меня во всей Москве никого не найдешь... Если ты с ног до головы оденешь меня во все новое, шикарное, я никогда тебе не изменю... Самое первое, самое необходимое для семейной жизни у меня уже есть: самовар, два утюга, помойка. Вот рубаха на тебе чистая, а я по запаху слышу, что она как следует не прополосканная... А если будешь со мной жить, все белье на тебе будет прямо кипельное!.. А пироги какие умею я пекти!.. Под праздники будем ставить свои хлебы...

Молодой франт, в ярко-зеленом шарфе, с длинными, до колен, болтающимися концами, в черно-белом клетчатом модном кепи, входит в руины. Тоном повелителя:

— Настя!

Настя Шибалину тихо:

— Сказать, что занята?

— Нет, отчего же? Иди.

— А как же ты?

— Я все равно другую жду.

— А то смотри... Это свой человек... Служит в...

Она говорит Шибалину на ухо, где он служит.

— ...Так что он мог бы какие-нибудь полчаса подождать, если ты хочешь пойти со мной...

— Нет, нет, Настя. Иди.

Достает кошелек, дарит ей несколько монет.

Франт прохаживается в стороне, с нетерпеливым видом марширует. Приостанавливается, смотрит в бок через плечо, капризно:

— Настя!

Настя благодарит Шибалина, прощается, прячет деньги, бежит, пошатывается, торопится съесть на ходу еще одно пирожное:

— Иду, иду!

Подходит к франту:

— А долг принес?

Делает шаг назад, стоит, упирается, не хочет итти за ним в пролаз:

— Тебя спрашивают: долг принес?

Франт молча бьет ее по шее, она кричит, он бьет еще, схватывает ее за шиворот, пригибает к земле, ударяет коленом в зад, она пролетает впереди него в пролаз.

XXII

Ванда,—очень красивая, в кроваво-красной широкополой шляпе, еще более эффектная, тонкая, воздушная, благодаря луне,—является из города в руины, гордо шествует по залу, точно делает смотр сво-

им войскам, замечает на куче кирпича Шибалина, приостанавливается, вопросительно улыбается ему, он делает ей легкий утвердительный кивок головой, тогда она смело идет прямо к нему. Смотрит на бутылки, на бумажки, игриво:

— Пировали?

Шибалин приготавливает для нее место возле себя:

— Да. Подсаживайтесь.

Берет бутылку:

— Тут еще осталось глотка два.

Наливает ей.

Она с наслаждением выпивает:

— Шла и думала: где бы рюмочку выпить?

Маленьким нежным ртом ест пирожное, искося скользит по фигуре Шибалина красивыми испытующими глазами.

Шибалин наполняется волнением:

— Я еще в прошлый четверг вас заметил. Вы были тут с каким-то важным военным. Я тогда же решил встретиться с вами.

Ванда закусывает остатками:

— Встретиться недолго.

Осматривает качество его платья, обуви, шляпы.

— А вы что... где-нибудь служите?

— Нет.

— Чем-нибудь торгуете?

— Тоже нет.

— Как же так?

— Так. У меня свободная профессия.

— Аа, знаю.

Вздрагивает, перестает жевать:

— Почему вы так пронзительно на меня смотрите? Не смотрите так!

Шибалин мякнет, льнет к ней, обнимает за талию.

— Ваше имя?

— Ванда.

— Это настоящее или псевдоним?

— А вам не все равно?

— Конечно, все равно.

— Опять! Опять уставились на меня! Ну, чего вы на меня так смотрите!

— Смотрю я на вас, Ванда, и думаю: как вас, такую яркую, такую интеллигентную, до сих пор никто из мужчин не прибрал к рукам?

— Мне нету счастья.

— Вы, пожалуйста, не удивляйтесь и не обижайтесь, если я буду расспрашивать вас, Ванда... Я слишком заинтересовался вами еще тогда... Скажите, Ванда, вы когда-нибудь любили?

— Надо иметь каменное сердце, чтобы не любить. Любила.

- Ну, и что потом?
- Надо иметь мертвое сердце, чтобы оно не сдвинулось. Разлюбила.
- Это было когда?
- Давно.
- Вам сколько лет?
- Старая уже. 24. И больше ничего не буду рассказывать! Не люблю, когда спрашивают! „Как“, да „когда“, да „почему“, да „с кем в первый раз“, да „с кем во второй“!.. Противно!.. Если больше познакомимся, тогда, при случае, еще можно будет рассказать. А так— нехорошо. У вас есть курить?
- Пожалуйста.
- Они закуривают, продолжают беседовать...

XXIII

Первый приличный гость, уже немолодой, в больших заграничных очках с круглыми стеклами в роговой оправе, заходит в руины, как к себе домой.

К Шибалину:

— Извиняюсь.

К Ванде:

— Ванда, не знаете, Фрося свободна?

Антоновна с своего места:

— Занята! Занята!

Первый приличный подходит к Антоновне:

— А скоро она освободится?

Антоновна:

— Нет. Не скоро. На квартиру взяли. На ночь. На извозчике приезжали. Какие-то богатые. Тоже в очках. Наверно, иностранцы.

Первый приличный в нерешительности стоит, раздумывает:

— А Настя?

— А Настя, та скоро освободится. Садитесь. Посидите тут пока на камушке. А что, разве в театрах уже окончилось?

Гость:

— Да. Как раз сейчас раз'езжаются.

Садится на тумбочку из кирпичей.

Второй приличный гость усиленно прячет лицо в поднятый воротник летнего пальто и под широкие поля шляпы. Глядит на Антоновну узенькой щелочкой между полями шляпы и краем воротника:

— Фрося тут?

Антоновна:

— Нет и не будет.

— Где же она?

— В городе.

— А Настя?

— Настя, та скоро должна освободиться. Садитесь. Посидите на камушке вон за тем гражданином,—вторым будете,—они тоже ее ждут.

Второй приличный прячет от первого лицо, садится на тумбочку из кирпичей, в линию с ним, спиной к нему:

— Та-а-к...

Антоновна:

— Должно, тоже из театра?

Второй:

— Из театра.

Третий приличный, очень представительный, седой, в цилиндре, настоящий западно-европейский министр, в маленькой черной шелковой маске, к Антоновне:

— Здравствуйте, гражданка.

— Здравствуйте, гражданин.

— Фрося там?

— Нет, ей нету.

— А скоро будет?

— На этой неделе вовсе не будет.

— О! Что так?

— Уехала в деревню. Побывать.

— И давно уехала?

— Сегодня.

— В котором часу?

— В десятом вечера.

— Немного не захватил! Жаль, жаль... А Настя?

— Настя тут. Садитесь там на камушек, где те двое мужчин сидят,—третьим будете,—они тоже ее ждут.

Третий, великан, в маске, садится на тумбу из кирпичей, в линию с первыми двумя, тщательно пряча от них лицо, как и они от него:

— Тэ-экс...

Антоновна:

— Из театра?

— Из театра.

Антоновна кричит в дальний угол:

— Одесса! Сбегай-ка туда, шумни там Настю! Скажи, чтобы поторапливалась! Много приличных гостей ждут!

Манька-Одесса идет через пролаз в глубь руин, кричит вдали за стеной:

— Насть-аа!..

Шибалин Ванде:

— Ого! Тут такая очередь, как в приемной какого-нибудь модного врача! }

Ванда улыбается:

— А как же. Иначе, что бы тут было. В особенности по праздникам.

Маленький толстяк, шар на миниатюрных ступнях, в лаковых ботиночках, лысый, в котелке, совершенно пьяный, входит, идет по залу, как слепой, пошатывается, тихонько напевает, натывается под стеной на женскую фигуру без лица, жадно припадает к ней, она схватывает его и молча уволокивает через один из проломов в развалины.

Антоновна подсаживается к Осиповне, волнуется:

— Видала? Уже и Дуньку-безносую взяли. Значит, и нам с тобой скоро пьяненький шатун какой попадетя.

Осиповна мечтательно:

— Не миновать. Сейчас он вышел из театра...

Антоновна продолжает за нее:

—... зашел в какой-нибудь ресторанчик.

Осиповна:

—... сидит, закусывает, выпивает...

Антоновна:

—... а через часик-полтора сюда приволокется...

Осиповна:

— Раньше!

Антоновна скучливо потягивается, встает, заправляет под платок седые космы:

— Пойти, пройтись, что ли, пока. Все ноги отсидела.

Подходит к трем приличным гостям:

— Ну, здравствуйте еще раз.

Трое приличных, не меняя положения, сухо:

— Здравствуйте.

Антоновна:

— Не надоело сидеть?

Трое молчат.

Антоновна:

— Не надоело ждать?

Трое еще крепче молчат.

Антоновна:

— Чем сидеть, ждать, время терять, пошли бы со мной!.. Я б скоренько вас отпустила, и были бы вы себе свободные люди!..

Трое отрицательно, по-разному, мотают головами, молчат, только недовольно прокашливаются в пространство.

Антоновна не отстает:

— А почему?.. Скажите, почему не хотите?.. Какая разница: я или Настька?.. Может, Настька из золота сделана, а я нет?.. Чем Настька лучше меня?.. Что она в шляпке?.. Я тоже могла бы шляпку надеть, если бы захотела!.. Может, думаете, я старая?.. Ничего подобного!.. Это просто от такой жизни... Многие очень хорошие мужчины, вот такие, как вы, даже содержать [меня хотели, на квартиру жить звали, да я отказывалась... Чтой-то [не ндравились они мне, вот не ндравились, да и только!.. Ну, как, граждане?.. Пойдете?.. А?..

Первый, спиной ко второму и третьему:

— Бабушка! Вам раз сказали, что нет! Чего же вы пристааете?

— Я не пристаю. Я только спрашиваю, чем я, допустим, хуже Настьки?

Второй, спиной к первому и третьему:

— Бабушка, дело вовсе не в том, кто из вас хуже или кто лучше!

Третий, спиной к первым двум:

— А дело, бабушка, в том, что к Насте мы, может быть, привыкли!

Антоновна:

— Вот и ко мне привыкнете. Ко мне уж многие так привыкли. А сперва тоже отказывались, не хуже как вы сейчас.

Трое, молча, отмахиваются от нее руками, поворачиваются к ней спинами.

— Ну, тогда дайте мне копеек по 50 с человека.

Трое сжимаются, молчат.

— Ну, по 20.

Трое неподвижны, как мертвые,

— Дайте тогда с троих четвертак, и я уйду, не буду вам мешать.

Трое, со стиснутыми зубами, с раздраженными жестами, лезут в кошельки, подают ей мелочь.

Антоновна:

— Вот и хорошо. Теперь по крайней мере...

Собирает с них деньги, уходит, садится рядом с Осиповной.

Осиповна смачно:

— Гривен шесть маханула?

XXIV

Франт с зеленым шарфом выходит из пролома, спешит от Насти к выходу:

— Отстань и отстань! Надоела! Говорят тебе, что твои деньги у меня сохранней, чем в госбанке! Можешь не сомневаться! В нашем учреждении мне не такие суммы доверяют!

Настя, полуплача, цепляется за него:

— Я не про деньги, а про обман! Не надо было обманывать! Почему ты, подлец, сразу мне не сказал, что пришел в долг, а не за наличные! Я бы, может, тогда с тобой не оставалась! А ты держал меня в надежде! Хлопал себя по пустому карману!

Франт вырывает от Насти то один свой рукав, то другой:

— Ну, ладно, ладно! Слыхал! Не ори при публике! Не наводи панику!

Перепрыгивает через кирпичи, уходит.

Настя, потрясая рукой, вверх, в пустое, лунное небо, тоном глубокой обиды, по-женски крикливо:

— Как денег нет, так ко мне, в долг! А как деньги есть, так на Тверскую, за наличные любую выбирает!

В конец изнеможенная от крика, подходит к трем приличным гостям.

— Ну, который тут первый пришел?

Трое приличных враз:

— Я!

И задирают к ней освещенные луной, ожидающие лица.

Настя, все еще раздражительная, теперь готова впасть в новую истерику:

— О!.. Но не может этого быть, чтобы все враз пришли!.. Кто-нибудь раньше, кто-нибудь позже!

Трое, опять все враз:

— Я раньше!

И каждый тычет себя концом пальца в справедливую, готовую пострадать за правду грудь.

Из уст Насти вырывается невольная брань.

Антоновна подходит, осторожно трогает рукой каждого гостя:

— Я видела: вот этот вперед пришел, этот потом, а этот самый последний.

Первый:

— Да, да!

Второй и третий:

— Нет, нет! Мы, можно сказать, вместе пришли!

Они встают, петушатся. Все трое собираются итти с Настей. Один забегает ей вперед, другой, третий...

Настя выходит из себя, кричит с решительным видом:

— Товарищи!.. Стойте!.. Нельзя же так!.. Должна же быть какая-нибудь очередь!.. Если бы было много народу, а то и всего-то три человека!..

К первому, повелительно:

— Первый, идемте!

Первый подскакивает, идет за ней. Счастливо, с большим подъемом:

— Вот это действительно справедливость!

Второй и третий уныло остаются, садятся на свои места, сидят, как прежде, спинами друг к другу.

Третий, в маске, ко второму, в воротнике, не оборачивая к нему лица:

— В таком случае, гражданин, во избежание повторения подобных сцен, нам с вами надо сейчас же заранее столкнуться на счет очереди. Так сказать, организовать.

Второй высоко поднимает плечи, так что широкополая шляпа его кажется сидящей не на голове, а на плечах:

— Что значит „организоваться“? Моя вторая очередь, и я больше ничего не знаю!

— Совершенно верно, гражданин, юридически вы, конечно, правы. Но я хотел бы вас просить сделать мне одолжение: уступить вашу очередь.

— Ну, нет!

— Позвольте, позвольте. Дайте договорить. Дело в том, что я тороплюсь на Октябрьскую железную дорогу, к Ленинградскому поезду.

— А почему вы знаете, что мне не к поезду? Может быть, и мне к поезду!

— Я этого, конечно, не знаю и потому еще раз очень усердно прошу вас уступить мне вторую очередь. Все-таки мы с вами оба культурные, интеллигентные люди...

— Гм... Если это не секрет, я хотел бы раньше узнать, зачем вам такая спешка в Ленинград? Вызывается ли это действительной необходимостью?

— Пожалуйста. Я профессор. Читаю лекции полмесяца в Московском университете, полмесяца в Ленинградском. Завтра моя лекция в Ленинграде...

— Про-фес-сор?.. А разве бывают такие... раз'ездные профессора?

— А, конечно. Это и раньше практиковалось, практикуется и теперь. Меня приглашают читать даже в Стокгольм...

— В Стокгольм?.. Ого!.. Стало быть, вы... Ну, словом, хорошо, я уступаю вам.

Третий, в маске, приподнимает цилиндр, откланивается, спиной ко второму:

— Благодарю вас!

Второй делает то же и так же:

— Не за что!

Третий:

— Тогда, для верности, поменяемся с вами местами. А то, быть может, еще кто-нибудь подойдет.

Второй:

— Это верно.

Они встают, кружатся при луне друг вокруг друга.

Второй, кружась, трогается за шляпу:

— Виноват-с!

Третий, кружась, трогается за цилиндр:

— Виноват-с!

Садятся на новые места.

Долгое время молчат.

Наконец, третий нарушает молчание.

Сидя неподвижно на столбике из кирпичей, однотонно, очень раздельно, голосом вещателя, в лунное бездонное пространство:

— В этом мире самая большая сила в руках женщины... От женщины зависит, погибнуть миру или спасти... Как она захочет, так и будет... До сих пор она нехорошо хотела, и миру было нехорошо... Надо сделать, чтоб она хорошо захотела...

Умолкает.

Второй, с тяжелым вздохом:

— Да... Легко сказать „сделать“... А как это сделать?
Качает головой.

XXV

Ванда кладет щеку на плечо Шибалина. Нежно:

— Ну, что, дружок, довольно побеседовали? Теперь пойдем?

Шибалин прижимается к ней, закрывает глаза, говорит с закрытыми глазами:

— Нет, нет, посидим еще немножко... Одну минутку! Я сейчас закрыл глаза, и мне представилось, как будто вы не Ванда, а совсем-совсем другая: та, самая лучшая женщина в мире, которую я ищу! та, самая идеальная, к которой я стремлюсь всю жизнь!

Ванда нетерпеливо:

— Нет, правда, гражданин, довольно сидеть! Давайте деньги, да пойдем! А то вон Настя уже которого принимает, а я все только с одним с вами сижу.

Шибалин все время не раскрывает глаз, с нарастающей мукой:

— Ванда! Умоляю вас: не говорите ничего про деньги! Не упоминайте этого страшного слова: „деньги“! Вы такая красивая, такая нежная, такая неземная, светлая, лунная, и вдруг, точно обухом по голове: „деньги“!!!

— А вы как же думали? Без денег?

— Да не без денег! А только не надо об этом говорить! А то выходит так грубо, так некрасиво!

— А это тоже некрасиво, когда мужчины уходят, не заплатив! Разве мало за вами нашего пропадает!

— Ах, замолчите вы! Молчите! Хочется самообмана, хочется сделать похожим на настоящую любовь, а вы...

— Если заплатите хорошо, не поскупитесь, тогда можно сделать похожим на настоящую любовь.

— Ах, вы опять о своем: „заплатите“, да „заплатите“!.. Это после! Потом!

— Нет! На „потом“ я тоже несогласна! Давайте теперь!

— Ванда! Как вы не понимаете, что речью о „плате“, разговорами о „деньгах“ вы убиваете во мне к вам, как женщине, всякое чувство, всякую симпатию!

— А вы тоже убиваете во мне всякую симпатию к вам, как мужчине, когда отказываетесь платить вперед. Не мальчик и наши правила должны бы, кажется, знать.

Шибалин лежит лицом на ее груди, стонет, боится раскрыть глаза.

— Ооо!.. Вы уже испортили все мое настроение!.. Ооо!..

Ванда:

— А вы—мое!

— Ооо!.. Что вы со мной делаете?..

— А вы что со мной делаете?

— Хочется иллюзии, хочется хотя на миг искренней женской ласки, неподдельной, бескорыстной!.. А вы!..

— Что я? Когда деньги заплатите, тогда я успокоюсь и смогу искренне, от всей души, дать вам неподдельную ласку! А так, конечно, мне придется заставлять себя, притворяться! Разве вам не все равно, когда платить: вперед или потом? И так платить, и так платить!

— Ооо!.. „Платить“... „Платить“...

С корчами, со стоном, достает деньги, глядит на них узенькими щелочками глаз:

— Столько довольно?

— Это мне?

— А то кому же!

— Если мне, то мало. Меня нельзя равнять с другими. Потому что, как вы сами видите, с каждым я не хожу.

Шибалин, не желая глядеть на свет, щурится, достает еще бумажку:

— Ну, а теперь довольно?

Ванда держит в руках полученное.

— За визит довольно. А теперь дайте мне что-нибудь сверх, на подарок.

Шибалин, уже не отдавая себе отчета в том, что делает, сует ей еще одну скомканную бумажку.

— Вот теперь спасибо. Теперь можно итти. Теперь по крайней мере буду знать, с каким человеком иду.

Она поднимает его, они идут, обнявшись, к задней стене.

Шибалин голосом больного:

— Жаль, что у вас нет хорошего помещения..

Ванда тоном утешения:

— Что же делать? К вам, вы говорите, неудобно. Ко мне тоже нельзя: я в семье живу. В номера—не зарегистрированных не пускают. Приходится мириться.

— А там очень плохо?

— Нет. Там хорошо, там у нас есть совсем отдельное помещение: всего для двух-трех парочек. Только туда бывает трудно попасть: очень узкий пролаз. Не знаю, как вы, с вашей солидностью, туда пролезете. Хотя, впрочем, пролезете. И не такие пролезали.

Они останавливаются перед средней лисьей норой.

Ванда становится на колени, берет свою широкополую парижскую шляпу в зубы, лезет на четвереньках вглубь, под фундамент стены, тонет во тьме.

Шибалин высохшими губами ей вдогонку:

— А там ведь темно?

Ванда бодро из тьмы:

— Ничего! Можно спичку зажечь!

Шибалин падает на землю и на животе, с великими трудностями, продирается в слишком узкую щель. Пачка писаний про любовь, данная ему Верой, выпадает из его кармана, рассыпается по земле. Он поспешно сгребает ее и запихивает обратно в карман...

XXVI

Луны уже не видно. Черная темень всюду. Холодно. Должно быть, скоро начнет светать.

Ни откуда ни звука. Вся Москва спит глубоким, крепким предрассветным сном...

У кирпичных развалин вдруг раздается шум подкатившего легкого автомобиля и тотчас же слышатся в темноте недовольные хрипловатые голоса двух мужчин:

— Сколько их брать? Двух? трех?

— Бери двух! Только, смотри, неодинаковых! Велели—одну самую высокую ростом, одну вовсе маленькую, кургузую!

И. ВАСИЛЬЧЕНКОВ

* * *

Волнуйся, сердце, не хладей,
Пускай вокруг метелит вьюга,
Когда-нибудь среди людей
Найдешь ты истинного друга.

Волнуйся, сердце, только в мочь,
Чтоб слышал я твой тайный трепет,
Когда в серебряную ночь
Зима окошко мне залепит.

И полумесяц золотой
Осветит сонную рябину
И тихой ночи половину
Пробудит пивень молодой.

Два стихотворения

Г. САННИКОВ

I

В той стране,
Где зреют мандарины,
Где душист и сладок запах миндаля,
Наклоня тонкие вершины,
Обо мне тоскуют тополя.

В той стране,
Где много винограда,
Где весна, как лето, горяча,
Соловьи и розы в кущах сада
Обо мне вздыхают по ночам.

Лишь она
Не подает ответа
И под горький трепет тополей
Не грустит, должно быть, в это лето
О сердечной теплоте моей.

Лишь она, скрываясь на чужбине,
Не зовет, жестокая, меня
В ту страну,
Где зреют мандарины,
Где душист и сладок запах миндаля.

II

У меня всего одна любимая,
Но и та теперь мне не нужна.
Догорай же, песня лебединая,
Пропадай, любовная весна.

Пропадай, веселая, цветистая,
Безрассудной страсти полоса.
О тебе, любовь, я пел неистово
За персидские твои глаза.

Ничего не видел, кроме Персии,
Целый год я был невольник твой,
А теперь опять заплачу песнями
Над своей суровой стороной.

Встану вновь в ряды певцов грядущего
И, внимая голосу труда,
Буду славить племя, вдаль идущее,
И железные жестокие года.

Догорай же, песня лебединая,
Я проснулся от хмельного сна.
У меня всего одна любимая,
Но и та теперь мне не нужна.

Каин-кабак

Повесть

Л. СЕЙФУЛЛИНА

Окончание ¹⁾

IV

Число взятых по делу о Нехорошевской контр-революционной организации все увеличивалось. Крестьяне тюремное заточенье переносили тяжелей, чем горожане. Вынужденную физическую бездейственность они ничем не могли возместить. На принудительные работы их не водили. Приближенье весны угнетало заботой о весенней пашне, о необходимости выбраться к посеву на волю, чтобы не схирела семья, не рушилось хозяйство. Стремясь вызволиться домой к нужному времени, они старались оправдаться, умолить, упросить власть, купить себе свободу любой ценой униженья и предательства. Каждый из них называя свое сельское общество огромным словом „мир“. Но разбитый на мелкие участки отдельных хозяйских интересов лишь редко и не надолго ощущался ими, как дыханье одного организма. Каждая клетка в давности приспособилась жить и отмирать отдельно, не нарушая общего теченья жизни. Выступивши скопом против города, крестьяне, только что их разделили при допросе, сразу распались каждый сам по себе, как колосья в развязанном снопе. Доказ, подозренье, ошибочные предположенья, прямая ложь, оговор, — все сплелось в запутанную сеть их показаний. Начались новые аресты. Расследование затянулось. Взятые по одному делу узники ожесточались друг против друга все сильнее.

Жители Каин-кабака держались плотней, реже выдавали, от того, что меньше теряли от длительного заточенья. Это были люди, утраченные для мирного труда за годы царской и гражданской войны. Хозяйство во время их отсутствия развалилось окончательно. Создавать его заново они не принимались. Единственным делом их жизни стало разрушенье. Семьи научились обходиться без них. Если жена

¹⁾ См. № 4 «Нового Мира».

сумела сохранить исконную домовитость, она добывала пропитанье и детям, ворочала вместе с ними трудную мужицкую работу, сетовала на мужа в горький бабий час, но беспокойного возвращенья его домой даже не желала. Бабы другого легкого склада приспособились скитаться за мужьями. С нищим своим скарбом и с детьми ездили они в обозе в большевистскую войну. Перебрались в город, когда мужья попали в тюрьму, попрошайничали, торговали собой, скупали и перепродавали старье на барахолке, посылали детей „в кусочки“ по дворам, ухитрялись сами питаться, мужьям носить ежедневно передачу и покупать у податливых тюремщиков мирволенье мужьям.

Каин-кабакцы кормились неплохо, пользовались многими недозволенными поблажками, изнывали в заключеньи не больше, чем на пересадке в ожиданьи поезда хладнокровные пассажиры. От возможного смертного приговора их охраняло чернокостное происхождение и соучастье с войсками красных в бою. Но вдруг, неожиданно для следственной власти, и они на допросах бурно разговорились. Сведения, доставленные ими, были совершенно новы и для следствия важны. А сообщили их внезапно и дружно каин-кабакцы в отместку атаману Нехорошеву. Все это скопище людей, лишившихся в бессласной своей судьбе чувств, дорогих человеку, ревниво лелеяло веру в свою боевую доблесть.—Сомненье в ней было для них единственной незабываемой обидой. Атаман Нехорошев, разгневанный, что в назначенный день восстания в июне месяце каин-кабакские сообщники на сборный пункт не явились все, во главе с Алибаевым, сказал тогда:

— Алибаевская шпана только на дележку вылезает, а пороху боится. Хлипачи!

Случайно узнав о произнесенных давно, но навсегда оскорбительных словах, каин-кабакцы пробовали учинить самосуд над Нехорошевым в тюрьме. Произвести его не удалось. Тогда они дружно принялись предавать властям Нехорошева с его близкими, всех вместе и в розницу.

Алибаев, равнодушно отказывавшийся от каких бы то ни было показаний, в последний раз на допросе тоже оживился гневом. Сказал следователю ни с того, ни с сего:

— Я этому свистуну, как на суде встретимся, морду изнахрачу.

— Кому? Что такое? В чем дело?

— Атаману самозванному. Только и знал, что штабы всякие из своих холуев собирал, да по подложным бумажкам получал у ваших ротозеев деньги. Понасажали дерьма кассы хранить, и стараться не надо, сами в руки суют казну.

— Кто по подложным документам деньги получил?

— Кто, кто! Чего после время на стуле прыгать? Задницу зря обижаешь. Ты бы раньше к стулу-то не прилипал, поспел бы, может, на дело. Ленивый у вас только не получал, вот кто! Вот я не получал, мне своего, с бою взятого, хватало. А этот ублюдок Нехорошев

задается, ата-аман! Не знаю, каким местом атаманил, вашего брата только пугал. По привычке чужими руками хотел жарок разгрести, а как своими довелось, дак-ой! Обжегся! Без памяти диранул, как заяц, за Ташкент, и след с перепугу не замел. Где в войну был, страдовал ли, это еще неизвестно! Молодец на овец, а спроть молодца—сам овца.

— Вот что, Алибаев, я тебе предлагаю, перестань кричать. Расскажи толком. В ваших же интересах...

— Ты ко мне с интересом не лезь! Про интерес с Нехорошевым разговор заводи, этого укупай, дешевый. А меня не купишь! Офицерская затычка, мокреть ихняя, смеет каин-кабакских партизан хлипачами обзывать. А он их в бою видал? А? Нюхнул он эстолько, сколь они? А? Да не вылупляй ты зенки, не трусись, я те не трону! На харчок вы мне нужны все, вместе с вашим с бобром захваченным, с Нехорошевым! Ты знаешь, Степан Краснов на белую разведку напоролся, брюхо ему расплосовали, кишки вывалились, а он с лошади не упал, ускакать сумел. Это тебе хлипач, а? К нам доскакал, кишки свисают, обомлел, язык поворотить на может. Я ему кишки в брюхо вправил, снегу в них для охлаждения понабил и кричу: „Говори скорей, сукин сын, помрешь, не успеешь“. Сказал, место назвал, где встретил и сколько человек, только после этого кончился, вот! Это мы вас эдак застаивали, дак неуж мы побоялись бы и против вас? А? Коли меж нами несогласье вышло, побоялись, думаешь, эдак же брюхом бы повернуть, а? Ты пошевели мозгой, после всей страсти, какая еще нас пристрашит? Нехорошев зимы испугался, до лета с восстаньем дотянул. А нам, зима была ль страшна? Когда за Советы бились, холода такие лютовали, слыхали вы с Нехорошевым, а? Куропатка на-лету падала, схватишь ее, комок ледяной! А мы этот холод продышали, сдюжили. Нас и там бы помиловали. Эдакое крепкое мясо и белым на свою защиту получить шибко было желательно. Передохнуть, отогреться, откормиться бы нам дали. А мы об этом и не подумали. С вами в согласьи были, вас и застояли до победы.

— Это все мне известно, товарищ Алибаев. И, если я допускаю с твоей стороны...

— Не товарищ я тебе теперь! И Степаненкову, и Троцкому я больше не товарищ, и Ленин мне теперь не поп. Ну, только и этой паршатине, сволочне этой тоже не товарищ! Сколь я живого у бога в смерть стравил, все мне простится! Коли за смертью ад обявится, мне простится. За то, что я с партизанами с моими в бой за эту гнусь не вышел, за их человечьей крови не пролил, всякий грех мой не в грех стал.

— Из Каин-кабака, значит, никто на сбор не явился?

— Из Каин-кабака! Эх, ты, тютик! Не с одного Каин-кабака, а с любого хутора ни один партизан бывший, да не только партизан, никто из наших не явился. В июне разве можно мужика тревожить? А? Нехорошеву абы-бы тепло было, а после целая Сибирь за-

голодует, ему все одно! Нам не все одно. Мы против начальства шли, а не против мужика. Нам его страда дорогая, за его мы кровь проливали. Не для таких, вот, как ты, не для господ старались!

— Участники этого заговора все больше кулаки, что же вы о них заботились?

— А который в драку не шел, хозяйствовать бы в это время смог, а? Ну тебя, не смыслишь ничего. Мы пораньше тебя разглядели, что не в свой косяк попали, еще до об'явки сбора отставать зачали. А ты что ж тоже думаешь, как Нехорошев, бою испугались? Сами вы кишкой жидки, дак и в людях вам тот же мерещится из'ян.

Алибаев уже не сердился более. Последние слова выговорил вразяжку, сам не слушая их. У него отяжелел, сразу затек затылок, замутились глаза. Он ощутил знакомую дрожь колен, жар, как злоба, распиравший грудь, и жажду, от которой по-особому колюче высохло во рту. Вторую неделю не удавалось добыть водки и он томился, хворал. Гневное возбуждение не надолго помогло ему забыть трудную тоску запойного пьяницы. Опять, как навязчивое бредовое виденье, все вокруг покрыло одно представленье стаканчика, или хотя бы глотка, одного глотка смягчающего муку питья.

Взбодренный растерянностью его взгляда, странным дрожанием покрасневших век и сразу стихавшим голосом, следовательно сел тверже, прямей, спросил громче:

— А до этого, когда вызывали на явку, вы всегда являлись?

— А? Кто? Куда?

— Ну, хоть бы ты. О себе расскажи.

— Слушай ты, начальник, добудь мне водки. Пекет в нутре, не могу, чего бормочешь, я не разбираю. Добудь хоть на один глоток, а? Помоги человеку, разок хоть один помоги, а?

Следователь заморгал, взглянул на Алибаева, нерешительно усмехнулся:

— Чудак ты, Алибаев! Разве допустимо с такой просьбой...

— Кабы мы с тобой от Христа не отреклись, я бы тебя ради Христа просил, вот чего допустимо! Жгет. Сдохну я нонче в камере, если хоть глоток не сглотну. Добудь, а? Да не вяжись ты ко мне с расспросами, стукотня в башке, сердце запеклось, понимаешь ты!

Следователь крикнул охрану, Алибаева увели в тюрьму. В камере он ничком распластался на кровати, тягуче стонал и скрипел зубами.

Под потолком в запыленном стеклянном колпачке загорелся холодный, неподвижный огонь. Алибаев приподнялся. На стене ожила уродливая тень. Он содрогнулся и лег опять лицом вниз. Он боялся. Это не был тот страх, которого он жаждал. Он пугался себя, своих движений, резко внятных в одиночестве. Жизнь его тела вдруг стала всегда, каждый миг слышна ему, и это непрерывное слышанье себя точно со стороны, среди прикованных к одному месту предметов, в тиши толстых каменных стен, было жутко, как смех в гробу. Ему на воле часто казалось, что он не любит людей, что ему опротивела

их возня, пачкотня, грызня друг с другом. Но теперь, впервые огражденный от их близкого дыханья, он напрасно старался с прежним отвращеньем вспомнить все зло, учиненное ими над его жизнью, многие от них полученные обиды и скорби. Он не забыл, как он сам и ему подобные, ближние и дальние, каждодневно надругательствовали над добром, как все они, вихляясь и злобствуя, топтали, давили, убивали друг друга, как ненадежна немогущая их любовь и как осмотрительна корыстная их ненависть.

Но теперь, в принудительной от них оторванности, действительно вспоминалось, что в несчастливой, болезненной и смертной человеческой жизни трудней было безнаказанно приласкать, чем ударить, и все же каждый тосковал по любви, отдыхал только под ее отсветом. И для самого Алибаева, прожившего больше враждой, чем любовью, нашлись любящие его и просто дружелюбные к нему люди. Их, а не обидчиков он невольно часто вспоминал в тюрьме. Неожиданно сильно пожалел Клару, припомнил ласковость Клавочки, многих из партизанского отряда. За них он взъярился на Нехорошева, но ярость скоро остыла. Он не мог сейчас жить злобой, он востосковал по людям. Алибаев не понимал или бессознательно остерегался понять, что, оставшись с самим собой наедине, он оробел, как безнадежно робеет на свою погибель пловец, захлестнутый волной, как, оробев, падает с большой высоты ловкий акробат, усумнившийся в своей ловкости.

Эта робость—предсмертная боязнь души. За ней—только червивая пасть небытия, неприкрытая никаким спасительным живым обманом и неотвратимая ни хитростью, ни мольбой. Ощувив ее смрадную близость, Алибаев востосковал, что прожил мало и дурно, хотел повернуть назад в жизнь, что-то исправить, переделать, но не мог. И, проклиная, он не отодвигался, а тянулся в эту пасть.

Каждый вечер, заведя выраставшую на стене свою тень, мертвую, передразнивавшую каждое его движение, заслышав тайное, уловимое только его мыслью, шуршанье тишины, похожее на шум неторопливо ссыпаемой земли, он впадал в такое состояние совершенной тоски, что ему казалось,—кровь свертывается в нем в холодеющие сгустки, слепнут глаза, голова тяжелеет непомерно, тянет долу все тело и дышать уже нельзя. Холодный пот орошал лоб, Алибаев стонал, скрипел зубами, водил по стенам, по всей камере жуткими зрачками, искал, чем убить себя, чтобы умерить, укоротить казнь.

За дверью послышался осторожный говор, потом звук повернутого в замке ключа, негромкое отодвиганье засова, и дверь открылась. Алибаев вскочил, попятился назад, снова изнеможенно опустился на кровать. Он подумал, что ему примерещилось. К нему приближалась Клавочка. Он сразу ее узнал, несмотря на мужичий чапан и шапку, но не мог ни поверить, ни понять, что она, живая, настоящая, проникла к нему. Клавочка подошла совсем близко, взгляделась в его опухшее серое лицо с воспаленными, полубезумными глазами, испуганно спросила:

— Ты что? А? Ты... ничего? Ты в памяти?

— Клава!..

— Да я же, господи, что ты, не узнаешь, что ли? Как страшно смотришь!

— Я думал, мне привиделось. Как ты прошла? Тебя допустили?

— Ой, тише говори. Наверно, там слышно. Тайком, тайком пропустили. Я долго ждала, пока прошла проверка. Ну-ка, здравствуй, что ли. Испугал как ты меня. Да ну, обними, я, я это, я!

Она внимательно осмотрела его всего, потом камеру, покачала головой, жалобно вздохнула и села рядом с ним на койку. Он не выпускал ее тела из своих рук, дрожащими пальцами гладил ее плечи, лицо.

— Ты что, все не веришь глазам? Ой, какой плохой стал. Напуганный какой-то! И потом уж очень прочернел лицом. Ну, знаешь, мне, ведь, сейчас же уходить назад надо. Кабы не попасться.

Алибаев не слышал ее слов. Он жадными неверующими глазами смотрел в ее неотметное миловидное лицо, потом вдруг рассмеялся затаенно, не разжимая рта. Клава поежилась, сдвинула тоненькие ровные брови.

— Да ты не молчи. Скорей говори, что тебе надо. А? Ты слышишь? Что тебе передать с воли? Или со мной чего накажешь?

Алибаев передернул плечами, встряхнулся, сказал торопливо и хрипло:

— Водки. Поскорей добудь, с утра завтра доставь. Маюсь, не чаю еще ночь протянуть.

— Да я знаю. Вот принесла, только очень мало, на груди, под кофточкой. Ой, как боялась!

Расстегивая пуговики, она шепотком - скороговоркой рассказывала:

— Мужчина, ведь, взялся в камеру к тебе пропустить. Вдруг облапит, что тогда? Кричать нельзя, поймают, да еще с водкой.

— Ладно. Ты скорей. Глотку у меня захватило. Спирт, что ль, у тебя или самогон?

— Спирт, только мало. Вот, на... Тут все-таки побольше пол-стакана будет.

Алибаев выхватил у ней из рук плоский, довольно большой флакон из-под лекарства, прилип к нему губами, жадно глотнул. Клава схватила его за рукав.

— Ты не сразу. Ах ты, надо бы мне рюмку захватить. Гляди, спьянеешь, долго постился. Эй, не задохнись!

Он тряхнул головой, оторвал рот от флакона, шумно продохнул.

— Не учи, сам знаю. Дай-ко, вон там в кружке на столе вода. Ну, вот выпил и закусил. Еще на глоток осталось.

Раздвинул руки, повел плечами, размялся и повернулся к Клаве. Она чуть подалась назад от его дыханья.

— Ай сама не выпиваешь? Все еще трезвенница, это хорошо. Кабы только ты не подлюга оказалась. Кто тебя нанял?

— Ты что, от глотка одного спьянел, что ли?

— Ты, Клавочка, женщина хитренькая, сама бы поумней удумать могла, а послушалась глупыша какого-то. Я еще не вовсе здесь сдурел, хоть и спячиваю потихоньку. Подослали тебя с водкой, не тряси головой, знаю! Подкупить народ здешний весьма возможно. Но шибко храбрых я не приметил, чтобы к такому подследственному, как я, в одиночку бабу с воли доставить взялись. Эдаких удалых здесь нет. Ну, ладно. Спрашивай, чего спросить наказывали.

Клавочка зажала ладонями лицо, заплакала. Часто всхлипывая, она прерывистым шопотом об'яснила:

— Я давно, ведь, в городе кружусь, все свиданья добиваюсь. В Гумзу в эту, как к обедне, с утра каждый день, из Гумзы в Чеку, опять в Гумзу, ноги к вечеру ноют. Какой-никакой, а муж ты мне или нет? Я-то, ведь, другого не заводила. Путался ты там много на стороне, а мне-то все-таки муж, и не по старому, а по новому закону, а я жена, а не любовница. Как же мне не хлопотать за тебя?

— Погоди. Выспрашивать меня будешь?

— Да чего ты, в самом деле, Григорий, женщина из сил выбилась, как бы повидать, как бы чем помочь, а ты меня встретил, как злодейку! Если я никак больше добраться до тебя не могла! Ты бы все-таки хоть то оценил, что я такая молоденькая не бросаю тебя, забочусь, вот, приехала. Арестовали тебя, всякого почета лишили, а я, ведь, не бросаю тебя, другого мужа не ищу. Ох, тяжело все-таки, Гриша, с тобой! Около тебя только и плакать я научилась.

Она вздохнула, пригорбилась, вытянула на коленях руки и опустила глаза. Темная длинная тень легла от ресниц на свежие щеки, опустились углы молодых ярких губ. Алибаев искоса поглядел на нее, вспомнил, что за время, действительно, тягостного с ним сожительства, Клава не сказала ему ни одного сердитого слова. Откуда бы он ни возвращался, как бы ни был угрюм или зол, она всегда встречала его ясной улыбкой, оставалась неизменно ровна и приветлива. С простодушной безбоязненностью вверила она свое девичество человеку с невеселой славой доблестного убийцы и сожительствовала с ним, как верная супруга, с легким целомудренным холодком, но безотказно, с мыслью о материнстве и ни разу не оскорбила немолодого, некрасивого и даже нелюбящего мужа недовольством или грустью о другом. А, ведь, она очень молода, едва ли ей за двадцать. И щеки вот у нее еще по-детски округлые, и плечи не наливные, а молодо суховатые. Алибаев почувствовал жалость к этой юности, зря захваченной им, большую нежность к несчастливой жене. Он осторожно, одним жестким пальцем коснулся ее руки.

— Ну, чего ты нахохлилась, птаха? Я не обижаюсь. То-есть, не на тебя обиделся. Скажи-ка ты мне лучше, как живешь?

— Да чего же, как мне жить? Вот постараться надо, чтобы ты вернулся. Я думаю, все-таки, не могут не зачесть...

— Разве стосковалась без меня?

— А как же? Чужая я тебе, что ли? Наплакалась, очень боялась. Там такие рассказы по деревням ходят.

— А про Клару ничего не слыхала? Не поймали ее?

Клава обидчиво повела губами.

— Нет, убежала. Ты не сердись, Гриша, я, грешница, все-таки пожалела, что ее не добились в ту ночь.

— Да. Худущая, а живучая. Зачем же ты пожалела, она тебе чем мешает?

— Боюсь, как бы не выкинула еще чего-нибудь, тебя бы не запутала.

— Я, милка, уж так позапутлян, что дале некуда. Умом вроде, мешаюсь.

— Ну? Я боюсь... Как?

— Я, вот, тоже боюсь, только сам не знаю чего. Кабы ты сегодня водки не принесла, я бы, как-никак, а покончил с собой. Ну-ко, дай-ко, рученьки твои поглажу. Спасибо, пташка. Много я виноватый перед тобой, не сердчай, когда помру. Шибко я обрадовался, не одной водке... Тебе обрадовался. Ну-к, стой, остаточек сглотну. Ух, хороша снадобья! Сердце смягчит. Степаненкова не видала?

— Нет. Хворает он. Говорили, что с той ночи все никак не выправится, простудился, видно, сильно.

— И Шурка хворает, Краузе тю-тю! Вот оно, судьба-то как над людьми изгиляется, хороши люди за меня поплатились, а энтот лобастый, тля, насекомая, живет.

— Это тоже за тобой который приезжал? Богдановский — его фамилья. Он в отпуск отпущен по болезни сердца.

— Все ты знаешь, доглядчивая бабенка.

— Да как же не знаты! Мне бы и не повидать тебя, кабы они здоровы были. Сильно они против тебя настроены. Вот тебе! А ты же их спас. Впрочем, лучше, что не бежал.

Алибаев шумно вздохнул.

— Ну, тебя-то не даром допустили. Ты чего им теперь скажешь?

Клава прижалась грудью к плечу Алибаева, обхватила его рукой за шею.

— Гришенька, миленький, а ты скандала не устраивай. Прошу тебя! Никогда ни о чем не просила, в первый раз прошу тебя, умоляю тебя... Муженек мой, Гриша, родненький! Не говори ничего, что догадался, а? Может удастся еще увидеться. Я тебя выручить хочу, не мешай мне.

Алибаев, согреваясь ее телом, боялся двинуться, нерешительно поглаживал ее колено жаркой рукой, но ответил неприветливо.

— Я тебе не велю. Ничего больше не вымаливай. К смерти не присудят. Вот только в одиночке...

— Вот то-то и есть. Ты же с ума сойдешь. А мне обещали тебя общую камеру перевести, если согласишься показанья дать.

— Какие показанья? Товарищей топить? Я убивать умею, а торговать людьми не пробовал. Не буду.

— Да каких товарищей? Нехорошев тебе товарищ? А? Если ты согласишься показанье давать, все равно какое, только обещаешь не отказываться от ответов, мы еще повидаемся. Гриша, ты подумай, много ли ты меня радовал? Гришенька, пожалей меня...

Алибаев тесно обхватил ее обеими руками, жарко поцеловал пересохшим ртом мягкие влажные губы: Клава запрокинулась. Алибаев, тяжело дыша, наклонился над ней, отпрянул, поглядел налившимися кровью глазами на отверстие в двери, шумно передохнул и отодвинулся.

— Ну, что же, ну, Гриша? Так и погубишь меня, ни за грош, ни за копеечку? Я все для тебя, а ты...

Алибаев встал, заходил по камере, то и дело кося на нее сумрачным жадным взглядом. Потом остановился перед ней, постучал ногой в пол и хрипло сказал:

— Ну, иди, Клава. Чать, не на всю ночь допустили. Эх, облапил бы я тебя сейчас. Здорово ты мне сегодня желанная. И не то, что только для блуда... Иди, жена, иди, бабонька. Пора.

Клава встала, обняла его за шею обеими руками, прижалась плотнее.

— Мы и на стороне, у меня увидимся. Только не порти дела. Я же не уговариваю тебя против своих... В одиночке тебе нельзя. А тогда на работу будут водить, там увидимся. А?

— Ладно, иди, ластынька, иди. Я подумаю. Иди, иди... А то не выпущу.

У самой двери он больно сжал пальцами ее плечо и вплотную в ухо шепнул:

— А ты с начальниками, гляди, не блуди. Теперь я тебя за блуд не помилую. Помни.

V

Клавдя зажила в городе. Закончила давно начатое вязанье крючком, сшила новые оконные занавески с этим кружевом и послала с попутчиком в свое село домоправительнице-тетке письмо:

„Дорогая тетя Маня! Благодаренье богу, хлопоты мои идут успешно, с пользой для несчастного моего мужа. До суда он теперь сможет находиться в более хороших условиях, часто на воздухе, вообще, повеселее. А суд выяснит, что Гриша не так виноват, как показался, больше из-за своего беспокойного характера. Я на это твердо надеюсь, чувствую себя бодро и хорошо. Хорошо, что Степанида перешла жить к нам. Она старательная в работе, и, вообще, нам подходящая. Главное, дальняя родня, никто не придерется, что мы пользуемся наемным трудом, когда мы содержим нуждающуюся родственницу. Но все-таки вы за ней следите, в амбар одну не посылайте. Ключ от амбара, пожалуйста, не забывайте прятать и, вообще, на-расхлебень ни-

чего не держите. Человек даже не виноват, если вы его вводите в соблазн своей неаккуратностью. Напишите, пожалуйста, поскорей, доставил ли Семен Козырь супоросую свинью из Каин-кабака. Тогда, с вещами, мне невозможно было ее взять, а он божился, что скоро доставит. Теперь она уж опоросилась, поросят он, конечно, не всех привезет, обязательно парочку-троечку украдет, но хоть бы свинья не пропала. Кларка-хохлушка в них толк знала, нашла очень хорошую. Так не забудьте, пожалуйста, написать мне. Если не привез, я его и отсюда достану. Когда Парфен Алексеевич поедет в город, он скоро собирается, я знаю, пришлите с ним ручную швейную машину, 2 пуда баранины, 1 говядины, 10 фунтов свинины, 3 сотни яиц и полпуда масла. Приходится Гришеньке носить ежедневную передачу, а здесь провизия дорогая, и за деньги еще мало, что продают, вещи размазывать не стоит. С Парфеном за доставку я сделаюсь сама, вы так ему и скажите, а то он вас обжулит. Ну, до свиданья, желаю вам доброго здоровья, крепко вас целую, буду ждать ответа. С сельчанами живите подружней, чтоб склока какая не произошла. От рябой Марфы держитесь подальше. Пусть в спину ругается, вы, очень вас прошу, молчите, не огрызайтесь. Пускай брешет, что я в городе живу для того, чтобы с чекистами путаться — мне наплевать. Собака лает, ветер носит. Я не такая дура, чтобы по рукам пойти, на месяц регистрироваться, когда у меня муж есть и не собирается со мной разводиться. Вы стерпите, пока суд не кончился. Не надо ни с кем ссориться.

Любящая вас племянница Клавдя.

В начале письма я написала выраженье „благодаренье богу“. Это, конечно, случилось по привычке. Я—жена партизана и все-таки, как-никак, большевижа, не могу верить в бога, да и не верю. Но вам можно в церковь ходить. Ничего, это нам не повредит, вы—старенькая, вас уже невозможно переделать. Пишите ответ поскорей, но все-таки повнимательнее. Очень много букв пропускаете, я с трудом разбираю слова. Еще раз целую вас крепко и желаю всего лучшего.

К. А.“.

Клавдя облегченно вздохнула, закончив письмо. Сладко потянулась, прижмурила глаза, но, вспомнив, что пора собирать узелок для передачи, быстро вскочила со стула. Посмотрев на часы-будильник в изголовьи кровати, мысленно выбрала себя:

— Дурища, расселась! Уж пять минут второго, еду надо к двум, а шагать-то вон сколько. И волосы не подвила еще. Фу, как время бежит, никак не успеешь все сделать. Ну, пойду побыстрее. Далеко-конько до вокзала! Ох... Много все-таки с моим Алибайкой хлопот.

Семнадцать человек—бывших офицеров, молодых мужиков из нехорошевских заговорщиков, наиболее здоровых на вид, и степенных работающих уголовников были переданы в распоряжение транспортного отдела политохраны для производства неотложных работ по восстановлению железнодорожного движения.

Перед самой отправкой неожиданно для тюремного начальства, высшим распоряжением был причислен к ним Алибаев. В конце города, у вокзала, наскоро подремонтировали обветшалый арестный дом. Вместо поломанных, в окна вставили новые железные решетки. У ворот выросла некрашенная, свежее пахнущая деревом, караульная будка. Такие же молодые, веселые, нависли ворота в прорыве седого, ошеренного меж досок забора. Арестанты, приобщившиеся в прогулке через весь город к нетемничной людской жизни, ввалились в них со смехом, с прибаутками, весело. Алибаев с усмешкой, широко обнажившей желтые, прокуренные зубы, подмигнул на будку и на ворота, крикнул:

— Правду в газетах пишут, покончили разрушать, строиться начинаем.

Безбровый круглолицый солдат громко засмеялся в ответ, но быстро вспомнил, что он—охрана, покосился на других сопровождающих, мотнул винтовкой и пригрозил Алибаеву:

— Я те позубоскалю! Пролезай, что в воротах задерживаешь?

Алибаев дружелюбно взглянул на него, ласково отозвался:

— Не сердчай, сынок. Зазевался маненько.

На шатких, разбитых ступеньках входа он опять призадержался, поглядел на белесое небо, на притоптанный, загаженный людьми, снег у крыльца, снова широко усмехнулся, хлопнул ласково по спине идущего перед ним и вошел в душный дом с железными решетками, как домой после томительного странствования.

Дом разделялся только на две половины. В одной стояли два длинных стола и одна тяжелая во всю стену скамья. Меж двух окон висел криво прилаженный, замызганный, исцарапанный телефон.

Здесь ранним утром и на-ночь вместо ужина пили компанейский чай. Кипяток давался казенный, а заварка своя, собранная из передач. На дворе грели дежурные чурками медный с прозеленевшими боками самовар. Обедали на работе. Другая половина совершенно пустая, даже без нар, служила спальней. В изголовьи под окнами в ряд вытянулись узелки, мешочки, мешки и сундучки с пожитками. Посередине, во все помещенье, положена была солома—общая постель. В обеих половинах под потолком плохо светили маленькие электрические лампочки, по одной в каждой. Но пустой без строений двор был сильно освещен. Там и на улице сосредоточивалась охрана. Караульный начальник на ночь устраивался на столе.

С семи утра до темноты, с полуторачасовым перерывом на обед, арестанты заняты были тяжелой физической работой на железной дороге. Грузили, разгружали вагоны по уроку, определенному количеству пудов в назначенное распорядителем время, таскали на носилках по крутым всходам глыбы льда в холодильник, ворочали камни и бревна. Целый день на ветру, на предвесеннем озлившемся холоду, редко под крышей, в своей, из дому еще взятой, у всех плохонькой одежде. У кого и была хорошая, в тюрьму с собой не взяли. Правда,

в натуге холод донимал меньше всего. Но все-таки семеро — четверо из офицеров и трое из нехорошевцев — на пятый день работы сданы были в тюремную больницу в жестокой застуде.

На чрезмерную тяжесть работы не жаловался только Алибаев. Слабосильней многих, давно отвыкший от физического труда, он обливался потом под ношей, шумно, с хрипом дышал, часто сплёвывал со слюной кровь. Возвращаясь, чуть двигал разбитыми, ноющими в костях ногами, со сгорбленной затекшей спиной. По утрам и ночью, вставая на работу и ложась после нее, каждодневно он ощущал радость. Точно выздоравливающий после длительного беспмятства в хвори, заново видел вещи и живое — в их изначальной большой ценности. Под пакостной коростой дурных слов, злобы, скотского поведения он в окружающих, как собака, нюхом слышал теперь человека. По природе своей навсегда обреченный страстям, он и добро кощунственно воспринял, как страсть. Как убивал и насиловал, так же стал благодетельствовать. Не доедая сам, раздавал другим грузную Клавдину передачу. Даже большую половину доставляемой изредка водки дрожащей рукой отливал другим. Постоянно отбывал дежурство по казарме за ленивых. Навязывал всем свою помощь. Им стали помыкать. Он без разбора уважал и прохвоста и честного, его уважение стало вызывать в других гадливость, как пресмыкательство. Начал Григорий часто заговаривать проникновенно о любви к ближнему. От волнения у него отвисала, мокрела нижняя губа и смотреть на него со стороны было неприятно. Голос, всегда ласковый, улыбка в ответ на брань надоели всем арестантам за полтора месяца совместного пребывания до отвращения к нему. Нехорошевцы, в разговоре между собой, дивились, вспоминая прежнего Алибаева. Мефодий Долгов объяснил:

— Чего ж, повихнулся в уме, блаженным стал. Теперь время такое, некуда эдакого пристроить. Раньше, пока монастыри нераззоренные были, он бы деньгу хорошую для обители зашибал. Божий сделался человек, а бог-то под запретом, куда же ему деваться. И нам его надо терпеть, чего же!

Сашка-Носатый раздул ноздри и, подумав, сказал:

— Я догадываюсь, не били ли его в чеке тяжелым чем по голове. Очень просто!

Степан Кухарев, сплюнув, заключил разговор:

— Беда! Чего с человеком случается! Кабы не знал сам, и сроду бы не поверил, какой, ведь, орел был!

Клавдя на свиданьях подозрительно вглядывалась темненькими острыми глазками в его лицо.

— Ты не хвораешь, Гриша? Я похлопочу в больницу тебя. Что-то очень уж ты ласковый и разваренный какой-то.

— Брось, мне хорошо. Вот только ты очень устаешь. Заморил я тебя, пичуга. Ехала бы ты домой.

— Гришенька, я радуюсь, что ты теперь внимательный ко мне такой. А все-таки думаю... Право, хвораешь ты.

Свиданья здесь не разрешались, но допускались по человечеству самой стражей рано утром до увода на работу и вечером по возвращении в любой день, если караульный начальник не был чем-нибудь расстроен или обозлен. Происходили и в столовой, и во дворе, и в сенях, как удобнее казалось охране.

Транспортный отдел ГПУ возглавлялся длинным, сухощавым неразговорчивым человеком. Некогда он отбывал каторжные работы на царском руднике. В разговорах уклонялся вспоминать это время, но помнил о нем хорошо. Знал, что илоты бунтуют только тогда, когда отдушины тайных поблажек наглухо закупорены. Но тайными они должны быть только будто-бы. Начальник наложил запрет на свиданья, но сумел сделать так, чтобы нижние доглядчики догадались его неопасно нарушать. А заключенных радовала уверенность, что им сочувствует непосредственное начальство, относится к ним по-человечески, с доверьем, допуская запрещенные свиданья с близкими. И это обстоятельство рождало особое отношение к начальникам, в конце концов выгодное для надзора. По особому тюремному закону нравственности арестанты сами связывали, ограничивали себя, оберегая подвергавших из-за них себя риску надсмотрщиков.

Один Алибаев сомневался, что это попустительство без подвоха. Но, предавшись добру, считал эти мысли отрыжкой прежнего зла и сообщил их однажды только Егору Кудашеву.

В первый день пребывания в этом арестном доме они хорошо встретились друг с другом. Как ввалились гурьбой в помещение, молодой сероглазый парень, с белокурым пушком над большим алым ртом, с черной родинкой на правой щеке, повернул за плечо Алибаева лицом к себе. Приветливо сказал:

— Вон какой он есть, Алибаев!

Григорий лукаво подмигнул:

— Слыхал, значит, про меня?

— Как не слыхать! У вас, что же, вещей-то никаких при себе, всего и осталось богатства, что этот тулуп?

— Хватит. Нечего хоромину-то загромождать. Ну, будем знакомы. Я и место займу вот тут, с тобой рядом. Ну, шабер, как зовешься-величаешься?

— Егор Кудашев. Егор зовут.

— Кудашев! Слышь-ка, а, ведь, у меня для тебя поклон в котомке давно закладен. Вот, волк меня заешь, как это я забыл. Брат твой, Леонтий Кудашев, тебе кланяется.

— А где же вы его видали?

— Давно виделись, память с того дня отшибло у меня. Велел он постараться разузнать об тебе, помочь обелиться в деле-то в нашем в бандитском, а я как в одиночке рассиделся, так и рыло от хороших людей в сторону. Забыл, понимаешь, совсем запамятовал. Как отшибло!

— Какое же с вашей стороны может быть обо мне старанье, коль рядышком оба в клетку захлопнуты.

— Нет, нет, это я еще мозгой раскину! Но стой, с другими сватьями надо обнюхаться. Что за народ? С тобой еще, соседушка, набеседуемся.

Набеседовались они вволю. Алибаев узнал, что Егор Кудашев, действительно, зря запутался, но очень крепко. Доказать его невинность трудно, так как сам он не захочет до конца все нити распутывать. По сбивчивым и неоткровенным его рассказам Алибаев чутьем докопался до правды. Обстоятельства перепутались необычайно. Егор Кудашев жил в семье старшего их с Леонтием брата. Тот с партизанской войны до сего дня еще не вернулся домой, но по верным слухам, был жив, находился где-то за Питером и должен был об'явиться дома. Ушел он с белыми, потом, будто-бы, попал в плен к красным, с ними в рядах сражался, не разберешь, с кем из них содружествовал по своей охоте. Егор остался в избе с его женой и двумя братниными малолетними детьми. Жена братова, молодая, смелая и здоровая, хорошо управлялась по хозяйству и без мужа, Егором, как наймитом, помыкала и была в доме главой. Мужа своего она очень любила, сильно тосковала по нем. Но она была уверена, что он за белых, а не за красных. Юный, очень душевный, Егор сперва просто подчинился снохе, потом, повидимому, привязался к ней чувством более горячим, хотя грешной связи между ними не было. Из-за недостижимости своей сноха сделалась для него, как солнышко на небе. Дороже всего и яснее всего. Он верил каждому ее слову и выполнял все ее желания. В самую распутицу попросились к ним два проезжих человека переночевать. Потом остались дней на пять, ждали, пока вода долами схлынет. Старшего Егор знал, как Алексея Климова, ездившего от своего села в город с каким-то ходатайством в Земотдел. Был же, на самом деле, он сам [атаман Нехорошев. Про заговор Егор Кудашев ничего не слышал, сам и мыслями и настроением почитал Советскую власть своей, стоял за красных. Как ни был мягок по молодости, не поддался бы на заговор, хотя бы и сноха упрашивала. А после, как явились чекисты с обыском, нашли запрятанные охранные бумажки на имущество семьи этих Кудашевых с печатью организации Нехорошева и такое же письменное запрещение мобилизовать принудительно Егора Кудашева в случае наступления особого отряда атамана Нехорошева. В огороде разрыли бомбу. Сноха, перед этим незадолго, очень странный разговор вела с Егором. Теперь его он только понял. Она была виновата, но уж на попятный ладила, расчухала, что дело не выйдет. Когда производили обыск, она сильно перепугалась, что ее заберут от детей. Но заподозрили Егора Кудашева, забрали. Выдать сноху головой он не мог, а иначе оправдаться ему никак было нельзя. Егор, в рассказе, выдал ее Алибаеву странно настойчивыми заверениями, что она тоже ничего не знала. Алибаев решил сообщить следователю про этот, распутанный его личной сметкой, узел, но услышал ночью один раз, как во сне Егор окликнул сноху по имени, а потом затосковал, заметался по нарам. На утро от Кудашева держался в сторо-

не, сердито его обрывал, а при свидании с Клавдией через нее заявления начальству, как собирался, не передал. Утешал себя мыслью, что его заступничество едва ли засчиталось бы в пользу Егора.

Один за другим незаметно в месяц выросли дни. Алибаев всем опротивел, но Кудашев от него не отодвинулся. В революционные праздники, когда не водили на работу, Егор читал вслух Алибаеву книжки из тюремной библиотеки. Сначала читал рассказы. Но все попадались новые, недавно напечатанные, про белых и про красных, про жите при Советской власти, очень странно, непонятно и скучно написанные. Стал тогда вычитывать из политических брошюрок. Обои это показалось занятнее. Но Алибаев не все понимал и порою просто смотрел в рот Егору, думая о своем. Егору один раз дали свидание. Приезжала сноха, и он в этот день дышал как в лихорадке, ни с кем в камере не разговаривал, и для Алибаева это был единственный ощутимо тягостный день в его новом настроении.

Алибаеву казалось, что он теперь всех людей любит просто за то, что они люди. Но он бессознательно хитрил перед собой, не замечая, что Егор, действительно, полюбился ему всей своей ухваткой. Кудашев хорошо примечал все вокруг, действительно всем интересовался. Не иконоборствуя, как Алибаев, он не боялся жить своим умом, стойко противоречить всему, чего не хотел принять. Был худощав, легок и вынослив. Поднимая на работе тяжелый груз, всегда устраивал его на спине особенно ловко. У него не было лишних движений, обременительной мужичьей неуклюжести. Никто не учил деревенского парня, как от них отделаться. Он сам, зорко глядя вокруг, заметил их у других, нашел манеру двигаться, дышать, сберегая силу и время. Сделанные им ошибки не повергали его в унынье, не сбивали с панталыку. Он обращал их в пользу себе, как птица сопротивленья ветра для полета. Только в первом своем чувстве к женщине он оказался тяжело опрометчив и не мог еще из этой беды выкарабкаться. Алибаев, лежа рядом с ним на полу, спросил его как-то ночью:

— А что, Егор, Кудашевы русских кровей?

— Ыгы. А что?

— Глядел я все, сколь ловко ты ложишься, встаешь, и подумал, словно бы не нашенского народу ты человек. Шибко уж деляга. Догадливый, как жид, а спиной крепок, как русский. В человеке крови всегда обозначаются. Вот, во мне русская от матери все-таки к старости отцову передолела. Жалостлив я стал, доходчивый до чужой туги. И сердце полегчало, совесть понятлива сделалась.

— Ну, и зря. Блажишь ты не от матери, не от отца, а сам от себя. Дурачком сделался по доброй воле.

— А по моему сердцу я только теперь и заумнел. Вот сейчас усну, когда злобы грех поменьшал во мне. А то спать не мог.

— Может быть, ты просто опился, ослабел. Пройдет еще это с тобой. Настоящие-то блаженные все-таки, правда, тронутые умом бывают. Я про тебя никак все-таки не думаю, что ты глупой.

— А я про тебя не сдогадаюсь хорошенько, умный ты, или не вовсе умный, а только правильный. Действительно, правильный. А Леонтий, твой брат, тоже правильным мне показался, да все-таки не так.

— Вот тот правильный. Никакого правила не нарушит, раз оно ему втемяшилось. Сноха была, сказывала, что он в городе, здесь. А не пришел наведать, потому что здесь не по правилу, с обманом свидаются.

— О? Это уж и вовсе немец. Я на пленных немцев нагляделся, а то еще у колонистов бывал. Нет, есть к русским кровям у вас подбавка какая-нибудь немецкая. Перемешался теперь народ. Оно и хорошо. Новый приплод, может, получше выйдет. Нашинское племя перед старым хилявое, а эти, может, опять на поправку.

— Спи. Сегодня отпраздновали, завтра на работу. Задышишь опять, как паровик. Отдыхай.

Зима раздрябла, расхлюпалась. Небо нагрузло водой. Снег падал попеременно с дождем. В сырости работа сделалась еще трудней. Обедать сели под запасным навесом для кладки. Издрогшие, измокшие сбились тесно, пасмурной тучей. Нехорошо смотрел и был вял даже Егор Кудашев. Всю последнюю неделю он на себя непохож.

— Тяжелое в мозгу поворачивает, — думал, наблюдая за ним, Алибаев.

Сегодня он ни за кем, даже за Егором, не мог заботливо следить. Кашель разбил всю грудь. Ныли плечи, то и дело туманилась голова, жаркие искры прыгали, мельтешили перед глазами. К навесу подошел невысокий худой солдат со шрамом через весь лоб в грязной шинели до пят. Он был безус и безбород, но немолод. Мелкие морщины пересекали переносицу, бороздили виски. На изуродованном лбу желтая увядшая кожа. Десять человек, охранявшие арестантов, сбились своей кучкой тоже под навесом. Один из них взглянул на подошедшего, повернулся к нему всем корпусом.

— Ты чего?

Тот хриплым голосом спросил:

— Братцы, товарищцы, а що, не знайдется у вас лишней краюшцы хлеба?

— Во, видали! Явился гость! Разве можно солдату побираться?

— Та який же я солдат? Недужный инвалид. Бачишь сам, витром качае. К батькам помирать иду.

— Помирать не надо далеко ходить, везде можно.

— Було б не надо, кабы враз смерть, а то дыхаю, исты-питы прошу. Солдаты охраны поглядели друг на друга. Старший как раз жевал. Он отломил от своего куска и протянул пришельцу. Спросил:

— Откудова же ты идешь?

Солдат взял хлеб, вяло ответил:

— Сдалека.

И отошел. На ходу, оглянувшись, посмотрел на арестантов, скрылся за станционной больницей.

Старший передернул озябшими плечами, встал и начал переминаясь с ноги на ногу. Солдат, сидевший поближе к арестованным, нехотя выговорил:

— Брешет, что солдат. Побирушка.

Старший равнодушно ответил:

— А пес с ним. Плохой, правда, хворый, видать. Ну, кончать еду надо, до вечера мало время остается. Ты что какой сизый и трясешься весь. Хвораешь?

Алибаев, глядя мимо его лица, ответил сквозь зубы:

— Лихорадка трясет. Ничего, разомнусь.

— Ну, ладно, двигайся.

Алибаев не мог не узнать Клару. Узнали ее еще двое из арестованных. Оба они переглянулись друг с другом, посмотрели на Алибаева, но тот отвел глаза. У него все захолодало внутри не от испуга, а от жалости.

— Вот дурища! Несусветимая дура! Чисто сучонка шалая, сама под руку подсакивает. Лучше бы ее тогда прикончили, сразу бы отмаялась.

Когда вернулись в арестный дом, двое, тоже признавшие Клару, поочереды урвали минутку спросить его о ней. Он обоим ответил:

— Ничего не знаю. Расхварываюсь, голова мутна, не разглядел. Чать-то, вы в кого другого вклепались. И как говорит, не расслышал. Не знаю.

Укладываясь, Алибаев слышал, что его окликнул Кудашев, но не отозвался. Поглядел в темное, плачущее окно, подумал о Кларе.

— Где она ночует-то? В эдакую непогодь да не под крышей. Худо! Ах, дура, дура.

Заснул скоро. Потом ему показалось, что он проснулся, поспешно открыл дверь, прошел по длинным, ярко освещенным, совершенно пустым и незнакомым коридорам на улицу. Шумел дождь, хлюпала грязь, но было очень светло на улице и он бежал быстро. Дождь не мочил его одежды. Как-то сразу очутился в церкви, при ярком свете люстры, восковых свечей. Пел невидимо где очень монотонный, похожий на шум дождя, хор. Но Алибаеву пенье казалось радостным. Он стоял рядом с Кларой, их венчали. Лезло в глаза чернобородое лицо священника, но Алибаев все отворачивался, чтобы это лицо не мешало ему видеть Клару. И он повернулся боком к священнику, увидел ее синие глаза, удивительный сияющий взгляд и весь задрожал от любви, восторга, странно смешанных с такой мучительной тоской, что дыханье остановилось. Чтобы не задохнуться, он хотел крикнуть громко-громко, но голос ему не повиновался и он застонал. Вовсе это не церковь, а широкая равнина. Не видно ни травы, ни цветов, она вся синяя и вверху в небе синева эта так ярка, что глаза режет. Он идет по ней один, но знает, что близко где-то Фрося. Опять его пронизал сладчайший трепет любви и боли, стиснул сердце...

С огромным усилием, с натугой закричал и проснулся, услышав свой крик. Он лежал на спине и прямо в лицо ему светила лампа. Щеки были мокры. Алибаев поднялся, стал скручивать папиросу, руки тряслись и он долго не мог свернуть ее, как надо. Боясь смотреть в окно, но то и дело в него взглядывая, выкурил две папиросы, жадно затягиваясь, потом завернулся в тулуп с головой и опять лег. Больше уже не заснул до вставанья.

VI

Алибаев был один в спальняй половине. Все ушли в другую обедать. Разговор оттуда доносился более веселый, чем в ближайшие прошлые дни. Сегодня, в день празднования Парижской Коммуны, арестантам дан был отдых.

Погода стояла переменная. С утра сверху оседала теплая сырость. От нее хилел снег и чавкал под ногами, промозглый воздух забирался в ноздри и в рот, вызывал маятный кашель. Потом вдруг холодало. Студеный ветер замораживал мокреть. Носили тяжелую кладь по заледеневшим скользким сходам. Отсыревшая одежда, во время передышки в работе, быстро отнимала тепло разгоряченного движением тела. Трех сдали в больницу, заменив их новыми, никому неизвестными арестантами, жителями дальнего какого-то места. Они, внове, часто сокрушенно вздыхали, жаловались на свою участь, искали в других жалости, сочувствия. Никто им не посочувствовал. Здесь мало было жалостливых.

Алибаев заново переменялся. Он стал очень молчалив и хмур. Больше не кидался помогать другим. Назойливой услужливостью уже не надоедал, хоть и не огрызался, не спорил ни с кем, отвечал не сердито, когда ответ от него требовался.

Сегодня, в день отдыха, приезжал из города оратор по путевке из Губкома. Он делал доклад о международном положении и значении новой экономической политики. Арестантов его наезд развлек и оживил. Один Алибаев отнесся к нему безучастно. Сидел все утро на полу, поджав под себя ноги, и настойчиво думал о своем. Темные глаза его поблескивали по-ястребиному. Сейчас он, казалось, уснул, завернувшись в тулуп. Но как только хлопнула дверь, тайком посмотрел: кто? Вошел Кудашев.

— Ты что же не обедал?

— Егор, погляди, где Шука?

— Во дворе. Офицеры дрова колют, он им помогает. Я сейчас оттуда.

— А мужики? Другие-то где?

— В той половине, там печка топится, теплей, здесь шибко холодно. А што?

— Чего же делать? А?

Кудашев подошел к двери, прислушался и подошел к Алибаеву.

— А ты что же, на попятный думаешь. Сгубить нас всех хочешь?

— Я за тебя, Егор, пуще всех опасуюсь. Главное, не верю я, чтоб дело вышло. Кларка, ведь, дело-то ведет, никто другой. Она отчаянная шибко, вылезет, где не надо, как в прошлый раз.

— Так чего же? Она показалась вам, чтобы письму поверили. Ведь опасались, что обманное. И день хорошо выбрала, узнали только те, кому надо было узнать.

— То-то, они ли только. Да и не верю я...

— Ей?

— Сама-то она в пекло полезет за меня...

— Вот ты это понимай, что и нас вызволяют только из-за тебя, не пятась назад. Я передумывать не согласен. Все равно, один, безо всякой подмоги, а убегу.

— Да, ведь, ты раньше не думал. Каюсь я, что тебе рассказал. Ты меня и с панталыку-то сбил, я бы не согласился.

— Думал я и раньше, да зацепки не было. А теперь все равно больше не могу. Силы тратим, надрываемся в работе, а конец для меня плохой ожидается. У меня, ведь, нет боевой заслуги, я в своем дворе топтался. Ну, а смерти дожидаться сидеть мне не охота. Значит, надо спасаться.

— Ну, а поймают тебя, тогда не спасешься.

— Не поймают. А поймают, так что же? Нельзя же не пробовать от смерти уйти. Жив останусь, и виноватость свою избуду. Через годок - другой по-иному и об деле нашем судить будут, а сейчас горячо, а я в первых числюсь, под горячую-то руку. Ну, как хочешь, разговаривать опасно. Коль передумал, извести остальных.

— У меня насчет тебя, главное...

— Насчет меня не поможет, я теперь от думки своей не откажусь.

— Ну, дак и нечего, ладно. Как надумали, так и сделаем.

Ночью ни Алибаев, ни Кудашев долго не засыпали. Оба обдумывали одно и то же,—предстоящий побег. Один из конвойных, сопровождавших арестантов на работу, тайком передал Алибаеву известие от Клары еще до появления ее на станции.

Она умоляла Алибаева бежать. Суд неизвестно когда, долго еще придется томиться в неволе. А там, если помилуют, не казнят, все равно опять долгое заточение, а время идет, годы уже не молоденькие, может он и захиреть и кончиться в тюрьме. В Каин-кабаке нашлись верные друзья. Они помогут побегу не только из тюрьмы, но и во Владивосток. Если он о себе не думает, пусть подумает о других. Она называла еще пятерых мужиков из одной волости с Алибаевым, которым помилованья быть не может. Их вызволят только с Алибаевым вместе, для одних стараться не будут. Все для побега налажено. Нельзя медлить, потому что весна развезет дороги, вскрыет овраги и речки. Еще Клара наказывала остерегаться Клавдии, а о себе сообще-

ла уже не на словах, а в нацарапанной ею самой записке. Алибаев разобрать ее не смог. С большим трудом прочитал ему Кудашев:

„Никола я тебе в очи не встану, не разжалуюсь, не покличу, ты не бойся, отбожуся смертельною клятвою, живы у щастьи, в доброму здоровьи. Плачу я не об своей недоли и не с того волосы у меня стали сивы. Вбьют мене, так на одну пулю якого другого поважнийше сменю. Я не хочу, чтоб ты вмер“.

Алибаев не сразу решил, как быть. Он раздумывал о том, что его попытка стать братом всем людям, помочь им, окончилась неудачей. Не такая должна быть помощь. И не всем и каждому, а то по-ловику под ногами у людей станешь, и самое добро слякотью распластается. Другое дело помочь делом человеку, когда эта помощь насущно нужна. Кудашев ближе всех ему, милей других, ему надо помочь, ему следует сделать добро. И, убивая, он жалел молодых, щадил их. А коль спасти захотел, как же не спасти юного Егора. Если он решает, что побег необходим, надо согласиться. Егор думал о годах заточенья, о подневольной, не в радость себе, работе, о возможной безвременной постыдной смерти и, содрогнувшись, ухватился за мысль о побеге. Теперь его невозможно было разубедить.

День побега был назначен в субботу из бани. Водили их по окончании работ вечером по десять человек. В эту субботу собрались только Алибаев, Кудашев и пятеро мужиков, названных Кларой. Но перед самым уходом к ним неотвязно пристал Шука. Новенький, которому не доверяли. От него удалось скрыть замысел. Присутствие его в бане усложняло дело, но отвязаться от него не удалось. Сопровождали их трое солдат. Один тот, что передавал первое сообщение от Клары, их соумышленник. Он остался караулить у двери номера в коридоре. Два других сели в предбаннике, где разделись арестанты. У одного из мужиков, самого смиренного вида, были запряты под одеждой веревки. Он замедлил раздеваться. Один из солдат спросил:

— Что же ты? Кого ждешь?

Мужик замотал седой кудлатой головой.

— Что-то в грудях задавило. Отдохну, посижу маленько.

Шука раскрыл рот, прислушиваясь, но Кудашев крепко обхватил его за плечи и потянул в баню.

— Чего встал на дороге? Пойдем, пойдем.

Сзади надвинулись остальные, и все гурьбой ввалились в баню, хлопнув дверью. Караульные сели на диван и стали свертывать папиросы. Отставший от других мужик начал раздеваться.

В бане Шука только что принялся смачивать голову, как сзади на него прыжком налетел Кудашев. Втиснул его голову в шайку и налег всем телом на него. Дверь в предбанник распахнулась. Караульные не успели двинуться, как шестеро здоровых мужиков навалились на них. Рот им заткнули грязным бельем. Четверо держали, двое раздевали. Сняв с них солдатскую одежду, их связали и внесли в баню. Там скрутили и Шуку. Он уже перестал извиваться в руках

удашев а, — был в обмороке. Кудашев и еще один мужик быстро оделись в снятую с караульных аммуницию. Остальные надели свою одежду. Кудашев огляделся:

— Все готово? Двигай.

И взял винтовку в руки. Тут только увидел, что полуодетый Алибаев, с лицом, иссиня-красным, пошатывается на ногах.

— Алибаев, ты что?

Тот ничего не ответил. С трудом поворачивая налитыми кровью глазами, попятился, согнулся и лег на пол. Кудашев наклонился над ним. Он невнятно забормотал что-то несурзное.

— Хорек, хорек...

Кудашев побелел.

— Братцы, что же делать?

Седой кудлатый мужик дрогнувшим голосом ответил:

— Он не в себе. Я за им даве глядел, он нехорош мне показался.

Алибаев перемогался давно. Сегодня ему с утра было особенно худо. Он с трудом передвигал налитыми тяжестью ногами, но большим напряжением воли заставлял себя ходить, понимать, что делает. В бане, когда охватил его со всех сторон жар, он уже плохо видел и покачивался. В предбаннике, пока связывали караульных, на миг опаматовался. Но это напряженье было уже последним. Явь ушла из его глаз и слуха, он впал в беспамятство.

Кудашев раздумывал недолго.

— Ни вывести, ни вынести... Бьется в руках. Ну-ка, скорей, рот, рот ему... он закричит. Что же делать? Э-эх! Ну, нам передумать поздно. Вяжи и его.

Кудлатый мужик тоскливо шопотом спросил:

— А чего же мы там скажем? Из-за его они больше старались, не из-за нас.

Егор махнул рукой.

— Что есть, то и скажем. Некогда теперь, поздно передумать.

Он приоткрыл дверь и позвал стоявшего у дверей. Из номера вышло пятеро в сопровождении трех часовых.

Беглецов переловили в одиночку. В условленном месте не нашли они ни подвод, ни обещанных верных людей и убежать далеко им не удалось. Только позднее стало известно, что в Каин-кабаке в это время шла своя кутерьма.

Зима трудна выдалась для Каин-кабака. Нужно было любовное упорство в труде над их неудобной пашней. Каин-кабакцы и в прежнее время не надсаживались над полями. За войну отбились вовсе, разленились. И земля, как опостылая жена, рожала мало и худо. Иного промысла, отхожей работы, поблизости не было. Волей-неволей приходилось тужиться по крестьянству. В ближайших соседних землях савеловских и копыловских хуторян озимь этой осенью, как щетка, вышла густа. У них же нехороша почти на всех пашнях. И еще, от

хозяйского недогляда, или уже так, беда не ходит одна, напала хворь на скот. Чуть не каждый день на дворах по очереди бабы выли над подохшей животинной. И окрест над падалью в пустынном осеннем поле во множестве кружились беркута, стервятники, вертлявые со-роки и жирное воронье, справляя пир. С холодами и по людам пошла болезнь. В закромах заготовлено оказалось мало запаса. Еще до свя-ток не дошло, каин-кабакцы уже доедали хлеб.

Раньше, пока ночная беда не прихлопнула алибаевский двор, жителям Каин-кабака жилось тревожней, но и веселее. Перепадали с того двора и дары, подмога. Оттого сначала, когда забрали Алибаева, мужики густо загудели в гневе. Но вслед за Алибаевым взяли в тюрьму еще самых охотливых на драку мужиков. Бабы подняли вой, сокрушаясь о детях, и робкие отцы семейств притихли. Попржнему горячо о нем беспокоился, корил хуторян за бездействие только Васька-Сокол, одинокий молодой мужик. У него жена и сынишка недавно померли. Он о них меньше сокрушался, чем об Алибаеве. Ему первому о себе весть подала Клара. С ним вдвоем они взбудрили сторонников Алибаева не только в Каин-кабаке.

Вечером, накануне того дня, когда подбитые Васькой-Соколом люди, во главе с ним, должны были явиться в назначенное место, ы набежали гурьбой в избу Филатенковых. Матвея Филатенкова забрали по нехорошевскому делу одним из последних, недавно. Баба осталась на-сносях, с пятью ребятишками на руках. Старшему сынишке всего одиннадцатый год, он и справлялся за хозяина. Евдоха Филатенкова, тяжело поворачивая огромный живот, сегодня собирала его на мельницу. Мука вся кончилась, у соседей займы просить и со-вестно уж, да все-таки просила, в трех дворах отказали, самим никак не удастся смолоть. Вдвоем с малосильным парнишкой насыпали и стащили на дровни зерно. А через час после этого Евдоха закорчи-лась в страшных, еще не бывалых ни от одного из детей, родовых муках. Бабушка Секлетей замаялась с ней. Вытирая трясущейся рукой пот с лица, говорила собравшимся в избе:

— Ну, бабы, ничего больше не могу. Умаялась, чисто сама рожаю. Заговор, видно, сделан на брюхо кем-нибудь со зла.

Серолиця баба с глубоко запавшими глазами ответила ей сла-бым голосом:

— Эх, баушка, на всех на нас тот заговор, из-за его и мужиков в острог посажали, и бабы родят неблагополучно. Я, вот, какая удалая допрежь родить-то была, а в нынешни года другого мертвенького скинула.

В ночи избу допоздна освещал с потолка маленький огонь пяти-линейки. В кольце налегшей бабьей толпы на скорбном своем ложе лежала мертвая неразродившаяся Евдоха. Огромный живот возвы-шался над поверженным бездыханным ее телом, как напоминанье о ее последней житейской тяжести.

Та же серолиця женщина, увидев его, затряслась и страстно взголосила:

— Сестрицы, бабоньки! Мужики отстраждалися, отвоевались, ждали бабы радости, работать без надсадушки, детей растить с родителем. А и где же те родители подевались! Ой, тошно мне, тошнехонько, ой, бабоньки...

Она горько зарыдала, оборвав слова, и повалилась на кровать, лицом в ноги мертвой Евдохи.

Бабы, плотней сбившиеся в избе, завсхлипывали в ответ. Взвился и громкий плач. Высокая рябая баба сурово его перебила:

— Будет, бабы. Голошеньем здесь делу не поможешь. Он страждал, воевал, а мы, что ль, не маялись? Он-то наехал, с нами полежа, встал, отряхнулся, да опять дело не дело, в драку в новую. А детей кому подымать? В хозяйстве кто ворочать будет?

В ответ поднялся сплошной бабий шум. Жалобы, восклицанья, плач наполнили избу. Обычно окружала мертвого строгая, уважительная тишина, нарушаемая только установленным причитаньем. Теперь обида и неустройство живых отстранило мысль об умершей. Рябая баба сильным своим голосом опять покрыла общий крик.

— Теперь, если мы сами не вступимся, пропадать и нам, и детям. Чать, не я одна дослышала, что Васька на-ново подбивает.

— Мама-а!.. Ой, мама, ой-ой-ой!

— Стой, бабы, расступись. Эй, Степанида, это Гришанька твой. Степанида-а!

— Что ж что мой! Пущай давят! Пущай все подавят! Отец-то думает об их? А? Кто об нас подумает? Кто об нас постарается?

— То за большевиков ходили, наши, мол, наши. Ну, ладно, мол, наши. Как не то перемогусь. Своими крылышками прикрою... Выстаивай за своих.

— И я, я тоже не отказалась. А теперь чего же, и это не свои. Да кто же тебе свои? Со всеми и будешь драться весь век?

— Кто с Алибайкой водился, кто от его наживался, тот пусть и вызволяет...

— Да, как раз! Нахлебники-то алибаевски, башкиры, казацкишки-то, небось первы смекнули, поукрывались.

— Да что Алибаев? Опять, что ль, кто за Гришку собирается? Да скажите, милые, да не майте меня. Чего опять про Гришку?

— Васька-Сокол на выручку...

— Они, соколы-то, взовьются, да улетят, а отвечать опять воробнам придется.

— Эдакому соколу перья-то повыщипать, башку на бок пора.

— Да стойте же вы! Ой да, голубушки, ой, сестрицыньки. Ай-дате, не сдавайте. Соглашались мы на большевиков, пущай и будут большевики.

— Вон Евдохины-то дети воют на печи. И наши также будут. Который год одни всю работу ворочаем.

— Работу за их ворочаем, и рожаем опять же мы. Кабы они родили, дак узнали бы...

— Стойте, бабы! Угомонись. Ну, стой ты, зевластая. Третий год всего замужем, а всех забивает...

— Да я на третьем-то на годе, может, за двенадцать твоих...

— О-ох, сердечушко. Да и как я в свою избу взойду, да и как я гляну...

— Сто-ой! Кто чего слышал, ну? Отколь узнали, что мужики затевают?

Рябая баба звонко отозвалась.

— Я подслухала. Не спалось долго с вечеру...

— Ой, потише... Ну-к, стойте. Чего она говорит?

— Да громче ты!

— Рассказывай, Феона, говори...

— ... вышла я во двор, гляжу, за плетнем по нашему огороду кто-то крадется. Я, было, кричать хотела, да одумалась. Вижу—мужик, а на дворе-то я одна. Ну, гляжу, гляжу: Васька-Сокол. А за им еще. Трое эдак друг за дружкой. Тут я и смекнула. Не иначе, опять на драку заваруха. Стой, думаю, догляжу. Они по-заамбарами вместе пошли. Я близко-то не могла. Но слыхала: Кларку поминали и Гришку, а потом: завтра, дескать. Я плохо дослышала, но все-таки выходит так... Завтра ночью они с Кларкой встренутся за хутором...

Поднялся снова шум, но скоро опал. Женщины начали совещаться потихоньку. Когда расходились, рябая властно заказала:

— На язык замок. Нетерплячие мы на тайности, а все-таки надо помнить: детям нашим на погибель, коль до-время мужики дознаются. Надо Кларку словить, в ней весь вред. Гришка родня нам всем одинаковая, нашему плетню сват. Будет, навоевались с ним. А сколь порухи он нам сделал, еще не считано.

Юркая бабенка сунулась к ее плечу.

— В других местах бабы нову сарпинку понакупали, а у нас прием и куплять нельзя, ни торговать нельзя.

— Торговалы с купилой-то еще нет, об чем засохла!

— Ну, ладно, бабы, будет. Потихой языками-то...

Прошел день, а в следующую ночь спозаранок поднялись все в хуторе от мала до велика. Чуть угадывался, еще по-зимнему тяжелый на под'ем, рассвет, когда в сизом его сумраке забежали, зашумели люди. За хутором, там, где высился шест с красным флагом, сгрудился народ. Шум тяжелого бега, разговор, крики, руготня сливались, ширились, перекатывались по всему хутору. Никто друг друга не слышал, каждый метался, кричал во всю силу голоса. Звонко перекликались, плакали, смеялись шныряющие меж взрослыми дети. Гул людского волнения, как буря, далеко отдавался в предрассветной тишине за хутором в горах.

Бабы подкараулили Клару с Васькой-Соколом и еще двумя мужиками. На помощь поймавшим из всех изб набегали бабы с ухватами, с кочергами, с палками, с поленьями. В руках у рябой был большой заостренный кол. Она кричала:

— А ну, Васька, бей! Бейте нас, мужики! Кончайте нас, мужики! Ты, Степан, убивай меня! Убей жену свою, кончай детей наших, все одно!

А сама наступала грудью вперед, широко и сильно размахивая колом. За ней другие. Стоном разливался их вызов.

— Пали из ружья! Поклади на месте!

— Чего же встали? Нам один конец.

Мужики отступили быстро. Бабы повалили Клару на снег. Падая, она крикнула:

— Тут и лежате, где завязала себе свит. Братцы, Григория...

Кончить она не успела. Ожесточенный женский визг еще долго стоял и над мертвой, как кошунственная панихида. Бабы непристойно надругались и над телом ее. Завернув ей на голову одежды, обнажив худые, с выступающими костяшками колен, ноги, ее труп привязали к шесту под флагом.

Прибывшие на другой день из города начальники, проходя по избам, везде заставляли мужиков опять мирно сидящими на печках. Бабы крутились в обычной своей работе.

В ночь побега арестантов из бани, на постоялом дворе в городской слободке ночевало трое приезжих мужиков. Целый день они ходили по городу, вернулись уже по темноте и сразу залегли спать. Но, когда хозяин потушил лампу и ушел в свою половину, они один за другим проснулись, тихонько ощупью пробрались во двор посмотреть лошадей. Во дворе было темно от грузного облачного неба. Падая тающий на лету снег. Ноги по-щиколку хлюпали в вязком, смешанном с навозом, месиве. Высокий жердеобразный мужик натянул чапан на голову, огляделся вокруг, и, успокаивая кого-то, примерещившегося ему в плачущей, шепчущей тьме, вслух проговорил:

— Овсеца мерину подбросить придется. Ну, дороженька на завтра,—трудно ехать будет.

Чубастый немолодой казак сердито подтолкнул его:

— Иди, иди подальше. Растопырился у крыльца.

Сошлись под сараем у одной колоды и зашептались. Казак, плохо сдерживая басовитый, вольный голос, объявил:

— Крыто! Ворочаться домой надо, ни хрена!..

Мужик в чапане зашипел предостерегающе, оглянувшись, зашептал чуть слышно:

— Каин-кабакские не явились, стало быть, отступились, а нам как же? Мы и вовсе по разным местам живем. Как сговориться, все вразброд, тот сюда гнет, этот туда.

Третий, низкорослый, но коренастый, спокойно негромко отозвался:

— Рассудили, значит, что ни к чему буга! У вас все вразброд, а мы чего же одни башку ломать пойдем? И в Каин-кабаке народ теперь тоже не прежний народился. Надоел он нам, говорит, беспокойный все-таки. Будет, навоевались! Хозяйство схилилось.

Казак грубым шопотом перебил его:

— Ну, тоже хозяйство! Как раз в Каин-кабаке шибко ретивы мужики до хозяйства! Скажи: трус народ и там,—и вся!

Мужик в чапане примирительно сказал:

— Ну, словом, ни у их, ни у нас, ни у вас нет охотников отбивать Григория. Народ, что волна в бурю, грозно гурьбой встает. Ну, дак чо, будет уж бурей-то ходить. Пора каждой волне на свое место ложиться. Перепалки-то уж везде позатихали, а нам как новую затевать? Пушай сам как-нибудь старается. Он — дошлый! Утре, как маленько разведрит, айда по домам!

Алибаев отлежал полтора месяца в тифу. Только перед самым судом перевели его из больницы снова в тюрьму. Он совсем поседел, постоянно отвисала нижняя губа и спокойно туп сделался взгляд косых глаз. Теперь он никогда не отказывался от Клавдиной передачи. Много и жадно ел, почти все время заключения провел в утробном глухом сне. В последний раз он затрепетал перед жизнью во время суда. В первый же раз, когда он увидел, как подходит к красному столу своей отчетливой верной походкой Егор Кудашев, он точно проснулся. Раза два, в перерыве, в комнате, куда их выводили всех, ему пришлось говорить с Кудашевым. В первый раз он сказал ему:

— Вся вина на мне. Я ведь знаю, как люди помогают: жалко тебя, да не как себя. А я ума решил, согласился на побег. Да кабы еще довелось с вами, а то... Худо мне, Егор, опять я шибко мучаюсь.

Во второй, приглаживая рукой седую щетину на голове, опять пожаловался:

— Люди сказывали, дикий зверь до старости не доживает. А я лютовал лютей зверя дикого, а смерть меня не берет ни в хвори, ни в казни. Коли меня не засудят на пристрел, куда же я тогда?

Кудашев невесело улыбнулся:

— А я, вот, знал бы куда. И не пожалели бы судьи, кабы не засудили, а мне конец.

— Может, на суде обскажешь...

— Теперь поздно, запутался я с побегом. Ошибся на-совсем.

— Живой тем и жив, что ошибается, да поправляется.

— В этой стрельбе промашки не бывает, а в могиле чего поправишь? На другой бок и то не перевернешься.

— Погоди, сынок, может и не на-совсем. Живой будешь, и оправисься, и обелишься. У живого все концы в руках.

Он что-то еще хотел сказать, но передумал. Посмотрел ласково в лицо Егора и отошел.

Суд приговорил Алибаева к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Но, приняв во внимание его прошлые боевые заслуги, сократил этот срок наполовину. Под удар высшей меры отдали семерых, во главе с атаманом Нехорошевым. На суде развернулась чудовищная картина зверской расправы нехорошевского отряда с отступниками и целый ряд тайных страшных убийств. К семерке приме-

нили революционный закон во всей его прямоте: расстрел без права обжалованья.

В тюрьме уже свободной стояла приготовленная смертникам камера, но все знали, что новые жильцы проживут в ней лишь несколько часов, утра не дождутся.

Приговор был об'явлен в дождливую весеннюю ночь, в два часа.

У здания суда и дальше на площади густо чернела толпа в сплошной темноте под дождем. Жадно ждали осужденных, хоть и невозможно было даже разглядеть их. Выводили сначала под кольцевой охраной смертников, и на некотором расстоянии от них остальных приговоренных к заточению, под конвоем, менее страшным. Сквозь дождевую завесу тускло мерцали редкие и слабосильные фонари, освещая малые неясные пятна отдельных лиц среди людского скопища. Невидимые голоса, прорвавшиеся отдельно восклицания, смех, чей-то надрывный плач, колыхались над площадью во тьме. В самой плотной черноте, в середине площади вдруг произошла заминка. Раздались громкие окрики.

— Раздайсь! Расходись! Освободить дорогу!

— Стой! Что такое?

— Товарищ Рудой!

— Наза-ад! Наза-ад!

— Стреля-яй!

В мокром воздухе один за другим глухо захлопали выстрелы. Налетела откуда-то конная охрана. Сквозь женские визги, шум и шлепающий панический топот бегущих очень сильный, уверенный мужской окрик.

— Все в порядке! Двигай дальше.

К охране, сопровождающей смертников, подскакал всадник.

— Что случилось?

Снизу, из тьмы, кто-то ответил:

— Ничего. В темноте-то, которых сзади ведут, кучей сбились, прибавили шагу и натолкнулись на передних. Ничего, столпились, потолкались. Все целы: семеро. Сосчитай сам.

Никто не разобрал, что в толкотне Алибаев с огромной силой вышвырнул меж охраны в толпу народа Егора Кудашева, и сам вошел на его место. Шагали медленно и ровно семеро, как прежде.

В камере, на свету, когда конвой захлопнул дверь и тяжело стукнул засов, Нехорошев схватил за плечо Алибаева.

— Ты, чорт...

— Молчи! Задушу...

Не прошло и часу, за дверью слышались осторожные шаги, заскрипел в замке неповоротливый большой ключ. Вошли люди с револьверами за поясом, с винтовками. Впереди—высоколобый, Алибаев с'ежился, быстро повернулся спиной, но высоколобый не только сразу его увидел, но и все понял.

— Вместо кого? А? Нехорошев здесь? Кого нет?

Шестерых снова заперли в камере, Алибаева вывели.

Высоколобый не очень смело, глядя мимо Алибаева, спросил:

— Это что еще за фокусы?

Алибаев злобно прикрикнул:

— Не твоего ума дело.

Но потом спокойно и негромко, точно самому себе, вслух пояснил:

— Ошибку вашу поправить хотел, еще раз на добро, было, пощипнул. Может еще и удастся, может, вызволится, парень эдакий белому свету нужен. А меня куда бережете, не знаю.

Клавдия знала. Она усиленно хлопотала, во все ходы проникла, с'ездила в Москву, и там сумела облегчения участи Алибаева добиться. Последняя его выходка была прощена, потому что Кудашев не убежал. Прошло только полтора года, а Клавочка уж высвободила Алибаева. Старая Клавдина тетка встретила их хлебом-солью у ворот. Входя в свой дом, Клавочка вздохнула всей грудью и сказала:

— Ну, вот, все хорошо, я опять своему мужу жена и нашему дому хозяйка. Ох, надоело мне мотаться по судам.

Повернулась к Алибаеву и настоятельно сказала:

— Я надеюсь, Гриша, что ты теперь окончательно остепенился. Пора тебе честную старость себе добывать.

Как-то заехал к ним Савелий. За чаем, оглядывая одобрительным взглядом стол и располневшую румяную Клавдию, сказал Алибаеву:

— Не знай за какое твое добро, Григорий Петрович, бог жену тебе такую послал. Без нее так бы и капут тебе. Дуром окачурился бы в какой-нибудь передрыге. А теперь, гляди, в доме добра, на детей и на внуков хватит. Сами оба наливные, не укулупаешь. Седой ты, да седина не в укор, коль детей еще печешь. Покрикивает наследник-то, растет? Только бы не в тебя, а в мать задался.

Савелий знал, что дитя привозное. В город Клавдия выезжала не редко, да и Шурка, случалось, сюда завертывал. Еще когда Алибаева выхлопатывала, сблизилась с Шуркой. Знал об этом и Алибаев. Но Клавдия ясно взглянула на Савелия и тепло улыбнулась.

— Растет. На отца непохожий лицом, не знай, какой характером удастся. С муженьком-то натерпелась я беды, не довелось бы еще с сыночком.

Алибаев, навалившись грудью на стол, жадными пальцами тянул к себе кусок жирного пирога. Он равнодушно поглядел на Клавдию, на Савелия и, лениво ворочая языком, маловнятно отозвался:

— Какой-нибудь вырастет. Кричит только больно шибко.

Туго забив рот пирогом, выпучил глаза.

— Вот, ведь, как, Клавдия Тимофеевна, ты остепенила человека. Крик слышать стал. А раньше сам без крику часу не жил. Ну, знаешь, Григорий Петрович, я все тебе прощаю. Много ты мне страху задавал, все прощаю. А вот, как вы с чекистами коня у меня угнали, этого не прощу. И сейчас, как вспомню, ругаться с тобой охота.

Алибаев сильно огрузнел. Память у него тоже будто жиром затянуло. Он искренне ответил:

— Какого же это коня? Я чего-то забыл про коня. Какой конь?

Он редко вспоминал отдельные случаи из прошлого. И вся его былая жизнь вспоминалась ему дремотно, будто в жарко натопленной комнате, разморенный теплом, он смутно улавливал ухом взыванье далекой непогоды.

Клавдя взглянула на него и ласково посоветовала:

— Не бери третий кусок, опять под сердце задавит. Не жалко, ведь, ешь на доброе здоровье, да, ведь, тебе же под сердце задавит. Ну-ка, возьми вот утрись, щеки у тебя намастились. Муж у меня не плохой человек, Савелий Максимович! Только надурил много. Пораньше бы ему оглянуться на себя, да вот эдаким спокойным манером зажить, как сейчас. В партии состоял, не удержался — жалко. Дельному человеку лучше всего, когда он партийный. В работе шире можно развернуться. Я бы и сама партийной работой занялась, кабы было на кого хозяйство оставить. Тетя уж очень постарела, только и может, что ребенка нянчить и на том спасибо, вся помощь. Вы-то, я знаю, по старой закваске, партии опасаетесь.

— Будешь опасаться, как зятка такого, как Леонтий, наживешь. Бабе-то, конечно, все одно, с кем живет, в ту дуду и поет, но мне Аннушку жалко. Ни достатку основательного, ни почету. В прежнее-то время я бы ее не так устроил.

— Я тоже дивлюсь, Савелий Максимович, как люди не умеют устраиваться. Хоть бы для пользы дела сообразили. В городе я знаю одного, уважаемый партийный, в роде начетчика по разным собраниям выступает. А гляжу, один раз, дерет на собрание на это пешедралом через весь город, чисто беспартийный какой. Лошади даже себе не исхлопочет. Вот и у нас сын комсомолец, то-есть, пасынок-то мой, ну да мы с ним дружно живем, все одно я его за родного сына считаю, и он меня больше Григория Петровича уважает, так вот он тоже неразумный в этом деле. Это уж у него от Григория Петровича. Разговаривает он со мной, я ему, ведь, сочувствую, он любит со мной беседовать, а попросить его поддержку какую исхлопотать—нельзя. Сейчас зафордыбачит. А что же, так без поддержки и в кулаки недолго попасть. Вот тебе боевой партизан Алибаев, гроза на всю округу, а в кулаках засчитают за хозяйство. Ох, надо бы, Гриша, тебе заслуги-то боевые отчистить как-нибудь.

Алибаев, шумно сопя, поднялся, голосом искательным, неуверенным проговорил, глядя в сторону:

— А што, праздник, ведь, сегодня. Я пойду с теткой в подкидного дурака сыграю.

С недавнего времени он очень пристрастился к этой не хитрой карточной игре. Так самозабвенно ей предавался, что Клавдя иногда не могла дожидаться его по делу. Приходилось вместо него самой с работником в амбар ходить, овес лошадям отпускать. И Клавдя

ласково, как всегда, но безотменно, наложила запрет на „подкидные дураки“ в будни.

Клавочка проводила взглядом тяжелую, широкую книзу, фигуру Алибаева. Когда его шаркающий шаг перестал быть слышен, негромко сказала Савелию:

— Надо куда-нибудь его пристроить. Может быть еще для какого-нибудь дела сгодится, а то эдак кровь застоится, не дай бог, и удар хватит. Может быть, вот, в потребительскую лавку, работа общественная, тоже все-таки не плохо. Он же боевой партизан, все-таки этого у него уж совсем-то не отняли. В городе ему легче устроиться, да жизнь там не тихая, беспокойная все-таки. И хозяйства такого уж не разведешь. Здесь крестьянствуем потихонечку.

Летним вечером Алибаев сидел на приступке у входа в потребительскую лавку. Еще люди не вернулись с поля, тихо лежало село. Но вечерние длинные, как в старости, тени уже вытягивались над землей. Поглядывая на смиренное небо с широкой спокойной полосой заката и пустынную дорогу, Алибаев радовался покою. Хорошо, что покупателей сегодня мало было. Он еще не привык отвешивать, выдавать товар и получать деньги. Это занятие было ему неприятно. Но что же, спорить с Клавдей, ругаться, очень уж это беспокоило. Да в лавке сидеть не плохо. Прохладно и мух мало. Задремлешь — в рот не набьются. А дома чуть приткнешься где, мухи и в рот, и в уши, и в нос. Грузен очень стал. Как уснет, вспотеет, жир пот гонит, мухи и облепят, как жирную пададь.

На дороге показался человек. Алибаев встревоженно приподнял голову: не в лавку ли, эх, хоть бы мимо! Человек прошел мимо, даже не взглянул. Но Алибаева вдруг что-то пробороzdило по сердцу. Он тяжело, с пыхтеньем задышал. В движениях человека, в его легкой верной походке была большая схожесть с Кудашевым. С холодком в груди и поясневшим взглядом Алибаев подумал:

— Егор... нету его. А хорошо было зародился человек! Только не иначе, что была в нем другая кровь.

Из-за угла выбежал шустрый босоногий мальчишка.

— Дяденька, Григорь Петрович!

От распивавшей его жажды действия мальчишка не смог обойти вниманьем лежавший по дороге камешек. Подхватил его, лихо размахнулся рукой и пальнул в небо, только потом закончил:

— Хозяйка твоя чай пить велела домой итти. Да только скорей, самовар уже на столе. А то, она говорит, ты ногами возишь, возишь, никак не довезешь. Айда!



Два стихотворения

МИХ. ГОЛОДНЫЙ

I. Возмущенные

Их знали и знает каждый век—
Ты тоже их помнишь, земля!
Их сторонится человек
И любит косая петля.

Но верят они в свою судьбу,
Как мы в свой упорный труд.
И синие жилы у них на лбу
К горячему сердцу ведут.

Бедствия гонят их с разных мест,
Все ослепляя собой,
Голод их сушит, пламя их ест,—
Но жизнь в них шумит, как прибой!

Безусый юнец и старик-бородач
Средь них одинаково прост,
От века до века веселый палач
Возводит их на помост!

Они улыбались—и короли
Теряли сон и покой
И самые лучшие не могли
Оставить их за собой.

Время пройдет, остынет кровь,
Многих не станет в борьбе,—
И черная ярость, нахмутив бровь,
Расскажет о них тебе.

II

С каждым днем не ближе,—дальше путь.
Знаешь что—присядем отдохнуть.

Небеса прозрачны и тихи,
Видно, Лермонтов читает им стихи.

Пусть читает... Я хочу тебе сказать,
Начал я как-будто уставать:

Взгляд не тот и нет того огня
И товарищи сторонятся меня.

Да по правде,—коль пошло на то,—скажу:
Не печалюсь я об этом, не тужу.

Верь, усталости не знает только тот,
Кто не любит, не жалеет, не живет.

Ну, а нам не раз с тобой в пути
И любить, и вяннуть, и цвести.

Не устанешь—и на свете скучно жить,
А устанешь—стоит ли тужить!

Что же, милая, смелей прижмись к груди.
Видишь—небо размечталось впереди.

Скоро свет его застанет нас вдвоем.
Отдохнем еще немного—и пойдём.

У т р о

АНТОН ПРИШЕЛЕЦ

Ночь июньская на Арбате!
Коротка ты,
Как взмах крыла.
И неслышна, как легкое платье
Той,
Что только под утро ушла.

Проводив,
Я вернулся и лег,
Чуть хмельной от нее и вина.
Но уснуть в этот час —
Не мог
У раскрытого настежь окна.

Во дворе, на часовне древней,
Вспыхнул крест —
И бессильно потух.
Вдруг над ухом —
Такой деревней
Заорал бесшабашный петух.

Чем-то радостным и непоправимым
Опахнуло и стиснуло грудь,
Чем-то близким,
Прошедшим мимо,
Что нельзя ни забыть, ни вернуть...

Только солнце вот так всегда
Будет сыпать веселый гутор.
О, мои голубые года!
Тает ваше июньское утро.

Снова,
Снова горланит петух,
Заглушая шаги и слова,
И смолкает устало.
И вдруг —
Диким лявгом уродуя слух,
Врывается первый трамвай.



С Ы Н

Рассказ

СЕРГЕЙ БУДАНЦЕВ

I.

Павел Алексеевич с отвращением поглядел на кучу пальто, горбом свисавшую с вешалки, склад калош и шляп, на грязь, принесенную с улиц, и спросил помогавшую ему раздеваться горничную:

— У мамы гости?

Агаша ответила весело и фамильярно:

— Всегдашние наши. Одиннадцать человек, патлаты! Собрание делают. На кораблях и в городе нивесть что делается, я от одних выстрелов места не нахожу, а им хоть бы что! А пальто куда девать ваше? Тут некуда, сами видите.

— Отнесите наверх.

Агаша схватила в охапку студенческую шинель и быстро скрылась в коридоре. Он пошел за ней.

У двери в столовую он остановился и прислушался к голосам, совершенно явственно доносившимся оттуда. Дверь, как гигантская мембрана, сотрясалась от спора, утомленных и хриплых прений, выразительность интонаций которых решительно не годилась для маленькой комнаты в уединенном флигеле, похожем на дачу. Голоса и словарь спорящих явились сюда с митингов, с массовок, с уличных прокламаций.

Павлу Алексеевичу стало холодно, как будто он стоял не в теплом, полутемном закоулке квартиры, а на молу или каменистом берегу при крепнущем ветре. Волна идет, загибая вперед белый гребень, с протяжным шумом разбивающийся о препятствия и обдающий первым посылом мельчайших брызг. Но вот вторая волна, третья. Ветер ощутимо прибывает. Пятая и шестая очередь валов несут не облако, не легкий дым сырости, возникающей над шелестом паденья, а взрываются,—залог шторма,— темным шипеньем соленой влаги, с запахом водорослей и рыбы: внутренностей далее моря. Лучше уйти: полы одежды прилипают к ногам, легко поскользнуться—ветер напорист.

— Завтра будет в газетах объявлена благодарность царя за успешное подавление беспорядков и за энергию,—палаческая работа

оценена. Шмидт обречен. За две недели барон успел пролить столько крови!

„Буденко“,—узнал Павел Алексеевич,—„матрос с „Очакова“ и член революционной комиссии“.

„Он же нелегальный, полиция с ног сбилась—его ищет. И, если его найдут, то будет плохо...“ Кому? Он не ответил себе на страшный этот вопрос.

Послышалась самая родная в мире, поспешная, неровная речь.

— Мы выслушали сообщение, теперь я дам слово „товарищу Антипу“—из Москвы. Здесь в Севастополе революция потерпела жестокое, и, несомненно, временное поражение, но там, на севере, снова кипят недовольство и революционный гнев...

— Я покинул Москву пятнадцатого ноября,—начал невидимый оратор, напрягая простуженное горло.—В дороге я узнал о событиях в Черноморском флоте, рвался сюда, но сообщение...—у него, вероятно, нехватило сил, и дальше пошло совершенно невнятное сипенье.

Павел Алексеевич смутился и почувствовал, что краснеет: ему казалось, что говоривший подозревает о подслушивании. Он на цыпочках повернулся.

— Опять начинается московское.

С кегельбанным грохотом, неистово гремя ступеньками, слетела с лестницы Агаша.

— Павел Алексеич! Павел Алексеич! Чего ж вы? Нина Николаевна бушует.

II

Худошавая девушка в шелковом халате, готовом затлеться жаром, который он облегает, с повадкой тирана семьи, с бранью и цыканьем на губах, большеротый урод, прекрасно знающий свое очарование,—Нина Николаевна, паля папирску, кричала:

— Бедлам!—сумасшедший дом! Палата номер шесть! И это взрослый человек! Он собирается жениться. В то время, как над домом готово разразиться несчастье, он ковыляет где-то по Приморскому бульвару... Время для прогулок! Это все про тебя говорится, Павел.

Она поперхнулась дымом и упала в кресло,—можно подать реплику:

— Что случилось, Нинет?

Она кашляла, клокотала дымом и обрывками слов:

— Властная старуха... чорт ее побери... она задумывает бог знает что... запретила бывать кузену Боре... адъютант палача!.. Пошел вон с моих глаз, если ты не можешь ее утихомирить!

— Кого?

— Мою будущую свекровь.

Гонка по комнате началась сначала.

— Боря—единственная наша защита. Без него нас бы повесили за все эти собрания на первой осине. Гашка нашла и уже донесла

мне. Волосатые опять кланчат денег. Наша старуха от Меллеровской экзекуции пришла в раж. Готова отдать все.

— Я ничего не понимаю.

— Дурак! поймешь, когда останешься нищим. Я демократка, не хуже их. Я ненавижу вешателей. Но нельзя итти против рожна! Мы задушены этими деспотами революции: твоей матушкой и ее присными. Отводи сердце у себя в мезонине!..

Она заплакала, слезы закапали сквозь пальцы, прижатые к глазам, мокрая папироска упала на ковер.

— Конечно, я воспитанница, меня и на ответ можно послать!

Он бросился к ней и, с усиьем разывая ее руки, целовал мокрое ее лицо, горько-соленое, дымное, ускользящее от губ.

III

Столовую не могли освежить, хотя и открывали окно на целых полчаса, в сырую мглу двора; ушедшие оставили никотин, смазные сапоги, утомленное дыхание.

Клокотавший самовар пробил свой блестящий путь к столу, поюлила Агаша у певшего, как соловей, чашками буфета, абажур налился розовым светом.

Они втроем сидели за столом.

Разливая чай, Ниночка капала в него ласковые слова, даже встала раза два и ластилась около Аполлинарии Михайловны.

Павел Алексеевич привычно жевал кос-халву, которой он отдавал предпочтение перед провинциальными пти-фурами.

— Ты устала, мамочка,—говорила Нина.

Старуха улыбалась опустошенной улыбкой, и лишь по разглаживающимся морщинам на лбу было видно, как она каждым глотком чая борет усталость, как бы переключая силы в другую проводку.

— Какие страшные дни, — со вздохом сказала она. — Но около вас я отдыхаю, моя молодежь. Мне иногда кажется, что вы не понимаете, а ведь это — для вас.

Нина сделала наивно-умилненное лицо.

— Прости, Нина, ты кончила чай? Мне надо поговорить с Павлушей.

Девушка ответила покорным поцелуем и вышла с таким видом, словно ее уши остались на подносе.

IV

— Я должна уехать,—сказала мать.—Я еду,—повторила она тем твердым и жестким тоном, перед которым сын дрожал.—Возражения ни к чему, я еду в Одессу.

— В Одессу?—изумился Павел Алексеевич. Она не обратила на это никакого внимания.

— А ты оставайся здесь. Дом чудесный, тихо, уединенно. Я дам Нине и Агаше самые подробные распоряжения. Наслаждайтесь сча-

ством!—она усмехнулась.—Анна Петровна, наша домовладелица, будет навещать вас каждый день. Это положительная женщина, „свой“ человек и прекрасная хозяйка,—поможет всем, чем можно. Что тебе: писать стихи я, поди, только мешаю.

Ее глаза вдруг наполнились, как жилы, кровью, резким, сухим блеском,—игрою расширенных зрачков. Это означало слезы и материнскую слабость. Павел Алексеевич привык к необычным этим обозначениям душевной жизни матери и едва не зарыдал. Он бросился к ней. Она сильно и нежно приняла дрожь его хилого тела, он, горестно освобождая зубы от липких сладостей, возражал:

— Ну, куда ты, куда, мамочка? Ну, что за нужда тебе ехать, тебе не двадцать лет, сейчас так опасно на железных дорогах.

— Ты бредишь, Павлуша, какие железные дороги? Говорю тебе: я еду в Одессу, понял? Или в Феодосию. Понял?

— Прекрасно понял. Ты конспирируешь. Это мне сообщается для других. Ты стала скрывать свои дела от меня, это я вижу.

— Потому что они тебя расстраивают. Доктора не велят тебя волновать, да и с какой стати? Счастливому жениху не до революции. Павлуша, милый мальчик! Давай поговорим с тобой так, чтобы никогда не возвращаться к этим темам.

Сухонькая женщина встала, светясь решимостью. Несколько фунтов крови были неукротимы под пергаментом старой кожи. Ее лицо, мало искаженное возрастом, только как-то ссохлось и оттого обнаруживало сходство с ликами, которые снились жестоким иконописцам, шедшим с бесжалостным благочестием и яростной святостью на саможжение. Лицо ее в молодости было милым, в старости стало прекрасным. Теперь оно—сдвинутые брови, несколько длинная верхняя губа, безвлажно прижатая к нижней (рот четко ограничивался складками от крыльев тонкого носа), даже подбородок, даже по-старомодному прилизанные волосы,—все это выражало огорчение.

Сын неподвижно, лишь поеживаясь, сидел на диване. Он очень походил на мать сходством, безобразившим образец. В особенности его портила длинная верхняя губа с густой синеваой сбитых усов, одутловатость щек при общей худобе и пляска тика по его нездоровым морщинам.

— Давай поговорим,—согласился он.—Очень больно наше взаимное отчуждение. Я не имею права отрывать тебя от жизни, то-есть от революционной работы... Я могу ее, правда, уважать, но любить... нет. Шум, вульгарные манеры, выкрики... мне тяжело в этой среде. Я не мастер читать в сердцах, но, кажется, и ты иногда тяготишься: другое поколение! Ты носишь белый воротничек, а ни одной из их женщин не приходит это в голову. Пусть я о внешнем... Но и то, что я исповедую внутренне, противоположно твоему. Революция разрушает,—это самое сильное мое возражение.

— Немного,—сухо заметила мать.—У тебя, поди, есть еще несколько слов в запасе: хороший сын и хочешь промолчать. Я принимаю умолчания, мы не спорим, а объясняем.

— Так вот, ты—спасибо за редкую откровенность,—увидал в революции только небрежный костюм, да страсть к разрушению. Я видела в ней цель всей моей жизни. Мы принесли когда-то ей все: свою жизнь, право на чужую жизнь, террор, расправу. Не думай, что легко убить человека.

Они заговорили слишком обще, она остановилась.

— Так вот,—продолжала она (любимое словцо),—так вот: скажу правду,—я еду в Москву. Там очень серьезно... Там нужны люди и средства. Я, старуха, мало пригожусь на баррикадах. Что же? Буду сестрой милосердия. В свое время в Женеве тоже училась! Но это неважно. Самое важное: там нужны средства. Я отдаю все, что принадлежит мне, все деньги. За выделом твоих пятидесяти тысяч, это, но теперешнему курсу бумаг, составляет сто девяносто три—сто девяносто пять тысяч. Это немного... Но там нужно оружие, оно стоит денег.

— Прости, мама, но это безумие.

Она повернула к нему лицо, тронутое гневом.

— Безумие, говоришь ты? Нет, единственно разумный шаг. Видела и вижу, скрытым душевным зрением вижу все виселицы, все расстрелы, всю злобу реакции. Слышу, как хрипят умирающие. Чувствую весь жар такого вешателя, как Меллер-Закомельский. И мне заранее известна участь всех арестованных по флотскому делу, начиная с лейтенанта Шмидта. Всей жизнью, всеми доступными средствами, личным примером я вела тех, кого могла, к революции. В том, что народ пришел к ней,—есть доля и моего старания. И вот теперь, приведенные мной к революции люди ждут последней помощи. Как же я могу отказать?

Он был готов броситься к ее ногам,—речь страстная, как молитва, потрясла его,—но он знал, что мать не одобрит этого движения, вычитанного во французских виршах.

— Ты права, мама,—сказал он тихо, так именно, как и говорят восхищенные люди.—Делай, как решила.

Она улыбнулась растерянно.

— Видишь, и мы иногда понимаем друг друга. Когда нам не мешают. Это потому, что ты поэт, мальчик. Теперь слушай дальше. На всякий случай я дам тебе явки в Москве. Все может быть, может быть мне и придется скрываться.

Он уже был уверен, что ей придется скрываться.

У

Севастополь был холоден и мокр, как собачий нос. Вместо мятежных воззваний и задора, он был населен бесплотными страданиями за гибнущую родину, кровавыми сплетнями и насморком.

Павла Алексеевича изводили дожди, непрерывность которых возбуждала истинное отчаяние. Волоча туфли, в халате, с кофе, застревавшим где-то в пищеводе, он таскался по комнате. Головокружение

сажало его за стол истреблять бумагу: на письма, дневники и неудачные начала стихотворений.

Страница *Fleurs du Mal**) с исчерканным посвящением мадам Сабатье пожелтела и скорчилась, открытая целую неделю: перевод не двигался.

Стены дома, рассчитанного на лето, на благодатное дыхание крымского зноя, сырели. У Павла Алексеевича опять раззуделась невралгическими болями правая нога, бок и еще что-то. Приезжал доктор и, вода целительной кварцевой лампой по ягодице, сообщал тревожные и злобные приказы усмирителя.

Вечера были безлюдны: военное положение закупорило дома.

— К вам Борис Владимирович.

— Просите, Агаша.

Вошедший офицер обдал седой мокретью, клубившейся за окном. Сплошные седины дождя слипались с сивыми призраками домов и серым, как пар, морем. Он пахнул ненастьем. Оно сидело на нем, как плотно пригнанная одежда, оно, пожалуй, увязалось за ним со страшной осенней поездки по взбунтовавшимся восточным железным дорогам.

Павел Алексеевич не узнавал в нем, в этом сухом и много испытанном человеке, рубаху-парня, николаевского юнкера,—оса вылупилась из личинки.

На звон его шпор, с криком: „Кузен Боря!“ выбежала Нина, чмокнула его в усы и убежала прихорашиваться.

— Есть сведения от тети Поли?

— Никаких. Это ужасно.

— Да, неприятно. В Москве вооруженное восстание. Восстала самая чернь. Положение серьезное. Боюсь, твоя матушка...

Не dokonчил, не желая осуждать ее при сыне.

— Да, это так, ты прав...—Павел Алексеевич запнулся.— Она уехала в неистовстве. Она кипела. И подумай, в каком положении она нас оставила.

Он метнулся по комнате. Офицер провожал его движения взглядом скучающей жалости, слегка морщился, следя каждый ковыляющий шаг.

— Она—мать—сочла возможным забыть, что меня послали на юг доктора, что мне нужен покой. Я боготворил ее.

— И очень хорошо, что перестал,—вмешалась, войдя, Нина.

В комнате началось сверканье глаз, оскалов, аксельбантов, погон, носков из-под подола. Павел Алексеевич угрюмо ворчал:

— Материнство—счастье. Она отвергает индивидуальное и единственно реальное счастье ради выдуманных и мертвенных революционных страстей. Она еще горит пламенем, которое опалило ее тридцать лет тому назад. Я готов преклониться, но она не со мною.

*) Книга стихов французского поэта Бодлера.

Никогда с такой силой не ощущал я разрыва времен, который отделил меня от органического течения лет, струившегося доселе (офицер зевнул).

— Всем Елагиным было страшно смотреть, когда мамочка со страстью разрушала благосостояние семьи, — сухо вставила Ниночка с ангельски поджатыми губами.—Она продала пай Шуйской фабрики и повезла нас с Павлушей в какую-то духоборскую коммуну.

— Мне холодно в этом враждебном ветровороте,—продолжал Павел Алексеевич.—Мы оказались в беспомощном положении, созданном опять ее эскападой.

— Да в чем дело? Как ты любишь околичности!..

— Ах, не говори, Борис, не спрашивай, я дал ей слово. Ведь она распоряжается своими!..

Нина Николаевна досадливо пожала плечами.

— Что ты деликатничаешь? Мать поступила отвратительно! Я все расскажу.

Павел Алексеевич сел к столу, зажал пальцами уши и слушал, как в шумных струенях крови, загудевших под пальцами, бился далекий и неразборчивый говорок невесты. Он открыл уши лишь тогда, когда забубнил голос двоюродного брата:

— Она сумасшедшая! Ее надо взять под опеку. Нам грозит чуть ли не эмиграция, как, помнишь, аристократам во время Конвента, а она... Положение грозное, и тот, кто не понимает этого, пожалеет.

— Что-то очень страшное и необыкновенно явственное, нечто вроде погрома и землетрясения одновременно готовят могущественные и враждебные силы,—мать помогает им.

Павел Алексеевич опять принялся за свои заклинания, длинные и безответные, произносимые глухим, протяжным голосом, который тогда входил в моду, чтобы через два-три года стать общепринятым.

— Ужасный жаргон политиков раздирает мне уши, которые я приучаю к иной музыке... „Чорт меня дернул родиться в России, да еще с умом и талантом“.

Нина Николаевна подбежала к письменному столу и стала неподражаемыми ужимками изображать нигилистов шестидесятых годов.

— Каракозов, глухое время... Желябов, Перовская! В народ! В народ!

— Перестань, Нина,—прервал ее Павел Алексеевич,—я чту их память. Быть жертвой, а не убийцей!..

Она не унималась.

— Как же, Сулова, первая эмансипированная баба, постоянно бывала, Михайловскому нас показывали!..

— И вот, выбравшись из капища революции, мы попадаем в Содом!..

— Отлично,—произнес в раздумьи кузен.—Мы окажемся умнее. В тебе, Павлуша, здоровая елагинская кровь, я слышу ее голос, как его ни заглужали. Так спорил дядя Алексей, когда был жив. Вот мой

план, ее нужно во что бы то ни стало найти и не дать привести несчастное намерение вас разорить, хотя бы с помощью правительства.

— Ни за что!—крикнул Павел Алексеевич.

— Что?

— Это ее убьет.

— А нас она не убивает? А нас она не собирается погубить? С милым рай в шалаше!.. Нет, поищи другую.

— Не говори так,—вымолвил побелевшими губами Павел Алексеевич.—Такой ужас! Разорение. Неизвестность. Одиночество. Мрак. Куда я денусь?

И, как бы капая последнюю каплю, офицер сказал:

— Слышал, Буценко пойман?

У Павла Алексеевича захолонуло внутри.

— Я докладывал дело его превосходительству.

— Что с ним будет?

— Il sera rendu detain *),—ответил почему-то по-французски Борис Владимирович.—Я замаял упоминание о твоей матери.

Павел Алексеевич так побледнел, что Нина бросилась к пузырьку с бромом.

— Подумай!

И Борис Владимирович поднялся.

— Проводи меня, Нина.

— Павел Алексеевич,—сказала Агаша, входя.

— Что? что?

Он вскочил с дивана. Она попятилась и забормотала:

— Это я, Агаша, по делу к вам. Вы дадите завтра на расходы? Купить кое-что нужно, а потом хозяйке платить срок, мы ведь вперед платили все время.

Он замахал руками:

— Нет, нет, нет, никаких расходов! Что такое в самом деле! Да вам известно, что я разорен, что произошло?.. Произошло что-то непоправимое! А мне нужен покой, покой, покой!..

VI

— Вас просят вниз.

Он кое-как надел пиджак и ботинки с резинками, чтобы не возиться со шнуровкой. Стук и вызов были тревожны.

VII

Глядя на юношу, ротмистр чувствовал себя особенно бодрым и работоспособным, а вот юнец этот, не то перепудренный, не то перепуганный, попавший сюда все-таки из самой заверти революции, готов сдаться.

*) Он будет повешен завтра.

Нет, рано еще хоронить режим, если он может наводить такой страх простым приводом к жандармским властям. И его, ротмистра, дело тоже не потеряно“.

Юноша немощен, почти горбат. Руки у него прозрачны почти до синевы, голос глуховат и выразителен: у таких, вот, кособоких часто бывают прекрасные голоса.

Ротмистр чувствует себя при деле по сравнению с этим студентом, вынужденным тлеть на лечебном юге, вместо того, чтобы слушать лекции, или бастовать и манифестировать по Моховой. Ротмистр наряден, играя золотом и всей расцветкой формы, пухл, горит сдержанным рвением,—ну прямо гаваннская сигара.

— Так благоволите, э-э, господин Елагин, сообщить, когда и куда отбыла ваша матушка?

— Когда?—Павел Алексеевич облизнул губы.—Но жандармскому управлению должно быть это хорошо известно...

— Что известно нам (жирная черта собственного достоинства),—то нам и разрешите знать.

— Когда? когда?—заторопился допрашиваемый,—наверное, я полагаю, по всей вероятности, дня четыре назад...

— Наверное или по всей вероятности вы полагаете? Да, по прописке так оно и значит. Но мы имеем сведения, что ваша матушка выехала несколько раньше. Жаль, жаль господин Елагин, что у вас, при ваших убеждениях, такая короткая память.

— Может быть вы и правы, пожалуй с неделю назад.

— Оч-чень хорошо-с! У нас будет теперь законное основание иметь в виду и вашу домовладелицу. Конституция, знаете ли, на все надо иметь законное основание. Дама из сочувствующих...

„Я—предатель!“—с ужасом подумал Павел Алексеевич.

Так вот оно то, чем всегда его пугала мать, рассказывая о встречах „с ними“, об их головокружительной светскости, о бархатной их подлости. Она называла сыну людей, не сумевших отразить их грозную хитрость. Легко запутать человека в этом темном мире. Вот он предал Анну Петровну, домовладелицу (голос матери: „это прекрасная хозяйка, положительная женщина и свой человек“), он же понимает, что она неспроста замедлила выписку матери.

— Итак, куда же изволила выехать ваша матушка неделю тому назад?

В голове стояло: „Куда? куда? в Феодосию?“

— В Феодосию.

— В Феодосию?—Ротмистр недоверчиво ухмыльнулся и наудачу посверлил глазами.—А может быть..., может быть в Ф-д-е-с-с-у?

Павел Алексеевич привскочил на месте.

И никогда после не мог Павел Алексеевич понять, откуда ротмистр Барановский узнал содержание их разговора с матерью с глазу на глаз.

— Так вы еще имеете нам сообщить, что Аполлинария Михайловна отправилась в Одессу,—разглагольствовал ротмистр с бессо-

держательной значительностью.—Знаете что, Павел Алексеевич,—начал он вкрадчиво, как бы взмывая над столом,—мы не будем играть в прятки, я вам открою свои карты. Нам, например, известно, что вы усиленно занимаетесь поэзией, хороший филолог, человек лойяльнейших воззрений. Революционное поветрие вас не захватило. Это тем более удивительно, зная вашу матушку и ваше воспитание. Биография вашей матушки нами изучена по долгу службы, вероятно, несколько лучше даже, чем ее единственным сыном. Увлечение молодости, Чернопередельские кружки, эмиграция в Женеву... Вас воспитывали, надо думать, на идеалах, на страданиях, перенесенных в былом.

„Надо бы оборвать“.

— Знаем и дальнейшее: разногласия с Плехановым, весь народовольческий путь... А известно ли вам, молодой человек...

„Он забывается“.

— Что матушка ваша, невзирая на возраст...

„Мерзавец“!

— Несмотря на обязанности, которые налагает на нее... э-э... материнское положение... Да вы историю Лизогуба знаете? — вдруг прервал он тираду.

— Да... конечно...

— А газеты читаете?

— Да... нет... изредка...

— Вы слышали, что делается в Москве, где находится ваша матушка?

VIII

Павел Алексеевич бился в объятиях дюжего унтера.

— Вы забываетесь!—надрывался он галочьим воплем.—Вы не имеете права оскорблять меня! Я ничем не виноват перед правительством, а меня третируют как преступника! Я тоже российский дворянин!

— Успокойтесь! успокойтесь, Павел Алексеевич.

— Нет, не успокоюсь! Я успокоюсь, а вы меня в свои казематы посадите. Я требую, позвоните моему кузену Елагину, адъютанту генерала Меллера! Я—поэт! Я ничего не знаю о матери и ее знакомых. Я сижу в своей комнате и не интересуюсь революцией. Я не буду никого предавать!

— Да вы меня не так поняли...

Ротмистра вызвали.

Кто-то в еще более уединенном кабинете, в еще более прекрасно сшитом мундире выговаривал ротмистру:

— Ну, что вы... до чего довели нервного человека. Так вы его в Москву не выпроводите, он в сумасшедший дом сядет. Разве так надо вести допрос! Запирается—не настаивайте. Что говорил Елагин-старший? Слегка припугнуть и предложить уехать в Москву. Он вам на спине двух филеров довезет. Довели декадента до этакого градуса! Так все провалить можно.

— Да он потому и кривляется, что догадался об этом плане. Верно ему Борис Владимирович дал понять больше, чем следует. Никому не хочется свою мать под неприятность подводить. Пусть она и двести тысяч отдает на крамолу! Всякий хочет беленьким казаться.

IX

Все путешествие гудело еще в ушах, оно мелькало видами из окна, разрозненными и неясными, как виденья, оно ощущалось всем утомленным телом, коченевшим от неподвижности в вагоне, оно томило скукой одиночества и пугливого малолюдства,—в такую пору да ездить!—оно почти осязаемо жило, кончившись и оставшись за дверьми настороженного вокзала.

Из экономии он взял билет третьего класса и трясся в пустом почти вагоне, холодевшем с каждой сотней верст под'ема на север. К Курску пришлось достать шубу. Во время дороги в отделение несколько раз заходил какой-то человек неопределенного возраста. Он с безразличным видом садился на лавку и раззуживал себя антиправительственными речами.

От политических разговоров Елагин уклонился. Тогда общительный спутник начал распространяться про любовь к образованным людям и стал называть себя инженером с германским образованием. Обнаружилось, что по-немецки он не говорил.

Павел Алексеевич сначала во все глаза смотрел на невиданную разновидность человечества.

— Шпики невежественны и глупы,—сказал он себе, не доезжая Харькова, и попросил оставить его в покое.

Всю дорогу жгла его мысль о раззорении. Года два мечтал он об издании художественного журнала типа „Югенд“ или „Атенеум“, а вот как слагается жизнь. С его личным состоянием можно открыть разве только чулочную-вязальную мастерскую!

Вечереющая Москва, безлюдная, без движения, в обломках сокрушенных, баррикад придушенно скрипела снегом под полозьями саней. Извозчик свернул в переулки. Над городом висело небо. Павел Алексеевич никогда не видал его в Москве. Оно темнело и на нем проступал месяц.

„Две трети суток стоит над городом мрак и в темноте начинает ломить глаза от мороза. От Ледовитого океана, от Верхоянска догадет до этого города дьяволово дыхание стужи. В один кусок льда смерзается земля Российской империи. Дьявол противится живому“.

— Стой!

Патруль из каких-то штатских. Ражие морды, запах говядины и колониальных товаров. Черная сотня.

— Кто такой? Откуда едете, куда скачете? Пачпорт...

Чиркнул. Кулак заиграл розовым. Свет прыгнул на мясистый нос и проскакал по развернутой книжке.

— Проезжайте, ваше степенство. Только держитесь по Садовой, большими улицами спокойнее. Крамольник больше темноту сейчас любит. Трогай, извозчик!

— Эх, бобры у него на шубе какие!—услыхал Павел Алексеевич за спиной тот же голос.

Где-то вдаль раздалось несколько выстрелов.

Выехали на Сухаревскую площадь.

— Что это за зарево там, в стороне Тверской?

— Пресня догорает,—хмуро ответил извозчик.

Х

В аптеке стоял сумрак, за окнами светлел снег, разноцветные пузыри одинаково темно пухли на подоконниках.

Павел Алексеевич стоял и ждал, никто не выходил, тогда он еще раз подошел к двери, рывком открыл ее, колокольчик задребезжал, тонко подхватили склянки. Ни ответа, ни приветия. Кашлянул. Помычал что-то. Мычанье осветило аптеку желтым пламенем. Испуганно оглянулся. Кто-то беззвучно вошел с лампой.

— Что вам угодно?

— Вы не нуждаетесь в фарфоровой посуде?—произнес посетитель слова пароля.

Из-за наклоненной—вот-вот упадет из рук—лампы на него посмотрело горе. Да, именно таким представлялся готовому, прирожденному опыту воображения Павла Алексеевича взгляд человеческого несчастья. Молодое, изможденное, как бы отозвавшееся всем болезням, приносимым в аптеку, еврейское лицо, отороченное первой порослью бородки, освещалось скорбными черными глазами, лихорадочно мерцавшими в опухших, заплаканных веках.

Он отрицательно замотал головой.

Елагин повторил:

— Вы не нуждаетесь в фарфоровой посуде?

И не услышал условного ответа. Повременил. Человек почти бросил лампу на прилавок. Он дрожал.

— Нет, нет, нам ничего не надо.

Павел Алексеевич оторопел. Ему стало казаться, что он перепутал спасительную белиберду и попал в ловушку.

Решился на отчаянное и ляпнул:

— Мне нужен товарищ „Пригородный“. Я ему должен предложить фарфор.

— Товарищ „Пригородный“, это Изя, мой брат. Я не знаю вас, вы пришли на явку, а его нет в живых. Извините меня, но я два дня потерял память. Солдаты подняли его на штыки, я видел своими глазами. Сейчас.

Он вышел. За окнами засиял снег.

Вскоре, с тою же лампой, появился человек в студенческой тулупе, с заспанным лицом и совершенно осипшим голосом.

— Это вы предлагаете фарфор?—спросил он трудным шопотом. И ответил по уговору:—нас, к сожалению, не устраивает дальнейшее расстояние.

— Не можете ли вы сказать, где находится „товарищ Пертячка“?

— Могу. Третья Мещанская, дом Трунова, квартира пять, во дворе: это недалеко отсюда.

— Благодарю вас. А что случилось в этом доме?

— Погиб сын владельца аптеки. Он работал в революционном Красном Кресте. „Они“ пленных не берут.

XI

— Мальчик мой!

Он целовал старческие руки, загрубевшие за время разлуки.

— Мне кажется, они пахнут пороховым дымом.

— Да они и должны пахнуть. Мы защищались. Я стреляла. Делала все, что нужно. Почему ты так поздно?

— Поезд запоздал, а потом и я заблудился. Москва показалась мне совершенно незнакомым городом, и не знаю я этот район. Какой страшный город! Я видел сожженные дома, видел, как везли трупы.

— Трупов много, Павлуша. Победа за нами: они постарались.

— Мама, а что будет с тобой? Ведь они отомстят.

Только теперь, в родном городе, над которым производилась расправа, он понял, что опасность близка, она может вырасти из-под земли, свалиться с потолка, отделиться от стен, она, как зловещий запах, проникает все. Он смотрел в глаза, гладил руки и целовал ее. Он снова был покорен тем, всегда единым, как мания, упругим и всеобъемлющим, как усилие гипнотизера настроением, которым была неизменно окружена Аполлинария Михайловна. Чувство, овладевшее сыном, походило на какое-то действенное соболезнование, к нему примешивалось и тщеславие. Вот хоть бы и сейчас: в квартире, где все набились, как сельди в бочке, им предоставили отдельную комнату.

— Как они мне отомстят, я—старая. Меня трудно запугать даже самым страшным: она и так близка.

— Мама!

— Ну, молчу, молчу, я знаю, ты не любишь... Ну, да ничего со мной не будет. Я старой конспиративной выучки Александра Михайлова... И еще пригожусь товарищам. Ты знаешь, я деньги не успела выручить из банка, эта сложная операция требует времени, а тут все было закрыто... Ну, ничего, они теперь больше пригодятся, теперь сотни людей должны будут лыжи навастривать за границу или куда...

Павел Алексеевич встал с дивана. Нет, положительно он не может больше слышать об этих деньгах. С матерью. В такой момент. Деньги. Нельзя.

Он оглядел чужую комнату, обставленную не без роскоши.

— Однако эти „сочувствующие“, которые предоставили нам ночлег, не бедствуют и, видимо, не собираются отдавать деньги на революцию.

Он изложил свое соображение брюзгливым тоном. Мать посмотрела на него с упреком:

— Как тебе не стыдно!—резко сказала она.

За старинным переплетом окон стояла ночь, но часы показывали утро. Лампа начала чадить. Обморочная желтизна играла на корешках книг, на полировке шкафов, на багетах картин.

Мать и сын сидели молча, тяготясь друг другом. Но прекратить влияние размолвки не было сил. Павел Алексеевич не мог дожидаться возможности выйти отсюда.

XII

В коридоре задрезжал звонок.

Послышался босой бег встревоженной горничной.

Аполлиария Михайловна подошла к окну, легко вскочила на стул и открыла форточку. Ворвался ветер и снег и непроглядное скребыхание голых веток в садике, и за всем этим звон и звяканье и что-то посапывание, не сулящее ничего доброго, и как пароль:

— Телеграмма!

— Это за мной, Павлуша.

Она бросилась к камину, вынимая из кармана какие-то бумажки, и чиркнула спичкой.

Комната наполнилась дымом.

— Мама, мама, прости меня!

— Что с тобой?

— Это я... я привел... меня выследили шпики...

Она обняла его и поцеловала. Он дрожал.

И она, всем своим материнским сердцем заранее строя защиту и отводя удар от сына, торопливо говорила:

— Ну, что ты, кто тебя будет выслеживать. Успокойся, у тебя алиби: ты только что приехал из Крыма, это ведь бесспорно.

Павел Алексеевич силился что-то сказать и не мог. Топот и звон свалились в коридор.

████████████████████

Отцу

Петр ШАМОВ

Все та же глушь,
Все тот же страх
Сквозит в просторах черновема,
Напрасно я в своих стихах
Грущу по зарослям знакомым.

Нам не с'ютить своих дорог...
И в долгий вой голодной вьюги —
Я не шагну через порог
Родной
Покинутой лачуги.

Не зазовет
Старушка-мать
Под кровлю родины убогой, —
Останусь я и умирать,
Как незнакомец, на дороге.

И выйдешь ты ко мне в метель.
Взглянуть на ветряное ложе,
И будет ветхая шинель
Тебе милее и дороже.

Корявый ветер у крыльца
Тряхнет промерзшую ветелку.
И не узнаю я отца
И сердцу
Близкого поселка.

И в эти жуткие часы,
Когда глаза свои закрою, —
Быть может, только старый сыч:
Под крышей ветхою провоет.

Журавли

П. РАДИМОВ

Тлеет день, чуть жаркий, духовитый,
Пьяным запахом сырой земли.
Желтым пухом расцвели ракиты,
Стороной курлычут журавли.

Еле видно призрачную стаю
В золоте расплавленных небес.
К голубому улетают краю
Через буерак за синий лес

Журавли, воздушные бродяги.
Знать, милы вам вольные места,
Заводи, болота да коряги,
Дикая глухая красота.

Чертухинский Балакирь

Р о м а н

СЕРГЕЙ КЛЫЧКОВ

(Продолжение ¹)

Непромыха

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заячий праздник

Вошел Петр Кирилыч в большой ельник и всей грудью передохнул после бобылей зибели... В лесу тихо и черно, зелено, в ветках только кой-где качнется на остром лучике большая мохнатая звезда. Хорошо было после коряг и осоки чують под ногой упругий мошок. Теплый он и лежит, как пуховая подушка, взбитая хорошо перед сном, пройдет по ней зверь и за собой следа не оставит!..

Петр Кирилыч сторожко ступает по мшистой подушке, держит левую руку перед глазами чтоб не напороться на сук и глубоко в себе затаил дыханье... но в лесу прокружишь, как кот за хвостом, думал выйти Петр Кирилыч на Боровую, а вышел недалеко от Густой Елки на прогалину, кофрых в чертухинском лесу было, как окон в светлой избе... В лицо так и забил свежими побегамн молодой ельник, кольцом закрывал он со всех сторон небольшую поляну и словно от посторонних глаз сторожил...

Пробрался Петр Кирилыч сквозь колкую заросль,—захотелось ему посидеть на полянке,—месяц на них хорошо светит, но раскрыл на выходе из молодняка последние ветки и дальше итти не решился...

* * *

По всей поляне рассыпан месячный свет и вся она играет и переливается тысячьо разноцветных огней, горят в траве бесценные драгоценные камни, каким нет цены и каких нет ни в одном магазине, потому... мимо них пройдет человек и не... заметит!..

¹) См. № 1, 2, 3, 4, 5 «Нового Мира».

Если нагнешься да вздумаешь поднять какой покрупнее, в руки без тайного слова они тебе не дадутся!..

...потому все в мире человека боится... тронешь ветку ногой и с нее покатится... град, только на бисер и жемчуг... похожий!..

Затаил еще пуще дух Петр Кирилыч, на самой середке поляны стоит, как нарисованный на картинке, пенек, должно быть после старой березы..

Белеет пенек берестой, возле пенька стоит небольшая березка, худенькая она и пугливая, да и растут так посередине прогалин больше березы...

Словно зайдет в гости да назад на опушку сквозь еловую гущу, потеряет дорогу и стоит на ней, пока не вырастит внучку... Редко на поляне у нас выдастся ель: тогда расставит она далеко в стороны лапистые руки, шумит на самом тихом и незаметном ветру и все на одну ноту, как регент посреди церковного хора...

Глядит Петр Кирилыч: на пеньке пушная мохнатая шапка, наушники с шапки с боку висят, завязаны они, как в стужу у мужиков, под подбородок, под шапкой горят зеленым немигающим светом гнилушки, а на шапке на самом затылке сидят рядом в обнимку два зайца, большие зайцы,—пушистые, в лапке у них у каждого светится месячный луч, как рублевая свечка...

Горит все и переливается светом от этих месячных свеч, зноится в мелких усиках травки и по этой травке кланяются друг дружке головками первые весенние цветы, звенят чуть уловимым звоном в золотые свои колокола самые ранние цветы—куриная слепота и чуть мерцают маленькими фонариками раздуванчики... в каждом, невидимо для глаз, бирюзовый глазок вставлен... росинка вечерняя висит...

А вокруг пенька—столпотворение!..

Зайцев этих, поменьше, побольше, сотни полторы будет!..

Вставши на задние лапки во весь свой заячий рост и выпялив длинные уши, полукругом ведут они хоровод и по-заячьи тихо поют: видно на пенушке сидит зайцам всем заяц и рядом с ним всем зайчихам зайчиха!..

У зайца прострелены оба ушка, у зайчихи одно, видно—видальные зайцы и ушки у них завернуты в трубочки, как бы прошение с жалобой на Цыгана, которое они давно смастерили и куда-то в свой час подадут...

Но... Цыгана и в лесу и в селе все боятся, а он никого!

* * *

— Какой зверок, а и тот свою церемонию имеет!..—любуется Петр Кирилыч,—шугнуть али их?..

Заложил Петр Кирилыч два пальца в рот по-цыгански, набрал было духу...

А зайцы, взявши за лапки зайчих, плывут и плывут в своем хороводе, ни ночной совы они сейчас не боятся, ни зверя, сегодня

у них заячий праздник, самый веселый праздник весны, и у зверей в этот день уговор: друг дружку не трогать, правда, и в этот день волк с лисой за лапу не здороваются, но в каждом зверином сердце всякая жилка дрожит от истомы и под шкурой такая пышет жара, от которой и у барсука повисает на сторону дымный язык...

...Плывут на высоких лапах зайчихи и зайцы и еле различимо для человеческого слуха за ними плывет заячья хороводная—зеленое море и по этому морю все плывет с заячьей песней, качаются звезды на ветках, качается на мачтовой сосне месяц, как золотой фонарь на корабле и словно парус, надувший во всю скулы на буйном ветру, быстро обегает прогалинную опушку прозрачное облако...

— А пусть они...—вздыхнул Петр Кирилыч, заглядевшись, и так и не свистнул, а повернул от прогалины и скоро ему под ноги бог весть откуда протянулась тропа...

Ни шороха нигде не прошелестит, ни сучек не скрипнет, только в одном месте, когда Петр Кирилыч сам оступился о какой-то торчек, над головой у него сорвался с сосны большой глухарь с сенную плетуху, должно быть притоковавший и дожидавшийся утра...

Долго после него по лесу полыхали могучие крылья и слышно было за версту, как он в темноте где-то на Светлом усаживался на другое место...

Петр Кирилыч прибавил шагу и скоро перепрыгнул канаву, которая с обеих сторон окаймляет Боровую дорогу...

* * *

На дороге в лесу всегда человеку складнее...

Идет Петр Кирилыч не спеша по дорожным рытвинам и тихонько напевает про себя песенку:

Не зелена роща
На ветру шумела,
Хваленая теща
На пиру сидела...

Веселая такая песенка, но не успел ее Петр Кирилыч допеть до конца: чуть пройдя по дороге, он остановился на минуту, а потом перемахнул обратно канаву и, притулившись к березе, стал дожидаться: ковыляя в бока, катится по дороге не разбери-бери что, то ли человек, то ли зверь, то ли тележное колесо догоняет хозяина: засадил в незадачный час всю телегу с помолом где-нибудь на погнившем мосту, а сам убежал за подмогой!

— Э-эй!--крикнул Петр Кирилыч, когда катушек до него докатился и Петр Кирилыч хорошо разглядел согнувшуюся в три погибели старушонку, побирушную сумку у ней на горбу и в руках кривоногую палку...

— Ох-о-ох! Как ты меня добрый человек напугал, так вся в яму и провалилась,—говорит, разогнувшись, старушка...

— Откуль, баушка, на ночь глядя?...—охрабрел Петр Кирилыч.

— От тетки к дяде, бабушка... от тетки к дяде!.. На мельнице, вишь, была, стучалась - стучалась возле ворот... так и не достучалась... должно спать полегли!..

— А сама-то с коего места?.. вроде как у нас таких сморчковых по всей округе не водится...

— Всяк гриб на своем месте растет?.. Горы-Понивицы знаешь?..

— Эка бы не знать... далеко же тебя закатило!..

— Побирושка, бабушка... добрым куском живу... только подавать стали ноничи плохо... обходишь сколь места, за день глазом не оглядишь, а в корзинке шиш... А ты-то сам, добрый человек, откедышный?

— Чертухинский,—простодушно ответил Петр Кирилыч.

— Чертухинский... а-а-а,—протянула старушка,—самое что ни на есть хаплюжное место... тоже небось стоишь: дожидаясь!..

— Ишь старый чорт куда метит,—подумал Петр Кирилыч,—нет, я так по лесу болтаюсь: иду к Дубне на сома жерлицы ставить...

— Ой, смотри, парень: поставишь на сома, а поймаешь девку без ума... эна у тебя кудри-то какими колесами с головы катются...

— Ишь ведь...

— Да уж иди, иди с богом: никому не скажу!.. Прощай, добрый человек! Ловись тебе рыбка большая и маленькая!..

Поклонилась старушка Петру Кирилычу в пояс и дальше пошла по дороге, опять нагнувшись низко к земле, разглядывая ее, как бы грехом не упасть...

— Ой, старуха старый чорт!..

Глядит ей вслед Петр Кирилыч и не может никак оторваться, горбата она, словно овес молотили у ней на спине, маленькая, в руку зажмешь и то ли вслед ей так забила луна из-за веток, рассыпавшись зайчиками на дорогу, то ли и впрямь порснули изо всех кустов самые настоящие зайцы, только счету им нет, скачут они, играя друг с дружкой, и труском трусят в лунном свете на дорогу, забегают ей вперед и в бока, припрыгивают ей на колени и становятся впереди на задние лапки и на каждой зайчихе повязан по длинным ушам зеленым платочком лопух и у каждого зайца боярской шапкой лихо заломлен на самый затылок разрисованный крапинками самых разных цветов первый весенний гриб мухомор и в ушах у зайчих продеты дорогие серьги и у каждого зайца в передней лапке светится месячный луч...

— Ой ли! да ведь это, пожалуй...

Но не успел Петр Кирилыч обо всем догадаться и старушку догнать и окликнуть, под несмолкаемый, безветренный шум, бегущий с ветки на ветку, накатилось прямо на месяц небольшое облачко плотным комочком, юркнул в него месяц, словно в мешок, и все у Петра Кирилыча перед глазами: лес, старуха, зайчихи, повязанные в лопуховые платочки, и зайцы в боярках и на минуту сама дорога под ногами исчезла, словно кто ее из-под ног выдернул: на всю землю, как черное вороное крыло, легла с густого облака темь...

Заплотинное царство

Подошел Петр Кирилыч к Дубне и забрался опять в клетку ольшняка и бредовника, развел ветки рукой, но ничего такого не видно. Не видно ни терема под плотиной, ни дубенских девок на дне не видать, ни избенок по краю, от сомов по воде даже кругов незаметно, ровно катится Дубна под месяцем, ни морщинки нигде от ветерка, как утюгом прогладили, и вся она закрыта темно-зеленой пеленой и на пелене этой катится месяц, и из воды смотрит с него какая-то рожа и будто плачет, а не то будто смеется...

Шумит, шумит в плотине вода...

— Да что ж... она вода и вода!.. на нее хоть все смотри да слушай... ее не переслушаешь, а вот на счет того... сего... вроде как и простой видимости даже не видно...

Сидит Петр Кирилыч, спрятавшись в ветки, и самому ему себя становится стыдно: взбредет же в голову такая мечта?..

— Жулик, видно, Анюттик?

Неймется Петру Кирилычу выйти на берег, хоть на том самом месте посидеть, где вчера дубенская девка купалась, хотел было он пошире ветки развести, но как раз совсем у него над головой прокуковала шальная кукушка:

— Ку-ку, ку-ку!..

„Вот еще!—думает Петр Кирилыч... —это она спутала месяц... больно светло!.. Да и... разные бывают они!“..

— Ку-ку!..

— Смотри, Петр Кирилыч: на этот раз ворон не лови!..

И вправду: прокуковала кукушка три раза и вслед за кукушкой кукушечьим голоском запела на берегу дубенская девка, не разглядел ее Петр Кирилыч до этого, потому что так и уперся в плотину, а в плотине известно: вода... заглянул Петр Кирилыч левее, вроде как то же, да все же не то: и голос не сравнить, куда соловью до кукушки, и сама она худа и неутробиста, словно за ночь сдала от какой тяжелой болезни... а на голове: кумачевый платок!..

Ударил выпятившийся из-за сосны месяц в девичье лицо и Петр Кирилыч хорошо видит слезинки во впалых щеках, и грудь доской, и сарафан, такой же голубой и с колокольчиками по подолу и по груди, только висит он словно на палке... Сидит эта девка, уткнувшись в коленки, смотрит в реку, поет и вместе с ней кукует кукушка:

Ку-ку!..

Бежит Дубна по ельнику...

Ку-ку!! ку-ку!..

Текет ку... да нивесть!..

У старого, у мельника

Невеста дочка есть...

Ку-ку!..

Красна она, как солнышко,

Как месяц, хороша...

До дна видна... до донушку
Ку... Ку...
Дубна у камыша...

Ой, светел над опушкою
Бьет месяц на ре... ку...
Ку-ку... ку-ку... ку-ку...
А девка вековушкою
Ку... ку... шкой на су... ку...
Ку-ку!..

Знать нету счастья мельнику...
Ку-ку... ку-ку...
А девке череда...
Текет Дубна по ельнику
Ку-ку!
Неведомо ку... да...

Бежит она, торопится,
И месяц бьет всю ночь.
Глядит он, где утопится
Да мельникова дочь...

— Ку-ку!—кончила песенку кукушка.

— Непромыха!.. Я-то думал кто-кто, а это... кукушка! Только чего доброго она и впрямь не стала бы топиться!.. ну и клюква, ну и квас: жулик же этот Антютик... хотя бы ведь и эта ништо: все девка!..

* * *

В это время ряхнуло где-то неподалеку в лесу, словно сосну подломило, от ворот мельницы раздался зычный голос, прокатившийся вниз по Дубне тысячей голосов и отголосков:

— Машухэ-эй!.. Эй-е-ей!

Маша всплеснула руками, перекрестилась, откатнулась немного назад, должно быть и в самом деле хотела броситься в реку, но как раз повисла на сильные руки: Петр Кирилыч выскочил из-за кустов и подхватил Машу на перехват.

* * *

„Один кумачевый платок и остался“, — думает Петр Кирилыч, держа Машу на руках возле самой реки; глаза у нее закатились, лицо еще больше посерело, и на лбу выступил бисеринками пот... Смотрит не нее Петр Кирилыч и жалко ему девку, как-никак, а ведь тож... жила-то человечья—теми же нитками стегана, что и мы все же...

На дне терем закрыт на ворота, у ворот стоят две зубастые щуки и на самой середине носится за мелкой рыбой пятипудовый сом... у самого выхода на берег вода еще не замыла следы и убраны они драгоценными камушками: видно и впрямь вчера купалась настоящая дубенская девка, только Петр Кирилыч не сумел взять своего счастья и променял его на Непромыху...

— Эх, Петр Кирилыч,—сказал Петр Кирилыч, вздохнувши,—видно не даром тебя люди прозвали: балакирь!..

И в первый раз поцеловал девичьи губы.

* * *

Недвижна Маша у Петра Кирилыча на руках, только губы у нее горят, как уголья, и жарко к ним Петру Кирилычу прикоснуться губами. Оторвался он на минуту и поглядел, как зачарованный, на другой берег Дубны, а там так и перевивается туман, то вверх, то вниз вытягивая с реки белопушистую шею и то заволакивая все перед глазами, то открывая все, словно переделанное заново, и вот уже Боровая мельница—не мельница, а стоит там на ее месте высокий дворец с серебряной крышей, окна во дворце во все стороны, высокие, как в церкви, и во все стороны крылечки и крылечки унизаны хитрой резьбой и только одно крыльцо голубое, словно на него само седьмое небо упало... на крылечках сидят чертухинские девки, прядут шелковистую пряжу и перед каждой на золотистом гребне большое паймо. Видно по всему, что собрались они сюда из Чертухина не за-зря: готовят они дорогое приданое, нитки бегут им под ноги, как дождевая водичка, сами нитки собираются в большой серебряный стан и из стана широкими полотнами стелются за околицу и теперь не разберет Петр Кирилыч хорошенько, где плывет дубенский туман, где белеют дорогие холсты с расшитыми на них весенними цветами-раздуванчиками...

Смотрит Петр Кирилыч и даже в затылке почесать не догадается...

Но вот растворилось большое окно на восход, у окна сидит, облокотившись на подоконницу полной рукой, прекрасная царевна Дубравна и ни печали теперь у нее на лице, ни тревоги, машет она Петру Кирилычу белой рукой, манит его и звет на крыльцо, на крыльце впереди всех Дунька-Дурнуха, рядом с Дунькой—Ульяна, только Ульяна теперь стала так же молода, как и Дунька, словно ровесницы, Дунька пригожа и нежна на лицо, ни веснушек у нее нет на щеках и по лицу всему девичья благодать такая разлита и поет она вместе с Ульяной и девки все им подпевают такими голосами, каких и в светлую утреню не услышишь в чертухинской церкви. Только слов у них не разберешь. Видно, как шевелятся губы, как улыбаются приустные ямки, как сошли все они с голубого крыльца и за руки взялись и хороводом поплыли к горбату мосту... Окошко за ними закрылось, Дубравна пропала и в окне мелькнул кумачевый платок да с платя посыпались белым пухом за окна отцветшие весенние цветы-раздуванчики: валит, валит валом туман с Дубны на оба берега, завалил он с головой и чертухинских девок, и мельницу всю заволок, и в самом-то деле видел ли Петр Кирилыч берег Дубны, или на один миг раскрылись пред ним водяные ворота и он попал на минуту в синее заплотинное царство, где такие же города и деревни, и такие же люди, и такая же боровая мельница есть, как и у нас, только живут там совсем по-другому и всякий

туда с радостью бы, может, пошел, если бы только знал наверную дорогу...

Посмотрел Петр Кирилыч на Машу и снова припал к ее порозовевшим губам...

Цыганское солнышко

Славно светит месяц, забирая над лесом все выше и выше!

С дубенского берега, как вода в реку, течет, струится густой свет-хмелевик, от него и зверь и человек одинаково разум те-ряют...

Месяц—цыганское солнышко!

Светишь ты одинаково с высокого неба мужику и барину, молодому и старому!..

Все кошки при тебе серы... все девки при тебе красивы!

Каждый молодец—образец и все мужики с бородой—друг на дружку похожи.

Труден день трудолюбя, не раз он за него со всех четырех чер-тыхнет, разгибая потную спину... Пригнуло его крепко к земле, надо кормиться, ребяташки сидят у окна, как галчата, баба тормозится весь день, как на ветру с болоною береза, значит, скоро жди еще лишний рот, надо, надо спешить, косить, пахать, сеять, убирать... веять, молоть... да, эх, да, осподи боже, хватит ли дня мужику, за который он едва-едва на зиму-зимскую собьет кусок хлеба.

Месяц—цыганское солнышко!

Потому и любит тебя серый мужик, в песне зовет тебя „чуд-ным“, а таким словом обмолвится он разве спросонок да невзначай, потому что умиление хоронится у него в бороде, в виде бессловесной улыбки...

Любит тебя серый мужик, потому что под тобой можно поспать, можно руки и ноги хорошенько расправить... до утра прогрезить и... обо всем на свете забыть!

Мужик же без снов сна не любит!

Месяц—цыганское солнышко!..

* * *

— Ты что это, парень, в мою девку так вклеился, губа не дура! Петр Кирилыч оторвался от Машины губ и выронил ее из рук на песок.

— Свернешь девке рот на бок, будет косоротая, а и так никто замуж не сватает.

Стоит перед Петром Кирилычем человек, не особ-высокого роста, только шириной в хорошую дверь не влезет, на нем войлочная шапка и под шапкой чуть серебрятся густые, учесанные в кружок волосы и борода идет по поддевке широким клином, совсем так, как первый раз обернулся Анюттик...

„Здорово живешь,—думает Петр Кирилыч в неожиданности,— только от этого будто душок не тот... а промежду прочим шут его... разберет!“

— Чего вылупился-то? Не узнаешь?

Старик смотрит на Петра Кирилыча, заправивши бороду в рот, и посмеивается в нее доброй чуть заметной улыбкой, а Петр Кирилыч с места сдвинуться не может, так и расставился весь на бока.

— Это ты что ли будешь... Спиридон Емельяныч?—собрался Петр Кирилыч с духом.

— Да кто же еще заместо меня... ну коли невдомек, так... я за него... Вот уж балакирь: не дарма про тебя такая слава идет!

— Да, Спиридон Емельяныч: нехорошая слава!

— Судьба, Петр Кирилыч, кого по головке гладит, кого по загорбу бьет... Только что же это ты: в зятя что ли метишь ко мне?

— Оно не то что... ежели так рассудить все по порядку, но и действительно да, коли касательно всего твое рассуждение будет...

— Значит и этак и так можно... да мужик-то ты хорош... только стоишь грош! Нечего говорить, собралась парочка: баран да ярочка!

— Оба—два, Спиридон Емельяныч,—печально говорит Петр Кирилыч, поглядевши на Машу, запрокинула Маша руки, а и так на груди грудинки звания никакого не видно.—Иду это я, Спиридон Емельяныч,—оживился Петр Кирилыч,—по берегу, жерлицу у меня сом утащил, гляжу: девка твоя топиться собирается...

— Бреши не дело...

— Ни в чем, Спиридон Емельяныч: сам видишь,—показал Петр Кирилыч на Машу,—я это, конечно, тихим манером к ней, да в охапку потому от греха... а у нее и так дух вон!

— Отойдет!.. Не кипятком ошпарилась!..

Петр Кирилыч нагнулся к Маше и прошептал ей на ухо:

— Машь... а, Машь?.. Слышь что ль?..

— Дышит?—спрашивает старик, еще больше забирая бороду в рот.

— Дух идет: должно что дышит!..

— От этого-такого девки никогда не умирают: отудобит, это она с непривыки! Да и подумала, наверно, что медведь: кто тебя знал, что ты тут у нас рыбку удишь... Рыбак тоже!..

— На сома... на сома ставил: сом тут ходит... большой: пудов так на пять будет, а то и поболее!

— Засолить: на целый поход хватит! Только как же это так, Петр Кирилыч, ты на такую недотыку прельстился: ведь девка-то у меня, в час молвить, чтоб еще не попортить... девка-то, говорю, больно не товариста...

— По барину, Спиридон Емельяныч!..

— Сам-то ты зна какой: смотри, не было бы после ошибки!..

— Чего смотреть: все божья плоть!.. Все, Спиридон Емельяныч, девка!..

— Мелешь ты, Петр Кирилыч, чепуху, а... как на духу... Любо мне, старику, тебя слушать... видно кой-чего все же ты понимаешь!..

— Большого понятия нет, Спиридон Емельяныч... так себе с ветки на ветку, пока не попал в сетку!

— Оно так-то и лучше... Вот что, Петр Кирилыч, коли так, нечего нам тут на лешей тропе ноги простаивать, в ногах правды нету, бери свою девку да трогай: пойдём-ка, помолимся богу!..

— Я бы теперь чайку лучше, Спиридон Емельяныч!

— И это дело!.. ну-ка, забирай добро: эй, бычѐк за лесом рожки кажет!

Расступились кусты и Петр Кирилыч едва успел оглянуться, как промелькнула у него в глазах широкая спина, прочернула на зелени длинная поддевка и скоро по поросли пошел только треск и шум побежал с ветки на ветку: носил Спиридон круглый год сапоги, а чинил их в кузнице, потому что на каблуки им в акурат подходили подковы с трехлетки...

Петр Кирилыч развел руками, взял бережно Машу и, как перышко, положил ее на плечо.

— Э-ей, Петр Кирилыч: лимонадиться будешь опосля!..

— В духах седни мельник,—улыбнулся довольно Петр Кирилыч, положил Машу половчее на плечи и тронулся в обход по берегу, на котором стояли ольхи вразброд, как бы нарочно сторонясь и давая Петру Кирилычу дорогу.

Быстро катится месяц под горку, все прозрачней он становится и белее, недалеко уже ему до края чертухинского леса, где стоит лесная сторожка, в сторожке Петька Цыган спит на полати, цыган не цыган и не цыганского он роду, только жизнь у него цыганская и бытѐ конокрадное и любит он больше всего по лесу шастать, да лошадей в стороне воровать, почему у нас и прозвание такое пошло: Месяц—цыганское солнышко.

Сунгуз

Взобрался Петр Кирилыч на последний откос, перевел дух и тут только и заметил, что светятся ему прямо в лицо два больших синих глаза, сине в них, как было сине тогда под плотиной, когда он под нее с Антютиком смотрел, на плече у него Машины руки и от них идет под рубаху тепло.

— Нехороша Маша... да наша!—подумал Петр Кирилыч и поцеловал Машу в губы,—Машь... а, Машь!..

— Что-й-та?—вздохнула Маша и быстро заморгала глазами, словно проснулась.

— Жива?..

— Живехонька!.. Ну-ка поставь меня, Петр Кирилыч, на ноги, разломило меня на-пополам!..

Выпрямилась Маша и немного шатнулась.

— Откуда это тебя такой грех нанес?.. Я ведь... хотела купаться!.. Вода, говорят, от худобы помогает...

— А я подумал: топиться!..

— Ты уж такое подумаешь: что меня хлебом что ли отец не кормит?..— вот спужалась... вот спужалась: думала — леший!

— Ну и ладно, что так вышло, не леший, а человек пеший!..

Маша улыбнулась Петру Кирилычу иправила на себе сарафан.

— Вот что скажи мне, Петр Кирилыч... я все слышала, о чем ты с отцом говорил...

— Ну и ладно, коли так, об одном деле не двадцать раз разговор заводить...

— Так-то так, и я не прочь от этого... только отец-то говорил с тобой больно чудно... Не пошутил ли он, Петр Кирилыч?..

— Какие тут шутки: я те присватал!..

— Ой ли, так и согласился?

— В два слова!..

— И ничего... такого?.. Особенного?..

— Да говорю, что ничего: ты же слышала!..

— Слышала, Петр Кирилыч, только... в пол'уха... только тогда, Петр Кирилыч, и я тебе вот что скажу: ты меня за тюху-то совсем не считай!..

Петр Кирилыч нагнулся к Маше и хотел поиграться, но Маша отвернулась, приложила ручку к щеке и в искосок поглядела на Петра Кирилыча, стала она в эту минуту немного похожа на Феклушу, даже ямки чуть проступили на порозовевших и пополневших щеках и от этих ямок по всему ее лицу словно свет пошел, и глаза глубже засинели и гуще на плече под мочальной косой заголубел сарафан.

— Я что говорю,—прошептала Маша,—ты будешь балакать, а я возле тебя плакать!..

Ничего Петр Кирилыч не нашелся Маше ответить, тут не отговоришься, потому что ударила Маша в самую бровь, опустил он сначала голову, потом вдруг хлопнулся Маше в ноги, так что Маша вскрикнула, видно не ждавши такого ответа: словно Петр Кирилыч каялся ей и просил у нее за все прощенья... А бабы это ведь любят

— Ну коли так, тогда...—не договорила Маша и только Петр Кирилыч поднялся, сама ему поклонилась.

* *
*

Густел все пуще туман от реки и над туманом плавала черная мельничья крыша и над ней уносился в небо железный конек, словно сорвавшись со шпилья.

Тихо было по берегу, в этот час в городе господа спать ложатся, а у нас в Чертухине мужики выходят на двор позевать и холодной водой ополоснуться и лоб на утренний свет перекстить...

Смотрит Петр Кирилыч на Машу и думает сам про себя, что зря захаяли девку... Девка, как девка, не хуже других!..

Или и впрямь похорошела Маша за эту ночь, или это в глазах у него ходил туман, да колыхался побелевший свет от луны, только случилось в этот раз с Петром Кирилычем то, что еще с роду родов с ним не случалось...

* * *

Сбежали они в обнимку под бугор и, когда впереди сгорбатился мост через реку и слышной зашумела в плотине вода, Петр Кирилыч вдруг остановился и схватил Машу за плечи...

— Что это такое, Маша?—спросил Петр Кирилыч, показавши рукой на мельницу...

С мельницы, мешаясь с гулом воды, шел какой-то чудной и непонятный Петру Кирилычу звук, похожий и на урчанье воды в плотине, и на уханье ночного сыча.

— Это?.. это батюшка к заутрени звонит... разве ты его порядков не знаешь?..

— Ну?.. во что же это он такое?

— В корчагу!.. Она у него привешена на потолке и в корчаге—мутовка... У нас в под'избице—церква!

— Хитрый мужик... а промежду прочим: пусть его звонит! Давай, Маша, пригубимся покрепче возле отцовского дома...

Взял Петр Кирилыч Машу за плечи и Маша сама к нему потянулась и то ли у нее с непривыки ко всему такому сразу подломились ноги, то ли Петр Кирилыч обо что с бугорка спотыкнулся, только оба они повалились в траву и в траве жалобно зазвенели у Маши по подолу золотые причастные колокольчики.

Вступила Петру Кирилычу в голову муть, и месяц в это время свалился с неба прямо к Петьке Цыгану на полати...

* * *

Как все это случилось, и сам Петр Кирилыч потом не мог хорошо рассказать по порядку. Когда он оглянул все мутными своими глазами—ударил в них должно быть едучий болотный туман!—Машу он не узнал...

То ли, когда они повалились в траву, Маша вырвалась и убежала, потому что такого всего без отцовского креста сильно боялась и из той же должно быть боязни потом, когда Петр Кирилыч дурниной кричал на берегу и его Спиридон Емельяныч услышал, обо всем отцу рассказала, то ли еще как все перемутилось,—только Петр Кирилыч, раскрывши глаза на самом свету, хорошо различил длинную шею, по шее шли такие пупырышки, замест сарафана чернела суконка и в стороне черный дырявый подол завивался в траве конским хвостом, в головах же сидела травяная лягушка и громко квакала на Петра Кирилыча.

Вгляделся Петр Кирилыч в лицо и обомлел: тетка Ульяна!

Не пошевелинется она, глаза закатились, по всему лицу красные пятна и такая истома, в губах набилась белая пена и губы скривились и застыли в поздней, похожей больше на усмешку, улыбке.

— Князь мой ненаглядный!—еле слышит Петр Кирилыч Ульянин шепоток: схожа она теперь со старухой, которую встретил он на дороге и принял совсем не за то...

Кипьмя закипело под сердцем у Петра Кирилыча и свет сразу в глазах померк, словно кто сзади подбежал к нему и плотно закрыл оба глаза ладонью, размахнулся он далеко за спину обоими кулаками, со всей силы надавил коленом живот и сам не своим голосом закричал на весь чертухинский лес

. Но не успел Петр Кирилыч ударить! Вззяла, значит, бобылка свое! Всю ночь, видно, проходила она по пятам за Петром Кирилычем... и, когда Маша со стыда метнулась в кусты, Ульяна подстала Петру Кирилычу на дорогу и тот на темный глаз — бывает такая темь перед утром, когда ночь потушила последние звезды, а день еще не настал! — на темный глаз не узнал ее и поймал вместо Маши.

Посластчлась бобылка на старости лет и, когда Петр Кирилыч занес над ней кулаки!.. она только одно слово сказала и обернулась в корягу

. Только когда совсем рассвело, Петр Кирилыч немного очухался: на дворе, глядит, белый день, руки у него все оббиты и с них капает кровь, рядом с ним стоит на белом свету самый всамделишный Спиридон Емельяныч, и в сторонке держится за елочку, словно боится опять упасть под овраг, испуганная бледная Маша.

— Вставай, вставай, Петр Кирилыч, что ты... бог с тобой!—строго и ласково говорит Спиридон Емельяныч.

Петр Кирилыч поднялся, щатнулся к Спиридону, тот его подхватил под локотки, а Маша обоими руками закрылась.

— Пойдем-ка, друг, я тебя причащу...—тихо говорит Спиридон.

За лесом нехотя плелось большое облако, похожее на бурю корову и обещавшее хмурый день, мутное солнце в мутных глазах у Петра Кирилыча висело, как грузное вымя...

(Продолжение следует.)

Богомольное

ВЛ. МАЯКОВСКИЙ

Большевики
надругались над верой православной.
В храмах-клубах—
словесные бои.
Колокола без языков—
немые словно.
По божьим престолом
похабничают воробьи.
Без веры
и нравственность ищем напрасно.
Чтоб нравственным быть,—
кадилами вей.
Вот Мексика, например,
потому и нравственна,
Что прут
богомолки
к вратам церквей.
Кафедраль—
богомольнейший из монашских институтцев.
Брат Notre Dame 'a
на площади,
а около,
запружена народом,
«Площадь Конституции»,
в простонародии—
«Площадь Сокола».
Блестящий
двенадцатицилиндровый
Паккард
остановил шоффер,
простоватый хлопец.
— Стой!—говорит—
помолюсь пока...—
донна Эсперанца Хуан де Лопец.

— Скажу ей:
«Иначе, синьора, лягте-ка!
Вот этот
кольт—
ваш сожитель до гроба!»
И в пумовой ярости
—все-таки практика.—
сбивает
с бутылок
дюжину пробок.
Гудок в два тона:
приехала донна.
Еще
и рев
не успел уйти
за кактусы
ближнего поля,
а у шофферских
виска и груди
нависли
клинок и пистоля.
— Ответ или смерть!
Не вертеть вола!
Чтоб донна
не могла отпираться,—
ответь немедленно:
где была
жена моя
Эсперанца?
— О, дон Хуан,
в вас дьяволы злобятся!
Не гневайте
божью милость!
Донна Эсперанца
Хуан де Лопец
сегодня
усердно молилась.

Поиски объекта¹⁾

(К вопросу об отношении метода социологического к «формальному»)

А. Н. ВОЗНЕСЕНСКИЙ

I

Одной из наиболее живых проблем современной историко-литературной методологии является вопрос об отношении метода социологического к «формальному» изучению художественного творчества. Этому вопросу посвящен ряд самостоятельных статей, а также отдельных замечаний в работах историко-литературного характера, но в общем итоге до настоящего времени он остается неразрешенным в ясной и определенной форме.

В литературе вопроса поставленная тема освещается двояким образом.

Прежде всего, существует мнение о полной противоположности этих направлений и невозможности их объединения в одно методологическое целое. Эту точку зрения развивают как представители «формализма», так и «социологизма», приводя различные основания для оправдания своих взглядов. Однако единогласия среди тех и других не имеется, ибо одни защищают абсолютную раздельность этих методов, другие, напротив, допускают возможность известных связей и отношений между ними.

Из представителей «формального» метода «непримиримую» позицию занимают Виктор Шкловский, Р. О. Якобсон и Б. М. Эйхенбаум.

Первый из них в своих работах («Искусство, как прием»—*Сборники по теории поэтического стиля*, вып. II; «Розанов»—*Опыты*, 1921 г.; «Ход коня», Берлин, 1921 г.) неоднократно подчеркивает замкнутость художественного произведения в сфере чистой формы и независимость литературы, как и вообще искусства, от социальных отношений человеческой культуры.

¹⁾ Настоящая статья печатается в дискуссионном порядке.

Второй, в брошюре под названием «Новейшая русская поэзия» (Набросок первый. О Хлебникове. Прага, 1921 г.), категорически заявляет, что «предметом науки о литературе является не литература, а литературность, т.-е. то, что делает литературным произведение. Между тем до сих пор истории литературы преимущественно уподоблялись полиции, которая, имея целию арестовать определенное лицо, захватила бы на всякий случай всех и все, что находилось в квартире, а также случайно проходивших на улице мимо. Так и историкам литературы все шло на потребу—быт, психология, политика, философия. Вместо науки о литературе создавался конгломерат доморощенных дисциплин. Как бы забывалось, что эти статьи отходят к соответствующим наукам—истории философии, истории культуры, психологии и т. д., и что последние естественно могут использовать и литературные памятники, как дефектные, второсортные документы. Если наука о литературе хочет стать наукой, она принуждается признать «прием» своим единственным «героем» (11).

Б. М. Эйхенбаум в статье «К спорам о формальном методе» («Печать и революция», 1924, кн. 5) определенно указывает, что «основной проблемой» изучения в сфере литературной науки должна быть «форма», «как нечто именно специфическое—нечто такое, без чего искусства нет»; форма представляет собою «основное для художественного явления, как организующий принцип» (3). С точки зрения автора, наука о литературе является «наукой самостоятельной и специфической, имеющей свою область конкретных проблем». То или иное объединение ее с другими процессами культуры невозможно, ибо «превращение исторического параллелизма разных рядов культуры (их «соответствий») в функциональную (причинно-следственную) связь насильственно и потому не приводит к плодотворным результатам. Делаемый при этом выбор одного ряда, как порождающего собой остальные, диктуется не научными, а миро-созерцательными потребностями, и вносит в науку тенденциозную предпосылку. Явления упрощаются, схематизируются, теряют именно то, что отличает их от других явлений» (2—3).

Более мирно настроен в этом отношении В. М. Жирмунский.

На протяжении своих работ, посвященных в той или иной мере затронутым проблемам, он проявляет совершенно определенную эволюцию в сторону признания известной значимости в сфере науки о литературе и условий культурно-исторического порядка. В первой редакции своей статьи «Задачи поэтики» («Начала», 1921 г., № 1) он отрицает возможность тех или иных отношений к ним литературной науки. Он указывает, что «философские идеи эпохи, ее нравственные и правовые убеждения и навыки, явления материального и духовного быта образуют в данную эпоху такое же единство, как и ее художественный стиль. Изменение жизни в этих параллельных рядах различных культурных ценностей происходит одновременно. Между изменениями в области эстетики, морали, философии, религии, истории культуры издавна чувствовались трудно уловимую связь, которую часто истолковывают, как зависимость одного ряда от другого; напр., изменения поэтической

«формы» от эволюции душевного «содержания», «мировоззрения»—от экономической и общественной жизни. Мы думаем, однако, что не односторонняя зависимость определяет собою связь этих отдельных, намечаемых нами единств, а одинаковое жизненное устремление («*élan vital*» по терминологии Бергсона), одна волна, которая несет с собою все указанные частные изменения в соответствующих ценностных рядах, органически связанных между собою в каком-то Всеединстве, одновременно сверхэстетическом, сверхморальном и т. д.» (71).

Во втором издании той же статьи («Задачи и методы изучения искусств», Пгд. 1924 г.) он значительно видоизменяет свою точку зрения в области этого вопроса. В. М. Жирмунский считает, что «эволюция стиля, как системы художественно выразительных средств или приемов, тесно связана с изменением художественного задания, эстетических навыков и вкусов, но также—всего мироощущения эпохи. В этом смысле большие и существенные сдвиги в искусстве (напр., Ренессанс и Барокко, Классицизм и Романтизм) захватывают одновременно все искусства и связаны с общим сдвигом духовной культуры» (149).

Невозможность компромисса между данными методами подчеркивают и представители «враждебной» стороны. Здесь есть так же непримиримые и склонные «к соглашению».

Резко отрицательно к «формализму», как к известному мировоззрению и определенному методологическому направлению наших дней в сфере литературной науки, относится А. В. Луначарский. Возражая Б. М. Эйхенбауму («Формализм в науке об искусстве».—«*Печать и революция*», 1924 г., кн. 5), автор стремится установить «социальное место» «формализма», «классовую подоплеку» этого направления. По его мнению, «формализм» как в искусстве, так и в искусствоведении есть порождение поздней зрелости или ранней перезрелости буржуазии, перенесенной в родственную среду, в Россию»; вследствие этого «совершенно допустима открытая борьба формализма с марксизмом» (27).

Столь же решительно возражает против формализма и В. Полянский («По поводу Б. Эйхенбаума»—«*Печать и революция*», 1924 г., кн. 5). Он заявляет, «поскольку формалисты выдвигают абсолютную «научную истину», и «литературную науку» сводят к изучению «*формы*», как бы особо это слово ни понималось, формальный метод глубоко враждебен марксизму, он реакционен, и корни его лежат, несомненно, в общественных настроениях, родственных тем, что породили футуризм, имажинизм, теорию чистого искусства и пустышку «Серапионовцев», что искусство безыдейно» (36).

Отрицательную позицию занимает и П. С. Коган («Литература этих лет», М. 1924 г. и «О формальном методе»—«*Печать и революция*», 1924 г., кн. 5), имея в виду, впрочем, только «ложный формализм, т. е. тот, который культивируется Эйхенбаумом и его товарищами»; напротив, «подход к изучению формы», применяемый В. Ф. Переверзевым и Н. К. Пиксановым, он считает «в высокой степени плодотворным» (33).

Склонность к некоторому симбиозу с устремлениями формальных изучений обнаруживает Л. Д. Троцкий («Литература и революция». М. 1924 г., V. «Формальная школа поэзии и марксизм»). С одной стороны, он считает, что *в целом* «формальная школа есть геллертерски препарированный недоносок идеализма в применении к вопросам искусства» (139) и, как таковой, он не совместим с марксизмом. С другой,—он признает, что работа формалистов, направленная в сторону «анализа (по существу описательному и полустатистическому) этимологических и синтаксических свойств поэтических произведений, подсчету повторяющихся гласных и согласных, слогов, эпитетов», «безусловно нужна и полезна, если понять ее частичный, черновой, служебно-подготовительный характер» (124)¹).

Наряду с приведенными мнениями, которые в общем итоге считают, по тем или иным мотивам, оба метода исключаящими друг друга, существуют и взгляды, им противоположные. Они сводятся к примирению «формализма» с социологией, к стремлению построить историю литературы на социологическом основании. Эту точку зрения развивает, главным образом, журнал «Леф». В одной из своих программных статей, обращаясь к «опоязовцам», он пишет: «Формальный метод—ключ к изучению искусства. Каждая блоха-рифма должна стать на учет. Но бойтесь ловли блох в безвоздушном пространстве. Только рядом с социологическим изучением искусства ваша работа будет не только интересной, но и нужной» (11).

Это заявление в той или иной форме сотрудники «Лефа» не раз повторяют в последующих статьях этого журнала.

О. М. Брик в статье «Т. н. формальный метод» («Леф», № 1), расценивая «формализм» в «опоязовском» понимании, как миропонимание, находит, вопреки общему мнению представителей марксистской мысли, что «Опояз»—могильщик поэтической идеалистики, поэтому «бороться с ним бесполезно, а марксистам тем паче» (215). Контакт между «формализмом» и «социологизмом» он мыслит таким образом. «Поэт — мастер слова,—заявляет он,—речетворец, обслуживающий свой класс, свою социальную группу. О чем писать,—подсказывает ему потребитель. Поэты не выдумывают тем, они берут их из окружающей среды. Работа поэта начинается с обработки темы, с нахождения для нее соответствующей словесной формы. Изучать поэзию—значит изучать законы этой словесной обработки. История поэзии—история развития приемов словесного оформления». Связь, таким образом, намечается лишь в сфере тематических явлений, которые, однако, с точки зрения автора, «никакого отношения к поэтической работе художника не имеют; это важно для биографии поэта, но история поэзии—не книга «житий», не должна быть таковой». Ближайшим и непосредственным объектом исследования «научной поэтики» являются вопросы о том, «почему пользовались поэты

¹) Точку зрения Л. Д. Троцкого поддерживает и Н. И. Бухарин; ср. его статью: «О формальном методе в искусстве» (стенограмма речи, произнесенной на диспуте «Искусство и революция» 13 марта 1925 г.) («Красная Новь», № 3, 1925 г.).

в обработке тем именно этими, а не другими приемами, чем вызвано появление нового приема, как отмирает старьѣ» (214).

Более прямолинейно решает тот же вопрос А. Г. Цетлин («Марксисты и формальный метод». «Левф», № 3), который стоит на точке зрения необходимости «формализма» в понимании «Опояза» для марксистского изучения литературы; по его мнению, в принятии «формального» метода и «лежит очередная задача методологии марксизма и единственная возможность для марксистского метода стать научным» (115)¹⁾.

Но вопрос рассматривается не только *теоретически*; он переходит и в область *практического* осуществления. Это делается в работах историко-литературного характера, принадлежащих перу представителей марксистского миропонимания.

Среди сотрудников того же «Левфа» в этом отношении выделяется Б. И. Арватов, который в своих работах («Контр-деволюция формы». — «Левф», № 1; «Речетворчество» — «Левф», № 2; «Марке о художественной реставрации» — «Левф» № 3)²⁾ пользуется уже формально-социологическим методом изучения литературы.

Им же оперирует, не развернув его, впрочем, в полном объеме, марксист Г. Горбачев. Во втором издании своих «Очерков современной русской литературы» (Лгрд. 1925 г.)³⁾ он применяет и «марксистский анализ содержания произведений и результаты формальных наблюдений своих и чужих над изучаемыми произведениями». Но, объединяя эти направления, автор добавляет, что «настоящее включение формального метода в марксистский историко-литературный метод произойдет тогда, когда марксисты сумеют так же легко об'яснять, исходя из монистической точки зрения (не отрицающей своеобразности закономерного раз-

¹⁾ Примерно в таком же духе высказывается и Б. Якубский, автор брошюры «Социологичный метод у письменствѣ» (Київ 1923).

В. Л. Львов-Рогачевский в статье «Литературный морг» [газета «Новости», 13/XI—1922 г. № 6 (21)] иронически относится к представителям формального метода в истолковании «Опояза», но одновременно высказывает мнение о необходимости сочетания марксистского метода с «достижениями формальной школы» («Новейшая русская литература». М. 1922 г. Послесловие, стр. 297).

Ср. также ряд статей на тему о возможности «примирения» «формализма» и «социологизма», помещенных в журнале «Родной язык в школе»; напр., В. Данилов: «К вопросу о социальной обусловленности литературной формы» (№ 4, 1923 г.); Сотрудник: «Формальный метод и марксизм» и др.

²⁾ Ср. его же: «Синтаксис Маяковского» («Печать и революция», 1923 г., кн. 1), а также «Искусство и классы» (М. 1923 г.). Из сотрудников «Левфа» с теми или иными вариациями, мимоходом или более продолжительно, ту же тему рассматривает Г. И. Винокур: «Новая литература по поэтике» («Левф», № 1); «Поэтика, лингвистика, социология» («Левф», № 3).

³⁾ Ср. также предисловие его книги: «Капитализм и русская литература» (Лгр. 1925 г.).

На этой же точке зрения, примерно, стоит и Я. А. Назаренко, автор «Истории русской литературы XIX в.» (Лгрд., 1925 г.), который в предисловии к ней заявляет, что «литературное произведение должно изучаться *социологически* не только в области содержания, как продукт определенной классовой идеологии, но и в области формы, которая обусловлена социальным материалом и способами его обработки» (1).

втия искусства), особенности формы, как они умеют об'яснять идеи произведения» (11).

Проблема отношений между «формализмом» и «социологизмом» ставится и в книге П. Н. Сакулина: «Социологический метод в литературоведении» (М. 1925 г.), недавно вышедшей из печати. Автор находит, что «искomое сочетание» между ними не может быть внешним и механическим: необходимо подвергнуть принципиальному пересмотру самые основные вопросы поэтики и методологии. Социологический метод также нуждается в дальнейшей разработке (20). Он полагает, что «об'ектом нашего изучения в конце концов будет весь комплекс явлений, определяемых термином «литературная жизнь», а не только отдельные произведения, отдельные писатели и литературные направления; литературная жизнь представляет собою сложный процесс, являющийся частью общего процесса социальной жизни. В результате должно быть дано синтетическое построение истории литературы» (25). Таким образом, с точки зрения автора, об'ектом социологических изучений, или, что то же—предметом истории литературы, оказывается сложная сумма явлений, названных им словами «литературная жизнь» (24—25). И несколько дальше: «при имманентном изучении весьма существенную помощь исследователю оказывает «формальный» метод, хотя, вероятно, мы еще долго будем спорить об отдельных его принципах... Сначала нужно познать предмет, как таковой, индетерминистически, а потом исследовать его, как социальный и исторический факт и, наконец, уже строить из фактов систему науки. Но, как только социологический метод выступил на сцену, он приобретает доминирующее положение: забирает в свое ведение все, что добыто имманентным изучением, и производит свою, очень сложную работу с тем, чтобы результаты отдать для целей исторического исследования. Социологизм насковзь пропитывает работу историка литературы и самым активным образом влияет на все построение нашей науки. Вот почему в настоящее время нужно признать одной из самых неотложных задач разработку социологического метода в применении к проблемам литературоведения» (31—32).

Таким образом, вопрос об отношении «формального» метода к социологическому имеет три решения. Первое абсолютно исключает возможность слияния их в единую методологическую систему, как два различных мировоззрения, или как два противоположных метода. Второе, напротив, считает безусловно необходимым их об'единение для придания научности исследованиям литературной науки, конструируемой на основах марксистского миропонимания. И третье, наконец, заключая в себе ряд вариаций, также стоит на точке зрения возможности *некоторых* связей и допустимости *известных* отношений между ними. Последние два решения, в своих устремлениях к тому или иному использованию «формального» метода, обнаруживают в скрытой, «инстинктивной» форме такого рода искания, которые можно обозначить в терминах: поиски об'екта для социологических изучений.

Мы разделяем второе мнение из числа указанных, но по мотивам *определенного* порядка.

Для наших целей при суждении о данной теме оказывается существенно необходимым краткое обозрение теоретического содержания каждого из этих методов и определение их научной целесообразности.

II

По своей логической организации и научным устремлениям оба вида историко-литературного изучения представляют собою величины совершенно различного порядка.

Метод *формальный* в своей теоретической сущности является дальнейшим развитием метода *эстетического*, составляя второй этап в его историческом бытии. В истории развития этого метода явно выделяются два момента: «критический» (априорный) и «научный» (апостериорный). Первый из них в методологическом отношении может считаться законченным, поскольку теоретическая структура этого метода получила уже определенные формы. Второй момент точно установленной определенности не имеет, продолжая в этом направлении свое дальнейшее развитие. Но оба момента тесно связаны друг с другом, при чем второй является до некоторой степени естественным, логическим следствием первого. В том и другом случае научная телеология эстетических изучений оказывается одинаковой.

Метод эстетический имеет в виду *описание, констатирование* идейных и, главным образом, формальных явлений художественных произведений. Весь процесс эстетического изучения в первый период его существования составляется из трех отдельных частей. Первая—составление эстетического критерия; иначе говоря, создание готовых предпосылок эстетического свойства на основании изучения *образцовых и первоклассных* произведений художественного творчества. Вторая — констатирование формальных и идейных явлений в произведении, отвечающих требованиям эстетического критерия. Третья — оценка установленных особенностей формы и содержания в изучаемом творчестве. Центром тяжести в таком изучении является третий момент—момент оценки, который и составляет в нем основную задачу и конечную цель. Но эта часть, равно как и первая, с точки зрения об'ективных требований науки о литературе, составляет достояние критики и к науке о литературе непосредственного отношения не имеет. Второй момент, напротив, по характеру своего изучения является принадлежностью историко-литературной науки и представляет собою с этой стороны наиболее ценный элемент в эстетическом изучении, характеризуя это изучение, как определенный метод.

Но эстетический критерий на протяжении своей исторической жизни в своем содержании оказывается крайне неустойчивым и разнообразным. Проблема эстетического восприятия, идея красоты, до сих пор неизменно выступает перед критическим взором исследователя в неясных, туманных, расплывчатых контурах. Нормы понятия красоты крайне различны и суб'ективны. В понимании каждого индивидуума эти нормы имеют *свое* содержание и *свою* форму, присущую только данному суб'екту. След-

ствие этого и констатирующий момент в эстетическом изучении оказывается разнохарактерным, лпшенным, благодаря этому, научной об'ективности даже в пределах известного промежутка времени и в границах определенного общества.

Безнадежность научной мысли дать об'ективное определение для эстетического критерия и тем поставить эстетическое изучение литературы на более прочные основания, заставило ее ограничить требования эстетического метода лишь *установлением* формальных и идейных явлений, *наличных* в художественном произведении, и только в этом установлении видеть главную задачу и последнюю цель. В пределах этих явлений литературного порядка должна происходить и работа, направленная в сторону *сопоставления*, выяснения их *взаимной связи*, следовательно—известного *об'яснения* их. Из этого специфического ряда выход за пределы, в целях поиска данных для об'яснения, невозможен. Рамки *научного* изучения замыкаются в границах *художественного, литературного* материала. Этим моментом эстетическое изучение заканчивает первый период своего существования, который мы назвали «критическим», и начинает второй—«научный».

Стремление к такому именно пониманию задач эстетического метода особенно наглядно проявляется в последнее время, на протяжении конца прошлого и начальных десятилетий нашего века. Изучение формы художественных произведений при таком понимании эстетического метода сводится к описанию в них формальных особенностей, начиная от фонетических, выражаемых отдельными звуками, такими, как, например, аллитерации, ассонансы, рифмы, и кончая сложными композиционными формированиями отдельных частей произведения. Содержание произведения, его тематика также мыслится как особый вид формы, и входит в состав явлений формального порядка, подлежащих описанию наравне с другими. При таком взгляде на требования эстетического метода необходимость в априорных предпосылках, определяющих понятие красоты, совершенно отпадает. Констатирование наличной формы и ее описание получает благодаря этому об'ективный характер. Спорным является вопрос о *количестве* и *качестве* тех явлений содержания и формы, которые являются предметом описания при эстетическом изучении. Однако некоторые наблюдения в этой области, выработанные общей теорией литературы и идущие от древности, имеют настолько определенный характер, что дают прочное основание для констатирующей деятельности исследователя. Кроме того, момент оценки, до сих пор имевший условный, относительный вид, теперь является *необходимым выводом* из наличия тех или других форм и идей, приведенных в известность и расположенных в том или ином логическом порядке. Такой примерно характер в изучении художественного творчества имеет то направление, которое культивируется Обществом изучения поэтического языка («Опояз»), а также Российским Институтом Истории Искусств. Оно дает содержание тому методу, который все чаще и чаще называется «формальным» или «морфологическим».

Мы предпочли бы оставить за этим направлением его прежнее название—изучение *эстетическое*, ибо с нашей точки зрения литература, как искусство, не может сводиться только к явлениям чистой формы. Содержание, тематика столь же *самостоятельна*, как и форма; она неразрывно связана с нею, отнюдь не являясь лишь особым видом ее. Форма явлений, или, иначе,—художественные активности, образующие произведение, подлежат описанию одновременно с *их* содержанием. Старое наименование—эстетический метод—тем более уместно, что при констатирующем изучении исследователь получает определенные основания для построения *новой* эстетики, эстетики апостериорного порядка, которая будет состояться из выводов, *силлогистически* следующих из анализа отдельных явлений художественного творчества, составляющих предмет описания.

Конкретным результатом самого констатирования художественных активностей со стороны их содержания и формы является создание *теории* художественного творчества *изучаемого* писателя, построение его *поэтики*.

III

Логическая структура метода *социологического*, а также и его научная телеология—иного свойства. Метод эстетический, как видно из предыдущего, *описывает*; он констатирует всю сумму художественных активностей, образующих произведение, со стороны их содержания и формы. Между тем изучение социологическое имеет в виду *об'яснение, экзегетирование* художественного творчества. Сущность его и заключается в том, что определенная наличность известных идейных и формальных явлений здесь выводится и об'ясняется из условий историко-культурной среды, в частности, из сферы социального быта той эпохи, в которой жил и действовал изучаемый писатель.

С этой стороны он близок к методу *марксистскому*, который также, насколько позволяет заключать его теоретическая физиономия, в литературоведении еще не определившаяся в окончательном и точном виде, а также и его практическое применение, является *экзегетирующим, об'ясняющим* идейную сторону художественных произведений и особенности их формы. Это об'яснение марксистский метод также стремится подчеркнуть в условиях историко-культурной среды.

Но из этой среды на первый план он выдвигает условия экономического характера, считая их при об'яснении художественного творчества, а также и других явлений человеческой жизни первостепенными и основными. Наряду с этим моментом столь же важное значение марксистский метод отводит и социальным движениям эпохи, которые, с точки зрения исторического материализма, являются первым необходимым следствием определенных отношений экономического характера. В условиях социально-политических течений преимущественное внимание метод марксизма отводит явлениям классовой борьбы, которая создает определенную психологию для той или иной социальной группы. Условия

этой общественной психологии и определяют особенности идеологических настроений класса, заключая в себе, таким образом, источник для объяснения его духовной жизни вообще, а также и его деятельности в области словесного искусства.

Таким образом, общая схема марксистского изучения художественного творчества предполагает установление трех моментов в содержании историко-культурной среды. Первым моментом в общественном процессе, его направляющем, является определенное состояние производительных сил данного периода, его экономика. Второй, являющийся результатом первого, составляет наличие тех или иных социальных отношений, тех или других классовых разделений, принадлежащих изучаемому моменту. Наконец, третий—та общественная психология, которая складывается в результате многосторонних воздействий предыдущих факторов экономического и социального характера.

С точки зрения одних представителей марксистской мысли (Г. В. Плеханов, Л. И. Аксельрод-Ортодокс, А. Воронский и др.), из условий историко-культурной среды, именно социальная психология составляет ближайший источник для объяснения духовной деятельности общества, в том числе и художественной. Этот третий момент является существенным, имеющим ближайшее отношение к экзегетированию художественного творчества, ибо только условия этой психологии общества определяют характер его литературы. Между тем как первые два фактора непосредственного отношения к словесному искусству не имеют, оказывая свое воздействие через посредство третьего момента. Они являются только теми условиями, из которых складывается общественная психология, как ближайший источник экзегетирующего изучения литературы с точки зрения принципов исторического материализма.

Между тем другие сторонники марксистского метода (главным образом В. Фриче, отчасти—П. С. Коган и др.) в качестве исходного пункта для своих изучений принимают момент первого порядка, т.-е. фактор экономического характера, именно «господствующую форму хозяйственной деятельности».

Независимо от того или иного значения отдельных моментов историко-культурной среды в сфере объясняющего изучения литературы, важно отметить то, что содержание этой среды, определяемое марксистским методом, уместается в том, какое дает ей метод социологический. Социальная психология или экономика, как ближайшие факторы объяснения художественного творчества, входят в качестве составных и необходимых частей в понятие социального быта—источника экзегетирования при «социологических» изучениях. Отсюда следует тот вывод, что метод социологический вбирает в себя метод марксистский. Другими словами, говоря о социологическом методе, мы в то же время говорим и о марксистском.

Близость их поддерживается еще и тем, что научная целестремительность каждого из них, как видно из предыдущих замечаний, совершенно одинакового свойства. Таким образом, с точки зрения этих основ-

ных признаков, принадлежащих тому и другому методу, мы можем говорить об их совпадении одного в другом. В литературе теоретического характера уже имеются на этот счет мнения, отождествляющие оба эти метода в одном методологическом направлении. Б. Якубский в своей брошюре «Социологичный метод у письменстві» (Київ 1923 г.) одновременно называет социологический метод и марксистский (стр. 48), не давая, впрочем, теоретического обоснования для этого отождествления. П. Н. Сакулин в книге «Социологический метод в литературоведении» (Москва, 1925 г.) строит социологическое изучение литературы на «общих принципах» исторического (диалектического) материализма, марксизма (стр. 37), ставя, благодаря этому, эти проблемы в близкие отношения.

Кроме того, в понятие «социального быта» входят и такие явления историко-культурной среды, которыми оперируют также и другие историко-литературные методы *об'ясняющего* характера ¹⁾.

Сюда относятся уместные движения в виде различных настроений религиозного и философского характера, литературные течения и вообще условия литературно-художественного свойства, явления биографического характера—черты жизнеописания того или другого писателя. Эти явления окружающей среды *в той или иной мере* входят, как составные части, в «действие» методов—историко-культурного, исторического, философского и других, ставящих своею научною целью *об'яснение* художественного произведения. Таким образом, при таком «расширенном» понимании терминов «социальный быт», это понятие совпадает с понятием «историко-культурная среда». Впрочем, эта проблема чисто социологического характера, которая может быть решена в окончательном виде лишь представителями дисциплин общественного порядка. Наука о литературе может воспользоваться для своих научных целей уже готовыми решениями. Во всяком случае метод социологический вбирает в себя те научные возможности и устремления, которые составляют основное содержание методов, *об'ясняющих* теми или другими условиями внешней среды наличие определенных идей и форм, установленных в художественном творчестве предыдущим изучением.

Итак, социологический метод имеет своею целью об'яснение идейных и формальных явлений в художественном творчестве, приведенных в систему в виде поэтики. Это об'яснение должно заключаться в разрешении вопроса о том, *почему*, в силу каких причин установленная поэтика, именно такова, а не иная? Каковы те разнообразные факторы, которые обусловили *данный* вид ее? Разрешение этих вопросов приводит к установлению причинных и генетических отношений, которые существуют между художественным творчеством и окружающей его социально-исторической средой. В научном смысле это дает разрешение проблемы «историзма» в науке о литературе, который и заключается в установлении указанных отношений. Первый момент их—причинные отношения—имеет

¹⁾ О методах *констатирующих* (описательных) и *экзегетирующих* (об'ясняющих) см. нашу статью: «Классификация методов историко-литературной науки»—«Труды Белорусского Государственного Университета», 1925 г., № 6—7.

в виду выяснение тех связей, которые существуют между литературой и условиями внехудожественной действительности, заключающей в себе явления культурного и социального порядка. Второй момент—момент генеизиса—предполагает определение отношений между явлениями родственного, однородного типа. Применительно к словесному искусству мы можем говорить, следовательно, только о преемственной связи между явлениями художественного, литературного характера, как предшествующих изучаемому произведению, так и следующих за ним. В конкретном виде разрешение этого вопроса сводится, таким образом, к установлению «историзма» в области того материала, который был констатирован предыдущим изучением, т.-е. в сфере поэтики изучаемого художника.

С нашей точки зрения поэтика ¹⁾ включает в себе не только учение о *способах* или *приемах построения* художественных произведений; она ставит своею задачею *описание*, констатирование *всего* наличия художественных активностей, образующих литературное произведение, со стороны их формы и содержания и выполняемых ими художественных функций—их телеологии. Сюда входит описание и фонетических (символика звуков—аллитерации, ассонансы, звуковые повторы, рифмы, метры, ритм, мелодия и др.) и стилистических (словесные единицы: архаизмы, варваризмы, провинциализмы, неологизмы, синтетические слова и т. д.; словесные комплексы: символы, метафоры, сравнения, эпитеты, повторения, градация, антитезы, инверсия и пр.) и композиционных (тема, мотивы—персонажные, обстановочные, социальные, политические и пр.,—сюжеты) явлений, составляющих произведение в его целом. Такое описание обнимает собою именно *всю* наличность художественных активностей, имеющих в произведении и известных в настоящее время науке о литературе. Это обстоятельство дает право исследователю говорить, при установлении «историзма» в области нашей науки, именно, об истории *литературы*, в состав которой, как определенная часть, входит и *поэтика историческая*, рассматривающая в историческом аспекте судьбы отдельных приемов художественного творчества *изучаемого* писателя. Следовательно, метод социологический, имеющий своею научною целью об'яснение, истолкование произведения, в конечном итоге приводит к построению *истории литературы*.

IV

Таким образом, различие между интересующими нас методами—социологическим и «формальным» (эстетическим)—совершенно очевидно. Оно заключается как в логической структуре их, так и в научной телео-

¹⁾ В немецкой науке о литературе можно отметить стремление употреблять понятие «поэтики» (Poetik), в том или ином значении, применительно только к лирическому творчеству; для повествовательного берется термин «эпика» (Epik) и для драматического—«драматика» (Dramatik). Ср. на этот счет из старых книг: Spielgagen, F. Neue Beiträge zur Theorie und Technik der Epik und Dramatik, Leipzig 1898; из новых: Hartl, R.—Versuch einer psychologischen Grundlegung der Dichtungsgattungen, Wien 1924.

логии каждого из них. Первый метод описывает произведение, давая в итоге—поэтику, а второй—объясняет, создавая историю литературы.

Эти характерные особенности обоих методов сами собою разрешают и вопрос о взаимных отношениях их. Совершенно ясно, что эти два метода не исключают друг друга; между ними никаких противоречий нет. Напротив, они необходимы один для другого. Их объединение в единое целое является залогом неуклонного движения нашей науки на пути ее научного развития.

Более самостоятельное положение занимает первый из них—метод «формальный» или эстетический, ибо он может, имея в виду построение поэтики художника, ограничиться лишь имманентным изучением творчества писателя. Между тем метод социологический без «формального»—эстетического—научно существовать не может, ибо он не имеет *объекта* для своих объясняющих изучений. История литературы, которая является задачей социологического метода, строится на объяснении поэтики художника, устанавливаемой эстетическим методом.

Строить историю литературы на *прежних* основаниях совершенно невозможно, ибо это означало бы повторять неудавшийся опыт. В настоящее время все более и более оказывается осознанной та мысль, что конечная цель, которую ставила себе наша наука, именно создание *истории* литературы, не достигнута. *Истории* литературы построить не удалось. То, что известно под этим названием, не соответствует тому, чем должна быть «подлинная» история литературы. Два момента особенно настойчиво в этой «неудавшейся» истории литературы обращают внимание исследователя.

Прежде всего, в отношении своего *материала*, объекта исследования она оказывается *неполной*. Предметом изучения в такой «истории» были только *некоторые* явления, образующие художественное произведение; именно «старая» история литературы изучала только *мотивы* художественного творчества, оставляя в стороне другие активности, входящие в него, как необходимая и неотъемлемая его принадлежность. Кроме того выбор и этих материалов часто носил *случайный* характер; исчерпывающего изучения их она не дала.

Затем, в сфере *приемов* исследования указанного материала «история литературы» не выработала глубокого и всестороннего изучения поставленной задачи—установления «историзма» в истории литературы. Это понятие, как принцип определенной научной дисциплины, не получило уточненного теоретического обоснования, а равно и практического применения в области изучения художественного материала.

История литературы должна строиться на прочном и определенном основании, каковым и является поэтика в том значении, какое мы придали ей. Оба эти момента изучения тесно и *неразрывно* связаны друг с другом. Следовательно, в таком же положении находятся и те методы, которые приводят к построению этих частей, образующих *науку о литературе*.

ИЗ ПРОШЛОГО

Из архива Валерия Брюсова

Предисловие

Публикуемое нами письмо В. Я. Брюсова к М. Г—вой печатается с подлинника, написанного на пишущей машинке. Письмо, вложенное в конверт с адресом, почему-то не было отправлено по назначению.

Письмо чрезвычайно характерно для Валерия Брюсова тех лет *maîtr'a* молодых поэтов, редактора литературного отдела «Русской Мысли», во множестве получавшего рукописи и книги начинающих стихотворцев. В одном из обзоров русской поэзии (1911 г.) Брюсов, говоря о «груде стихотворных сборников», писал: «Это какой-то потоп стихов, в котором тонет молодая литература! Какой Ной построит новый ковчег, чтобы увести немногих праведников на вершины нового Арарата? Неужели начинающие поэты не понимают, что теперь, когда техника русского стиха разработана достаточно, когда красивые стихи писать легко, поэтому самому трудно в области стихотворства сделать что-либо свое.

Пишите прозу, господа!

В русской прозе еще так много недочетов, в обработке ее еще так много надо сделать, что даже с небольшими силами здесь можно быть полезным. Но, чтобы проложить новые пути в поэзии (стихотворной), сейчас надо обладать дарованием исключительным и вряд ли могут обладать им все те, кто ежемесячно дебютирует 10—15 сборниками новых стихов»¹⁾. В другом обзоре 50 новых сборников стихов за 1911—1912 гг. Брюсов снова задает вопрос, почему «авторы их пишут стихами, а не прозой. Вероятно, только потому, что в прозе убожество их мыслей и неоригинальность их чувств выразились бы слишком явно»²⁾.

В письме совет начинающему стихотворцу — независимо от того, хороши или плохи его стихи — выражен резко и даже жестоко: пусть

¹⁾ В. Брюсов, *Далекие и близкие. Статьи о русских поэтах*. М. 1912. Стр. 199—200.

²⁾ «Русская Мысль» 1912, № 7.

он вообще не думает о литературе, избрав себе другую достойную профессию. Может быть, в письме сказалось минутное настроение, горечь, усталость литератора Брюсова, редактора «Русской Мысли», разбивавшегося в «потоке стихов». Во всяком случае общий тон письма, совершенно отрицающий возможность испытать начинающему поэту свои силы в литературе, расходится с давней мечтой Валерия Брюсова о создании «Академии поэтов», осуществленной в годы революции в виде Высшего Литературно-Художественного Института. Заключительные же строки письма повторяют излюбленную мысль Брюсова о необходимости для поэтов учиться своему ремеслу, ибо «искусство имеет две стороны: творческую и техническую» ¹⁾:

«Одно из благотворительных учреждений», упоминаемое в письме— Чеховская комиссия при Моск. Литературно-Художественном кружке, выдававшая пособия и ссуды нуждающимся литераторам ²⁾.

Н. Ашукин.

Письмо В. Я. Брюсова к М. Г—овой.

24 сентября 1913 г. (Москва).

Милостивая Государыня!

Живя вдали от литературных центров, Вы, конечно, могли с совершенной искренностью написать все то, что сказано в Вашем письме ко мне. Вы не написали бы этого, если бы были более знакомы с жизнью литераторов. Я должен Вам сказать, что ежедневно начинающие поэты приносят мне тетради своих стихов. В иной день таких тетрадей я получаю 5—6, иногда 10, но редкий день проходит без того, чтобы я не получал хотя бы одну. Если бы я захотел добросовестно читать все эти тетради и добросовестно давать советы молодым поэтам, я должен был бы тратить на это несколько часов в сутки. Вы понимаете, что для меня, живущего исключительно литературным трудом, это невозможно. Сознаюсь даже Вам, что обыкновенно я просто не отвечаю на письма, получаемые мною от лиц, мне лично неизвестных. И все же таких писем приходит до десяти в день! Я делаю исключение для Вашего письма, потому что оно «подкупило» меня искренностью своего тона. В Вашем лице я мысленно отвечаю всем тем, кому, к величайшему моему сожалению, я не могу ответить каждому в отдельности.

Вы пишете: «Будь 2—3 его (Вашего сына) стихотворения напечатаны, кусок хлеба ему на первое время обеспечен». Откажитесь от этой мечты и заставьте от нее отказаться Вашего сына. Не говорю уже о том, что начинающим поэтам в журналах зачастую вовсе не платят: они должны довольствоваться честью, что их стихи напечатаны. Но и поэты, уже пользующиеся известностью, стихами не могут обеспечить себе «кусочек

¹⁾ В. Брюсов, *Опыты*. М. 1919 (статья «Ремесло поэта»).

²⁾ «Известия Моск. Литературно-Художеств. Кружка», 1913 г., вып. I. И. Белоусов. Несколько слов о комиссии имени А. П. Чехова.

хлеба». Если бы я писал только стихи, я давно умер бы с голода. Верхарн, которого критика признает величайшим из поэтов, существующих теперь в Европе, живет не только скромно, но почти бедно; да и то главный доход он получает не от своих стихов, а от постановки своих драм в театре, от публичных лекций, от статей... Мало того: литература вообще—самая невыгодная из всех существующих в мире профессий. Есть, конечно, исключения. Два—три писателя, особенно полюбившиеся публике (и не потому, что они талантливее других, а по причинам почти случайным), зарабатывают большие деньги; много зарабатывают некоторые фельетонисты в газетах, но их работа с литературой имеет общего мало, и их дело—угождать вкусам «толпы». Все же остальные русские писатели, а их десятки тысяч, должны довольствоваться заработком самым скромным, а то и скудным. Любой приказчик в хорошем деле, не говоря уже об инженерах или банковских деятелях, зарабатывает в десять раз больше. Притом всякая другая деятельность представляет известное обеспечение на случай болезни, старости и т. п.; литература—никаких. Захворал писатель или ослаб его талант (что может и почти должно случиться со всяким)—и вот ему уже не остается ничего другого, как обращаться к общественной благотворительности или же работать в каких-нибудь «бульварных листках». Участвуя в одном благотворительном учреждении, я знаю, как часто приходится выдавать скромные пособия в 100 или 150 р. писателям, имя которых считается «украшением русской литературы»... (Не хочу называть имен, но Вы мне поверьте на слово.) Десятка два русских писателей (преимущественно пишущих в газетах) зарабатывают в год десятки тысяч; человек 100—150 после работы 25—30 лет могут зарабатывать столько же, сколько служащий в хорошем деле: пять, шесть тысяч в год; остальные добывают своим трудом буквально «гроши», никогда не зная, будут ли они обеспечены на следующий год, на следующий месяц. Всего же меньше могут дать стихи: поэтов в России около 10.000, стихов никто не читает, сборников стихов никто не покупает, и «средний поэт», такой, стихи которого журналы печатают, но который не принадлежит к 5—6 «любимцам публики», может выработать стихами в год каких-нибудь 200 рублей.

Все это я пишу для того, чтобы: 1) убедить Вас, что для начинающего писателя стихи и вообще литературная работа (если он хочет относиться к ней серьезно и честно) не может быть никаким подспорьем в жизни, и 2) убедить Вас, что Ваш сын сделает благоразумно, избрав в жизни какую угодно профессию, но только не литературу. Если у Вас есть какое-либо влияние на сына, уговорите его немедленно бросить не только стихи, но все мечты о литературной работе. Хороши стихи Вашего сына или нет, я не знаю. Но я знаю, что для того, чтобы вполне овладеть стихотворной техникой, надо работать много и долго: по меньшей мере лет десять. Если Ваш сын (предполагая, конечно, что он обладает поэтическим даром) потратит эти десять лет и в конце концов добьется нужных результатов, т. е. научится писать стихи, как их пишут сейчас

лучшие русские поэты,—он получит только сомнительную надежду, что его имя будет когда-нибудь упомянуто в «истории литературы», и ничего больше. А самые эти годы (опять-таки, если он будет относиться к делу серьезно и честно) будут годами упорного труда, лишений и, вероятно, разных оскорблений. В результате—мой искренний совет Вам: ни в чем не способствуйте Вашему сыну стать литератором, а того более еще—поэтом. Сейчас это не даст ему ничего, и вряд ли много даст после. В жизни есть много достойных профессий, и Ваш сын сделает лучше, выбрав любую из них, только не литературную.

С совершенным уважением

Валерий Брюсов.

Не думайте, что я преувеличил, сказав, что надо учиться лет десять, чтобы научиться писать стихи. Вспомните, что композиторы учатся почти столько же в консерваториях, что художники учатся столько же в школах живописи и в академиях: техника стихотворства не менее сложна, а учебников ее нет. Талант необходим, но один талант еще ничто: к нему необходимо прибавить техническое учение, а чтобы получить его, пожалуй, и десяти лет мало.

Монголо-тибетская научная экспедиция

П. К. КОЗЛОВ

Летом 1925 года Монголо-Тибетская экспедиция Русского Географического общества закончила свою стационарную работу в юго-западном Кэнтее.

Ноин-ульские курганы, которые привлекали к себе научный интерес всего культурного мира, в последний период наших работ подарили экспедиции еще целый ряд новых археологических ценностей, в то же лето доставленных в Ленинград, прямо на выставку в Академию Наук.

Описание ноин-ульских научных сокровищ ныне вышло в издании Академии Наук под заглавием: «Краткие отчеты экспедиций по исследованию Северной Монголии в связи с Монголо-Тибетской экспедицией П. К. Козлова».

Теперь систематическую, кропотливую работу на месте, в приветливых лесистых горах, оживленных прозрачными речками, суровую и дикую красоту которых мы успели полюбить, предстояло сменить на странническую жизнь, более тяжелую в физическом отношении, но зато и более разнообразную, требующую напряжения и сосредоточения воли, наблюдательности и всех способностей человеческого разума.

В конце июля я проводил первый отряд экспедиции под начальством моего старшего помощника, Е. А. Глаголева, поручив ему следовать на юг, на пересечение восточной оконечности Монгольского Алтая, с тем, чтобы, спустившись в бассейн Эцзин-гола, в соседство мертвого города Хара-Хото, заняться археологическими и естественно-историческими исследованиями.

Сам я с остальными спутниками направился на запад—юго-запад, следуя первое время по долине реки Толы. Широкая, многоводная река, протекающая то в густых кустарниковых зарослях, то среди пышных болотистых лугов, была оживлена выводками красивых, бледно-серых, с черными полосами на голове индейских гусей и очень крупных гусей-лебедей. В обрывистых сланцевых скалах над водою, в трещинах среди камней находили свое дневное убежище филины, прилетавшие иногда по ночам в соседство нашего лагеря.

Над лугами, пестревшими последними осенними цветами, носились бабочки, шмели и разнообразные пестрые мухи, во множестве постулавшие каждый день в нашу энтомологическую коллекцию. Работы было много. Мы выступали до зари, совершали длительный шести-семи часовой переход, во время которого велась буссольная съемка местности, и останавливались в каком-нибудь привольном месте, около воды, где и разбивали бивак.

Наскоро напившись чаю, все тотчас направлялись на экскурсии—кто с ружьем для добычи птиц и грызунов, кто с сачком, кто с ботанической сеткой. К вечеру приступали к препарированию добытого, а с наступлением темноты вблизи развернутого белого экрана зажигался ацетиленовый фонарь с рефлектором, на который до поздних часов летели ночные бабочки, особенно интересовавшие ревностных энтомологов. Для сна оставалось несколько часов, но зато он был крепок и наступал тотчас, как только человек принимал горизонтальное положение.

На месте крутого поворота реки Тола на северо-запад, в урочище Улхуин-булун, экспедиция остановилась на более продолжительный срок. Здесь предстояло разыскать некоторые памятники древности, о которых мы слышали еще в Урге.

Монголы, встречавшиеся на нашем пути отдельными одинокими семьями, не хотели рассказывать об этих исторических памятниках, а потому нам надо было найти их собственными силами.

Урочище Улхуин-булун оказалось очень интересным для нас во всех отношениях: река Тола разбивалась здесь на несколько рукавов, которые, вероятно, в давно прошедшее время несли много воды, теперь же совсем заросли болотными растениями, и текли едва заметно, тихо. Местами эти старицы расширялись в порядочные оверки, покрытые камышами. Множество куликов бегали по глинистым берегам отдельных луж воды, на озерах держались разнообразные утки, а около камышей постоянно стояли и медленно расхаживали степенные серые цапли. В кочковатых болотах бекасы трех различных видов поднимались иногда по нескольку особей сразу, и для наших охотников наступила страдная пора.

Вблизи юго-восточных гор залегли обширные массы тончайшего песка, расположившегося здесь высокими безжизненными дюнами. Занимая площадь в квадрате около восьми верст, эти пески привлекали наше особенное внимание и, казалось, скрывали под своим сыпучим покровом разыскиваемые нами древние могилы.

Много раз мы экскурсировали к ним, со вниманием всматривались в очертания красивых барханов, разделенных между собою глубокими воронками, но толща песка залепала от пятидесяти до семидесяти футов в высоту, и, кроме одиноких кустов пустынной ивы, далеко простиравшей свои жаждущие влаги корни по поверхности песка, и быстрых ящериц, шмыгавших по раскаленной поверхности из стороны в сторону,—взгляд не улавливал ничего.

Только через несколько дней, во время экскурсии, один из наших охотников отметил в боковой долине, простиравшейся к югу, за озером с камышами, два небольших возвышения, вроде курганов.

Отправившись тотчас на осмотр этих памятников древности, я обнаружил вблизи них каменный предмет, едва торчавший из-под земли. Быстрые рекогносцировочные работы обнаружили огромных размеров гранитную черепаху, весом до ста пудов. Панцырь ее был украшен правильными шестигранниками, а на боках выделялись: с одной стороны—высеченный рисунок змеи, с другой—фигура стилизованного козла, с ромбовидной головой. Невдалеке, около курганов, стояли и лежали разбитые каменные фигуры людей. Это и была та тукюэсская могила, которую мы разыскивали.

Под'емный материал и пробные раскопки курганов дали нам много интересных образцов керамики с орнаментом и без такового.

Этим древним могильником в долине р. Толы начались наши успешные работы по открытию и регистрации памятников старины, которые не прекращались до самого прибытия экспедиции в Южный Хангай.

Едва ли есть еще страна, которая носила бы на поверхности земли и в своих недрах так много памятников многообразных культур.

Древние народы, населявшие северную Монголию, главным образом, ее широкие речные артерии—Хару, Толу и, наконец, Орхон—стремились каждый по-своему увековечить себя, оставить по себе неумирающую память. И теперь, в самых пустынных местах, вблизи пересохших русел рек, когда-то, должно быть, обильных водою, в безлюдье и тишине, путешественнику молча повествуют о былом таинственные странные надписи на скалах, непонятные рисунки, высеченные на отдельных камнях и, наконец, бесчисленные могильники, то выложенные камнями, то украшенные статуями, то обелисками; надо только суметь прочесть всю эту летопись, чтобы восстановить историю исчезнувших народов земли.

По определению специалистов, некоторые могилы, лежащие в долине реки Толы и других местах, так называемые—плиточные, обставленные обтесанными сланцевыми или гранитными плитами, стоящими на ребре, принадлежат к концу бронзового века и началу железного, иначе говоря—ко времени не позднее середины первого тысячелетия до Рождества Христова. К этой же доисторической эпохе какому-то неизвестному и по всей вероятности оседлому народу принадлежат некоторые весьма редко встречающиеся здесь писаницы на скалах.

Кэрэкеуры, располагающиеся иногда вдоль речных долин беспрерывной чередой, на расстоянии восьми—десяти верст, как, например, на истоках реки Онгиин-гол, представляют собой надмогильные памятники, обложенные по периферии камнями, в форме прямоугольника или окружности. В центре кэрэкеура возвышается больший или меньший холмик из сложенных камней.

Эти могилы, украшающие словно тонким, светлым узором все видные издали пологие, горные, преимущественно южные склоны и многие речные долины, принадлежат вымершему кочевому народу,

жившему уже в историческое время, приблизительно в IV—V веках после Р. Х.

Третий тип самых красивых могил, хранящих в себе нечто величественное, со своими большими каменными статуями и фигурами животных, с каменной дорожкой из предстоящих каменных плит, вытянутых в строгую прямую линию и ведущих к ним издалека, как бы указывая путь, — относится к еще более позднему времени, к VII—VIII векам после Р. Х. Этому же народу должно быть принадлежат большинство рисунков и надписей, виденных нами на скалах в разных местах и, главным образом, — на склонах массива Бичиктэ-дулан-хада, или в переводе: «Письмена теплых скал», в тридцати верстах к юго-западу от урочища Улхуин-булун.

Есть еще два вида древних памятников, открытых нами на истоках реки Онгиин-гола и в верховье Орхона: это большие каменные плиты и обелиски.

Каменная плита, лежащая на тукюзесской могиле вблизи истоков Онгиин-гола, имеет к ней весьма сомнительное отношение и представляет очень большой интерес своей сложной орнаментацией, несомненно, византийского стиля, покрывающей ее сплошным ковром. Сношения древних народов, населявших Монголию с Грецией, заслуживают внимательного изучения.

Четырехгранные обелиски, найденные экспедицией в бассейне Орхона, стоят обычно одиноко в равнине или в холмах, и украшены оригинальным орнаментом, в котором можно разобрать лишь отдельные детали — фигуру и голову змеи и головку какого-то непонятного животного с рожками.

Интересно подчеркнуть, что все эти памятники древности не являют собою отдельных этапов в постепенном развитии культуры и искусства одного народа, а, несомненно, принадлежат совершенно различным племенам, не имевшим ничего общего между собою, и каждое позднее жившее племя, по всей вероятности, не знало о существовании своих предшественников, разве только догадываясь о них по-своему по оставшимся памятникам их культуры.

Современное население Монголии, пожалуй, не сумеет увековечить себя ¹⁾: кочуя всю свою жизнь, не имея никакого недвижимого имущества, они обладают лишь очень немногими предметами, характеризующими их собственное народное искусство и быт.

Среди таких предметов можно назвать: женские головные серебряные украшения, металлические ладанки, которые они носят на груди с изображением какого-нибудь святого, и принадлежности мужского обихода: нож в футляре с металлическими насечками и огниво. Табакерка с нюхательным табаком, с которой любой монгол никогда не расстаётся, обыкновенно китайской работы.

¹⁾ Если не считать построек храмов, субурганов.

Но, не имея всю свою жизнь определенного местожительства, монголы и после смерти развеивают кости свои по земле и по ветру. Они не сооружают никаких могильников, и бросают трупы в степях или на горах, иногда даже у края горной дороги, на съедение зверям и птицам. Таким образом, и те немногие предметы, которые можно считать монгольскими, также не сохраняются в каком-либо определенном месте после смерти владельца, а передаются из рук в руки.

Единственное богатое, самобытное и разнообразное монгольское творчество, выражающееся в оригинальных, растянутых, мечтательных и нежных степных песнях—замолкнет и замрет вместе с самим народом, если до тех пор не будет изучено.

И, таким образом, когда придет момент и современное племя монголов угаснет, то после него на вечные времена останутся разве только бронзовые изображения буддийских святых, и всякие предметы, употреблявшиеся при богослужениях—большею частью тибетского типа, которые будущие исследователи будут находить в развалинах больших монастырей. Писанные образа и священные книги большею частью истлеют, так как нужно слишком счастливое стечение внешних обстоятельств, чтобы бумага и шелковые ткани уцелели хотя бы на несколько сот лет, как сохранилась библиотека открытого мною мертвого города Хара-Хото.

По всему раздолью широких степей и гор, на всех больших и маленьких вершинах и перевалах, археологи будущего увидят различной формы каменные груды, так называемые обо, и лежащие на обо, а также иногда высеченные на скалах надписи известной священной формулы на тибетском языке: ом-ма-ни-пад-мэ-хум, что в вольном переводе значит: «О, ты, сокровище на лотосе».

Вот все, что узнает о нынешних монголах потомство.

Однако нет правил без исключения. И одно из таких исключений нам посчастливилось открыть.

В пустынной, безлюдной местности, в окрестностях монастыря Мишигун, среди моря серо-розовых гранитов, мы нашли несколько скал темной, звенящей и необыкновенно твердой породы, на которых тщательно и красиво было выгравировано несколько надписей.

Самая большая надпись, в семнадцать вертикальных строк сделана на монгольском языке, и включает в себе некоторые философские мысли, выраженные в лирической форме и принадлежащие монгольскому князю Цокто-Тайчжи. Этот выдающийся человек широко известен в истории Монголии, как влиятельный религиозный вождь красной, староверческой секты. Будучи изгнан из родного хошуна, вследствие религиозной борьбы, он очень тосковал по своей родине, и в момент сильной сердечной печали произнес слова, которые были позднее выгравированы на скалах его последователями.

Надпись гласит:

«В год белой курицы (1624 г.), первой осенней луны, 21-го числа, Цокто-Тайчжи, охотясь по северным склонам Цэцэрлика Хангай-хана, на своем бронированном коне—Хумкту-Халтыре, поднялся на сопку,

посмотрел на восток, и, очень опечалившись сердцем, тоскуя о своей старшей сестре Галаготе, произнес сии слова и заплакал:

«Хотя и есть разница между местопребыванием Тэнгери-хана наверху, и великими святыми на земле, но в своем счастье любви, в смысле милосердия—они одинаковы.

«Хотя и есть разница в местонахождении Бодисатв в пещерах Аггиниста, и пребывающих на золотой земле людях, имеющих сердце Боди, но в деле милосердия и сострадания—они одинаковы.

«Хотя и есть разница между законами и порядком добрых тушемиллов-министров—великих ханов на земле и судилищем Эрлик-хана в потустороннем мире, но в суждении о правде и неправде—они одинаковы.

«Хотя и есть разница между местонахождением и телом человека, тщетно ищущим себе пропитания, и хищным зверем, бродящим по лесам и горам, но в убийстве и в удовлетворении голода—они одинаковы.

«Хотя и есть внешняя разница между человеком, ворующим чужое вблизи и вдаль, и волком, бродящим вокруг двора и высматривающим добычу, но в своем стремлении к еде—они одинаковы.

«Хотя велико расстояние между Халхой и Огнютской землей, хотя и далека моя сестра Галагота на реке Ононе от меня большого сердцем на Орхоне и Толе, но во взаимной тоске и любви—мы одинаковы.

«Если мы даже и не увидимся в этой жизни, то в будущей, в каждом перерождении мы будем помогать друг другу во всех делах, подобно тому, как нежная мать помогает своему ребенку».

«Сии слова, произнесенные с горькими слезами, запомнил сопровождавший Цокто-Тайчжи—Ирхе, и записал в книгу. Через четыре года в год мыши, 18-го числа первой луны, свитские Дайчен-хя и Хуин-батор вырезали слова его на скале».

По свидетельству проф. Б. Я. Владимирцева, эта надпись, как ценнейший памятник монгольской старины, является единственной в своем роде.

В таких непрерывных занятиях археологическими и естественно-историческими исследованиями экспедиция, наконец, достигла места своей зимовки—южного подножия водораздельного хребта Хангай, или другими словами—истоков реки Онгиин-гол. Здесь было обнаружено не мало интересных исторических развалин, частью изученных нами путем раскопок, а частью оставленных в нетронутом виде, за наступлением сильных холодов.

Один местный буддийский лама, занимающийся между прочим шаманским «камланием», несколько раз в своих припадках одержимости различными святыми своей религии, говорил, что нам необходимо разрыть один клад под «белым» камнем. В неистовстве и в страшных конвульсиях выкрикивал он в полу-темной юрте, в дыму возжигаемых благовоний свои пророчества, говоря о золотых бурханах (изображениях буддийских святых), хранящихся и ожидающих нас под землей, на большой глубине.

К сожалению, суровая монгольская зима помешала нам проверить эти предсказания, и мы воспользовались только услугами нашего приятеля—Цэдэн-пунцука—для того, чтобы еще лишний раз пронаблюдать то странное нервное состояние, в которое приводят себя от природы к этому предрасположенные люди, известные и сейчас в буддийской среде под именем «белых шаманов».

В конце ноября мы прекратили раскопки на Онгиин-голе, и приступили к исследованию верховьев Орхона, слив, таким образом, свои работы с работами известной Орхонской экспедиции Академии Наук, под руководством проф. В. В. Радлова, в 1891 году.

Хребет Хангай, являющийся водоразделом внутреннего и внешнего бассейнов, несет на своих склонах густые кедровые и лиственные леса, а по дну его глубоких падей бегут быстрые горные речки. Его южное подножие богато теплыми минеральными источниками, сохраняющими круглый год постоянную температуру в плюс 15,5° С.

Каждая поездка за хребет, на верховье Орхона была связана с интересными зоологическими экскурсиями, так как в скалах хребта живут дикие кошки, на альпийских лугах, выше границы леса, пасутся горные бараны—аргали, а в размытых неприступных скалах—дикие горные козлы. В густых лесах верховьев Орхона водятся лоси, изюбри, козули и кабаны. Те же леса, местами покрытые сплошным брусничником, дают приют глухарям, а каменистые солнечные увалы кормят осторожных скромных красавиц—горных индеек, любящих лакомиться обильным здесь горным луком.

Самая долина Орхона, в 80-ти верстах от истока реки, достигает пяти верст в ширину и представляет даже по своему внешнему виду немало оригинального.

На многие десятки верст вдоль нее тянутся непрерывными грядами застывшие лавовые потоки, и среди этой черной, пористой массы, лишенной растительной и животной жизни, в укромных уголках, защищенных от ветра, ютятся монгольские юрты, со своими скудными стадами овец.

Раз зайдя в область лавовых гряд, путник очень скоро сбивается с нужного ему направления и попадает в какой-нибудь глухой тупик, откуда верхом на лошади можно выбраться лишь с большим трудом. Поэтому в этой части долины Орхона рекомендуется следовать только с опытным проводником-монголом. Даже туземцы, и те никогда не заходят в лавы вечером, а совершают путешествие днем, руководясь различными, им одним ведомыми приметам и знаками, сложенными кое-где по вершинам, в виде небольших кучек обломков той же породы, положенных друг на друга.

Орхон протекает здесь по дну глубокого каньона, извиляющегося по плоской долине узкой трещиной, прижатой к левому подножью гор. Отвесные стены кремнистых сланцев ниспадают на глубину восьми—десяти саженей, где серебристой лентой бежит незамерзающая в этом месте река. На крутых поворотах, среди крупных отторженцев, устилающих ложе реки, вода покрыта клубящейся пеной, и образует водовороты и

шумные каскады. В расширениях реки, там, где течение становится тише, плавают стаи гоголей; в теплые зимние дни, пригретые солнцем, эти птицы занимаются весенней игрой, заключающейся у них в том, что, подплыв к своей паре, самец быстро запрокидывает свою красивую голову назад, и издает низкий, довольно негармоничный звук, после чего быстро ныряет. Самка тотчас тоже исчезает под водой, из-под которой они через несколько секунд вновь показываются на поверхности друг около друга.

Из-под узких ледяных заберегов непрерывной трелью льется песня оляпки или водяного воробья, который, стоя над самой водой, на краю льдинки, разнообразит свое веселое пение частым нырянием в воду, для добывания личинок ручейников, служащих ему пищей. Эта птичка держится по всем «тальцам»—незамерзающим местам—северо-монгольских рек, где в воде и на льду проводит всю суровую, местную зиму.

Вблизи реки, на каменистом грунте растут небольшие группы стройных, высоких лиственниц и тополей, не достигающих однако своими вершинами верхнего края каньона и спрятанных таким образом в глубине этой трещины. Кое-где по скалам или по бортам каньона та же лиственница красиво тянется в виде стройной линии, маня к себе путника.

Немного выше по течению Орхона, вблизи западной окраины каньона, степную долину перерезает по диагонали быстрая многоводная речка Улан. Подойдя своим ступенчатым ложем к Орхону, она широкой и мощной струей внезапно низвергается по вертикальной скалистой стене в глубину восьмисаженного каньона искрящимся водопадом, и фонтаном бесчисленных брызг вновь взлетает кверху.

Этот водопад, названный мною «Водопадом Экспедиции», зимою наполовину замирает, скованный голубоватым потоком льда. Летом же оглушительный рев его слышен на далекое расстояние и внушает туземцам суеверный страх и молитвенное преклонение.

В прежнее время водопаду ежегодно приносилось в жертву несколько слитков серебра, которые бросались в клубящуюся пучину.

Этой жертвой у небесных сил вымаливалось многоводие Орхона, орошающего столь большие пространства пастбищ этой скотоводческой страны.

20 марта экспедиция снялась с зимовки в направлении к югу, с целью наблюдать весенний пролет птиц на озере Орок-Норе и вести дополнительные археологические исследования в мертвом городе Хара-Хото. Осенью экспедиция вернется на родину.

Дома и за границей

ЛИТЕРАТУРА, ИСКУССТВО, БЫТ, ПОЛИТИКА

I. НИК. СМИРНОВ.—На том берегу. II. Н. ЗАМОШКИН.—По альманахам и сборникам. III. Б. АНИБАЛ.—Около Есенина. IV. Р. КУЛЛЭ.—О современной немецкой литературе. V. Я. ТУГЕНДХОЛЬД.—О современной живописи. VI. С. ВЕТЛУГИН.—Казачья Лопань

I. НА ТОМ БЕРЕГУ

Заметки об эмигрантской литературе

Ник. Смирнов

I

Недавно один английский журналист проинтервьюировал русских писателей-эмигрантов. Ремизов, говоря о своих литературных планах, показал ему, между прочим, источник своего «вдохновения»—старую серебряную пудреницу с сухой землей. Горсть земли, вывезенная с родных русских полей,—все, что осталось для литературной эмиграции.

Для эмигрантской литературы характерно, что за все восемь лет она не дала ни одного нового и свежего имени. Литературно-эмигрантская молодежь не блещет талантами, и только один Вл. Пиотровский, как исключение, заслуживает упоминания. В последней его книге «Каменная Любовь» (Изд. «Волга», Берлин 1925 год) есть немало хороших стихотворений. В его стихах чувствуется приподнятость, мудрое ощущение земли, ее мощи и здоровья.

Не кровь моя, а древняя смола,
А черный мед, до боли вздувший жилы.
Ты лучшего напитка не пила,
В тысячелетиях такого не любила.

Но Пиотровский, как и все эмигрантские писатели и поэты, целиком во власти старины: он воскрешает в своих стихах звон древних половецких мечей, ржание славянских скакунов, тележную тоску Игорева похода и лебяжьи крики степной, боевой тревоги...

Бродит в снах колокольный звон—
Ты коня, молодец,пусти—
Половчанку бери в полон.

Он очень тонко чувствует природу, и его изобразительные средства богаты и щедры.

Земля, земля моя. С тревогой
Гляжу в нахлынувший туман—
Лишь перекрестки да дороги
Венчают твой сутулый стан.
Лишь обездоленная птица,
Роняя перья на-лету,
Еще не верит и боится
В твою поверить наготу.
Но, непоседливый и скучный,
Могилу глубже роет крот,
И сердце знает—гость докучный
Уже стучится у ворот.

Но повторяем: Пиотровский—исключение. Остальные поэты эмиграции, их молодое и старшее поколение—поэты непрерывного творческого угасания.

Бальмонт, считавшийся когда-то соловьем, на наш взгляд, впрочем, фальшивым, в данное время напоминает другую, отнюдь не поэтическую птицу—из тех стай, что кружатся с унылым криком над мокрыми осенними полями. Его последние стихи, в изобилии рассыпаемые по столбцам «Последних Новостей», слабы до чрезвычайности.

Владислав Ходасевич, пленявший некогда строгой чистотой мастерства, постепенно превращается в весьма неудачного газетчика-публициста.

Разделяет судьбу прочих поэтов и Марина Цветаева. Поэтесса, кажется, и сама сознает творческий упадок, постепенно оставляя стихи и, опять-таки, переходя на публицистику. Как на образец ее публицистически-бездарной

болтовни, можно указать на дневник «Мои службы», печатавшийся в последней (26-й) книжке «Современных Записок». В этом дневнике поэтесса вспоминает — конечно, с патристическими вздохами и ужасом салоппницы — о годах военного коммунизма в Москве.

И только другая поэтическая дама, теперь уже ставшая старушкой, — З. Н. Гиппиус, осталась на высоте своих прежних, т. е. очень и очень незначительных достижений. Гиппиус всегда была слабой поэтессой (и не плохим, боевым и острым критиком). В пору т. н. литературного декаданса, когда поэты сравнивали раскрытую женскую грудь с Фавором, а ножку балерины — с Указующим Перстом, — в то время стихи Гиппиус выглядели не хуже всех прочих, в большинстве повторяющих друг друга, стихотворений. Стихи Гиппиус слушались из вежливости, а читались — особенно молодыми поэтами — в надежде попасть в ее салон, а оттуда — в литературу. Злая старушка не бросила стихотворных упражнений и до сих пор, но они, даже в эмигрантской печати, выглядят явным архаическим пережитком. Гиппиус попрежнему, смотрясь в кокетливое зеркальце, думает, что она смотрит в глаза святой Софии, попрежнему несет вербную ветвь символизма, перевязанную шелковым голубым бантом. Она по-старому беседует с богом, украшая его и все им содеянное атрибутами гостиницы и салона.

Когда-то ради нашей малости,
И ради слабых наших сил,
Господь от нежности и жалости
Нам вечность — веером раскрыл.

О прочих поэтах эмиграции (Глеб Струве, Вл. Сирин, Нина Берберова и т. д.) лучше промолчать: их творчество не выходит за предел домашней столовой или отдельного кабинета в разгульном парижском кабаке.

II

Литература эмиграции, вполне естественно, определяется отходом в прошлое, творческой застылостью и стремительным упадком прежней, часто очень большой, талантливости. Обломки «ве-

ликого крушения», выброшенные не на заповедный остров, а, в большинстве, в грохочущий Париж, конечно, не могут писать о буре. Они могут петь лишь о тишине, — о мертвой тишине могилы.

В цветах склепа писатели-эмигранты видят жизнь, в огненном громе революции — неизбежность смерти. И потому все, что написано в эмиграции о революционной эпохе, — только голоса из склепа. Они звучат иногда криком о помощи, а иногда наивной угрозой надежно спрятавшегося ребенка. Основной же мотив художественной эмигрантской литературы — безысходная обреченность, скорбь и отчаяние. Его не скрыть никакими шутками и остротами, ибо шутки обреченных всегда напоминают стон.

Литература шуток в эмиграции, впрочем, очень незначительна. Хорошим ее образцом может служить сказка А. Куприна «Суд», единственное произведение за последний год этого, когда-то большого, писателя, а ныне второстепенного передовика из погромно-суворинской газеты «Вечернее время».

«Когда же настал срок последнему дню, то вострубил архангел в золотую трубу, сотрясая небо и разверзая землю. И восстало из несметных могил множество мертвых, исполнивших землю, и облеклось плотию. С живых же спали ветхие земные одежды. И все они, живые и мертвые, предстали на страшный суд нагие, подобно прародителям до грехопадения».

Первым предстал перед «нелицеприятным судьей» мужик в коросте и мозолях. Он оказался оправданным: «Темный мы народ, серый, ничему неученый... Все равно, как слепые щенята... жижем в грязи, да бедности».

Оправданным оказался и следующий подсудимый, солдат. Разговор между солдатом и судьей закончился почти приятельски:

— Начальники к тебе всегда ли были справедливы?

— А ты им прости, всемиловитый.

Всемиловитый простил. Солдат, поддерживаемый под руки Георгием Победоносцем и Александром Невским, отправился в райские кущи и получил двойную порцию — чего? — у писателя

не сказано. Читатель должен догадаться сам.

Третий подсудимый, «страшный разбойник», отказался от милости искупителя. Дабы окончательно очиститься, он пожелал несколько тысячелетий провести в аду, «куда указывал ему дорогу пылающим мечом архистратиг Михаил».

В числе следующих обвиняемых привели к суду грешника в очках и с длинными волосами: социал-демократа.

— Что ты совершил в своей земной жизни?

— Я перестраивал мир сообразно законам желудка.

— Что ты для этого делал?

— Я разрушал все созданное до меня бессознательным человеком.

— Религию?

— Это опиум для народа.

— Бога?

— Его нет.

— Красоту?

— Выдумка праздной буржуазии.

— Семью?

— Вредный пережиток.

— Жалкое существо,—сказал, с печалью во взоре, Судия.—По крайней мере, посадил ли ты хоть одно дерево при дороге, чтобы усталый путник освежился и отдохнул в его тени?

— Нет. Я не признаю частной благотворительности.

— Приглашал ли ты когда-нибудь ребенка?

— Зачем? Я учил его классовой борьбе.

— Отер ли ты слезы страдающего?

— Нет, я говорил ему о святой мести...

— Ты никогда не ошибался?

— Никогда.

В результате этого разговора последовал приговор:

— Знаешь что? Не существуй больше, отныне и до века.

«Раздался легкий треск. Социал-демократ растворился в небытии навсегда. И ничто в мироздании не дрогнуло, не шевельнулось».

Куприн, оперируя довольно тупым и ржавым ножом, добился лишь того, что незаслуженно оскорбил своих друзей по эмиграции—русских социал-

демократов. Он напрасно приписал им «классовую борьбу» и «святую месть»,— это оружие из другого арсенала.

Способов к взаимным оскорблениям в эмиграции очень много: друзья ссорятся очень часто—это развлекает. Эмиграция, по крайней мере, ее подавляющее большинство, свято хранит древлеапостольские заповеди православной веры. И если кто-нибудь пытается, даже в пределах «куцой конституции», подорвать основы благочестия, над тем свищут не только газетные бичи, но и гремит пророческий голос митрополита Евлогия, отлучающий его от церкви.

В эмиграции есть скучноватый писатель Минулов. Пишет он рассказы из старого российско-купеческого и монастырского быта, умеет показать живое человеческое лицо, создать интересную жанровую картину, хорошо, неторопливо и мягко владеет диалогом. Он вполне благонамерен, был когда-то учителем в классической гимназии, никогда не имел склонности к вредным мыслям,—и, все-таки, несмотря на все это, попал под жесточайший обстрел своих друзей. Он однажды поместил в «Последних Новостях» рассказ «Тайна». Сюжет рассказа был взят из библейской эпохи; Иуда изображался в нем ближайшим другом Христа, повесившимся лишь после того, как он убедился, что Христос по прошествии трех дней не воскрес.

Все это было преподнесено в форме легенды, гипотезы, но это не искупило вины писателя. Тотчас, по напечатании рассказа, в эмиграции началась подлинная буря. Газеты, отложив в сторону политическую злобу дня, заполнялись негодующими статьями по поводу зловредного рассказа. В бесчисленных письмах в редакцию разнообразнейшие эмигрантские слои, в том числе и союз писателей, гневно и зло обрушились на заблудшего своего собрата, а зам. редактора «Последних Новостей»—г. И. Демидов, член приходского совета, был исключен из одного, как пособник еретичества. Потом, когда он посыпал грешную свою голову пеплом раскаяния, он был возвращен в православную обитель, возглавляемую таким «святителем», как граф Бобринский, но, все-

таки, урок получил хороший. Эмиграция умеет хранить древле-апостольские заветы!

III

Вообще, никогда, даже в эпохи наиболее резко выраженного упадка общественной активности, не было такого расцвета религии, какой наблюдается в настоящее время в эмиграции. В центре эмиграции, в Париже, существует и работает религиозно-философская Академия, периодически выходят «евразийские» сборники—катехизис нового славянофильства и крепостничества, освященного церковью, печатаются, распространяются и пользуются успехом творения иже во святых отцов Бердяева, Франка, Карсавина.

К группе Бердяева, Франка и Карсавина близко примыкает Ф. Степун, опытный и умный литератор, неудачно старающийся быть философом. В одной из последних книжек «Современных Записок» закончился печатанием его роман «Николай Переслегин». Это произведение, впрочем, нельзя назвать романом: оно выдержано в форме писем и скорее походит на философский трактат. В нем показана жизнь дворянина-интеллигента, занимающегося, по вековечной русской привычке, самобичеванием и самоанализом.

Основными силами романа являются любовь и ревность: эти «проблемы»—центральные звенья сюжетной цепи, захватывающей в своем движении и прочие, не менее «таинственные» проблемы: искусство и красоту, смерть и т. д. Герой романа, сноб и эстет, склонный к душевной «утонченности», граничащей с извращенностью: не даром он в одном из своих писем называет себя «костюмером своей собственной души». Он, играя, конечно, в эстетических целях, на дребезжащих струнах своей нервно-больной жены, доводит ее до самоубийства. Впоследствии он женится на другой женщине, жене своего друга, той самой Наталье Константиновне, к которой адресованы все его письма. Затем следует разрыв с Натальей Константиновной: является Марина, подруга его первой жены, одна из девушек, так знакомых нам по недавним годам

декаданса: в меру изысканная и начитанная, в меру восторженная и расчетливая.

Образы всех этих женщин очерчены в романе очень бледно. Они не живые люди, а лишь восковые слепки, с безвольными движениями и сомкнутыми глазами. Наиболее удачна фигура героини, по имени которого и назван роман. Он преступник, хотя и прикрытый маской každодневногo раскаяния, часто жалуется в своих письмах на некую душевную тяжесть, но все эти жалобы несерьезны: это только лишние черточки самококетства, не отрицаемые им самим,—не случайно же он сравнивает себя с Нарциссом.

Ф. Степун отгравировал образ этого «аристократа души» с подлинной любовью. «Николай Переслегин» возвращает читателя—если он вообще может найти читателя—к берегам литературной упадочности 1907—1912 г.г. Роман Степуна, если его рассматривать даже в замкнутых пределах художественности, неудачен. Обильная его парадоксальность чрезвычайно далека от острого и сверкающего клинка Уайльдовской мысли: она тяжела и искусственна. Его образность чрезвычайно неравномерна: она колеблется между изяществом и грубостью. Изысканность сравнений, к которой так стремится Степун, очень часто граничит с банальностью и риторичностью. У Степуна слишком мало чародейных художественных средств, возвращающих оплошному эпитету его изначальную чистоту и сияние.

Роман настолько неудачен, что даже Ю. Айхенвальд, последовательно складывающий каждую эмигрантскую литературную новинку в творческую дарохранительницу веков, ограничился в своем отзыве о «Николае Переслегине» общими, ничего не говорящими фразами. «Вся ткань произведения великолепна, как негнушащая переливчатая парча,—пишет Айхенвальд,—и, кто не любит нарядности, тому неуютно будет в словесном здании Переслегина, напоминающем, пусть и не очень выдержанный, стиль барокко».

Если, по отзыву Айхенвальда, «Николай Переслегин»—тяжелая парча, то

роман другого писателя, творчески соприкасающегося все с той же философической группой, — «Золотой узор» Бор. Зайцева напоминает кисею на византийски-скорбном лице древней инокини. «Золотой узор» так же неудачен, как и роман Степуна.

Зайцев — интимный, лиричный и нежный миниатюрист. Большие вещи («Дальний край») никогда не удавались писателю: они утомляли своей однотонной бледностью, мертвенностью диалога и схематизмом.

«Золотой узор» еще большая неудача писателя. Этот роман, как и «Николай Переслегин», написан от первого — и в данном случае — женского лица, от лица Натальи Николаевны, потомка тех девушек в кринолинах, которых можно было видеть на дагерротипах старых, времен Тургенева, усадьбах. Наталья Николаевна в молодости своей, а роман Зайцева как раз начинается с ее молодости, как будто сохранила некоторые черты своих прабабушек: она нежна и ласкова, хрупка и сентиментальна. На ряду с этим она наделена известным зарядом активности, жизнеспособности и сопротивляемости. Она, по сравнению со своим мужем, близоруко-женственным Маркелом, существо более сильного порядка. Маркел — научный работник, во время империалистической войны становящийся офицером и, благодаря хлопотам своей супруги, остающийся в Москве. Тургеневская девушка в процессе смены поколений, выросла в женщину, не лишённую организаторски-житейских способностей.

Наталья Николаевна — центральный орнамент «Золотого узора». Однако, история ее жизни, рассказанная ею самой, психологически не оправдана, — у Зайцева не хватило света и красок для создания цельного женского образа. Другие человеческие образы романа: Маркел, муж героини, ее отец, не говоря уже о второстепенных, в роде Сани Гликсмана, Георгиевского, Блюма и т. д., решительно безжизненны и вялы. Вяло, неуверенно и блекло выдержана и та обстановочная канва, на которой расшит весь этот, тускнеющий еще на лавках читателя, сюжетный «узор».

Особенно неудачны в этом романе картины революции. За исключением отдельных моментов, например, занятия соседними крестьянами имения отца Натальи Николаевны — они интересны как зарисовки революции, сделанные ее врагом, — все эти картины отдают шаржировкой, хотя бы и припудренной лиричностью. Зайцев очень часто описывает то, чего он не видел и не знал (быт заключенных во внутренней тюрьме Чека), и изобразительность его в данном случае не превышает обычных лицемерного-кликушеских эмигрантских вздохов.

Роман кончается отъездом Натальи Николаевны и Маркела за границу при помощи некоего, почти с небес, а вернее с иностранной биржи, посланного избавителя, совсем как в старом сентиментальном романе.

Кроме романа, Зайцев выпустил недавно монографию о древнейшем русском подвижнике Сергии Радонежском, где, опять-таки, дело не обошлось без полемики, а в последней (26-й) книжке «Современных Записок» напечатано его исследование о жизни Алексея божия человека. Первая из этих книг, воскрешающая лесную русскую старину, бревенчатую часовенку под певучими соснами и отшельника-отрока, перед которым покорно склонился медведь, — эта книга, прежде чем появиться на русском языке, вышла в одном из издательств американских квакеров: Зайцев, в конце концов, нашел своих читателей.

Зайцеву не чужды «вершины духа», материально воплощенные в вершинах Провансальских гор, конечно, по соседству с курортом. В своих воспоминаниях о Блоке писатель рассказывает, как он, во время весенней прогулки в этих горах, разговаривал с тенью поэта. Зайцев в этом случае уподобляется той «теософической даме», которая опускала в столичный почтовый ящик восторженное письмо, с изумлявшей почтальонов надписью на конверте: «В вечность».

Религиозность эмигрантской литературы вполне закономерна. Она не только производное от ее собственной обреченности, она — отраженный свет настроений европейских кругов, «духовно» сопричастных эмиграции.

IV

Вслед за Зайцевым отметим Ив. Шмелева, одного из даровитых эмигрантских писателей. Шмелев более прям и открыт. Он, как и все его собратья, тесно примыкает к ордену Сергиевского подворья, но он не носит на своей груди лубяной иконки подвижничества, а мечтает о траурно-рыцарском одеянии древних меченосцев. Великой, бесильной и потому особенно выразительной злобой дышат все последние произведения Шмелева. Писатель в последних своих повестях, начиная с «Солнца мертвых», безвозвратно растерял дары подлинного художника: чувство меры, чуткость, спокойствие, жизненность и силу слова. Все его произведения есть нечленораздельное завывание кликуши или, в лучшем случае, язвительный шепоток желчного, мелкого обывателя.

Шмелев, как и Зайцев, уехал за границу с советской командировкой и на советские деньги. Правда, он очень быстро, на пограничном рубеже, сбросил маску обещаний—и какое судорожно-искаженное, какое злобное лицо обнаружилось под этой маской!

Свои стремления—эмигрировать—он воспроизвел в позднейшей повести «На пеньках» («Современные Записки, № 26») Герой этой повести—профессор, конечно, с мировым именем, с заслугами перед человечеством, отверженно-живущий на лесной глухой даче, и только изредка приезжающий в столицу за академическим пайком.

Столица и деревня эпохи 19—20-х годов изображены им с глубочайшей ненавистью и клеветой, совершенно недостойной писателя. Она более уместна на устах какой-нибудь старой замоскворецкой сводни. Лиричность повести—а в повести очень много лиризма—производит отвратное впечатление, ибо она только ярче оттеняет всю мелочность, ограниченность, скудоумие и отсутствие элементарно-человеческого достоинства этого профессора с мировым именем. Он, в изображении Шмелева, вызывает не жалость, а брезгливость. Профессор этот находится во власти преследующей его идеи—бег-

ства за границу. Бегство удается, мы видим профессора в одном из итальянских музеев. На этом обрывается повесть, и читатель не знает, что дала профессору Европа. Зато мы знаем кое-что из интимных переживаний самого писателя за границей.

В очерке «Сидя на берегу» Шмелев рассказывает об одной интересной встрече. Дело происходит где-то во Франции, на взморье. Тихий летний день, голубое небо, алмазный круг моря, мирный сельский труд и вдруг неожиданный возглас:

— Russie!

Под этот возглас писатель мучительно живо вспоминает покинутую свою родину и такой же тихий летний день в золотых ее полях.

«Пахнет березой, горечью ее сладкой, сухими пнями, свежим луговым сеном, теплом. В высокой траве, в резких, уже выпцветающих, метелках сквозит колея дороги, еще от весеннего распутия, когда об'езжали к леску, по-выше. За дорогой, за редкими кустами,—луга, широким и ровным скатом, до темных ракит речки, сверкающей где-то омутами, в глинистых берегах, в дырках стриженных норок, с журчавою галькой брода. В лугах хлопотливая уборка: всюду пестро, белеют—платки, рубахи, рыжие пальши, телеги с вздернутой на фелеге юбкой, с повянувшей березкой. По светлому лугу, в желти, темные гребешки покосов, новые грабли блещут, скачет легкими ворохами сено».

И сквозь мглу этих воспоминаний снова все тот же голос:

— Russie!

Разговаривают между собою три англичанина-туриста. Пораженный писатель слышит:

— Чума, зараза... Азиаты. Нигде не было закона, никакой культуры. Рабы, язычники, людоеды. Царь и кнут. Пьяницы, дикие мужики, казаки. Царь всех казнил, любили всегда пагайку. Грязные животные. Понятия чести нет, нам изменили. Теперь дикари хотят разрушать культуру! Несут заразу! Надо их научить культуре; надеть узду. Прекрасное поле будущего. Надо колонизовать, надо раздавить в зачатке...

Писатель молчит.—«Мои слова они разотрут крепкими гвоздяными башмаками—этот невнятный лепет, никому непонятный l'âme slave, прикидывающейся глубокой, кроткой».

Что, на самом деле, мог бы сказать писатель, трогательно воспевающий раба? А последний его рассказ «Новый год» возводит в образ подвижника именно раба, лакея. В этом рассказе воспроизведена старинная, забытая в снегах русская усадьба,—в ней живет бывший барский кучер Михайла Алексеич. В новогодний вечер к Михайле Алексеичу заезжает телеграфист Васькин, ныне коммунист, когда-то влюбленный в барскую горячную, Настю, племянницу кучера. Оба вспоминают прошлое: Васькин—свою любовь, а кучер—прежнее житье при хозяевах. Васькин, конечно, изображен Шмелевым, как идиот, а Михайло Алексеич—с великой любовью, как пример яко бы народной силы, крепости и преданности. Бывшие хозяева Михайлы Алексеича находятся за границей, и он, между прочим, показывает Васькину полученное от них письмо.

«Вот что пишут... Старый друг наш, Михайло Алексеич... Все мы тебя помним и жалеем... Жалуют!—Если скупаешь по Насте—пиши... вышлем визу!...—Визу!—постучал кучер пальцем,—и денег на дорогу. Будешь опять в имении, не хуже прежнего... Есть лошадки!.. Вот какие благородные-то люди... Друг!.. Ночь не спал, плакал... как растрогал! Это вот оценили! Это не сволота! Мне это одно слово все покрыло, чего я навидался. Стыдно, не уберег. За мукой поехал... и крышу сняли и рамы»...

Рабство, возведенное в достоинство, лакей, как положительный литературный тип («Человек из ресторана» очевидно юношеское заблуждение)—очень удачно дополняют проповедь кнута, которой насыщены все последние произведения Шмелева.

Несколько в стороне стоит в эмигрантской литературе один из любимых писателей эмиграции, исторический романист М. А. Алданов. О нем

в эмиграции очень много пишут, его много читают, и это понятно: он недурной, занимательный рассказчик. Искать же в его исторических романах что-нибудь большее бесполезно. Его творчество, слегка прохваченное кокетливым скептицизмом, принадлежит к разряду той добротной беллетристики, которая прочитывается с удовольствием—и только, Алданов не сказал какого-либо нового слова в области исторического романа. Он только повторяет и продолжает старых писателей этого жанра, правда, в форме наиболее изящной: Алданов хороший стилист. В явный ущерб идет ему склонность к анекдотизму, особенно заметному в последнем его романе «Чортов мост».

Прочие русские писатели, пребывающие в эмиграции (Немирович-Данченко, Амфитеатров, Арцыбашев, Чириков, Лазаревский и др.) не подают никаких признаков жизни за исключением редкой публицистической воркотни. Останавливаться на ней мы, конечно, не будем.

V

«Талант талантом, но ведь говорят: каждая сосна шумит своему бору. Где мой бор и перед кем мне шуметь?» Так писал о себе в «записной книжке» Ив. Буяин.

С Буниным русский читатель расстался уже давно: писатель покинул свою землю еще в самом начале революции. Бунин один из злыхных, навсегда непримиримых врагов революции. Он не случайно является в настоящее время ближайшим сотрудником «Возрождения», монархически-синодальной газеты, редактируемой П. Струве. Его отчуждение и отречение от русской революции началось тотчас после февраля 1917 года. Бунин, печатавшийся когда-то в передовых марксистских изданиях, всегда бывший реалистом, т.-е. художником, ни на минуту не порывающим связи с живой жизнью, неожиданно оказался среди теней одиноко плачущих над срубленным деревом самодержавия.

В своем дневнике «Окаянные дни», ведшимся в Одессе в 1919 г., во время

первого занятия ее красными войсками, писатель так отзываясь о первой, февральской революции:

«Рота мальчишек из всякой уже науськанной и не желавшей итти на фронт сволочи, явилась к думе—и мы, «доверием и державной волей народа облеченные», закричали на весь мир, что совершилась великая российская революция, что народ теперь головы сложит за нас и за всяческие свободы—конечно и за свободу печати—а главное уж теперь-то пойдет сокрушать немцев до победного конца. И вдобавок ко всему этому разогнали по всей России поголовно всю и всяческую власть. Чудовищное время!»

В качестве дополнения к этой своей мысли, Бунин рисует жанровую картинку из эпохи весенних месяцев 1917 г.

«Ресторан «Прага», людно, носятся полове. Вино запрещено, но почти все пьяны. Музыка сладко режет внутри. Знаменитый либеральный адвокат в военной форме. Огромный, несколько сутулый, толстый в груди и плечах, стрижен ежиком. Так пьян, что кричит на весь ресторан. Требует, чтобы играли: Ойру, Ойру. Его собутельник—земгусар еще пьянее, обнимает и жадно целует его, бешено впиивается ему в губы. Музыка играет заунывно, развратно-томно, потом лихо:

Эх, распоясал,
Ты, мой серый конь, пошел.

И адвокат, подняв толстые плечи и локти, прыгает, подскакивает в такт на диване».

Октябрьская революция, наступившая вслед за февральской, наполнила Бунина не только отвращением, но и страшным гибельным отчаянием. Писатель, всегда уверенный, суховатый и спокойный, оказался в подлинной истерике. Он уехал на Украину, где в то время разыгрывался исторический кукольный фарс с передеваниями. «Щирые» украинские помещики одевали музейные жупаны, огромные, «величиной с Черное море», запорожские паровары и кривые шашки. Потом, когда весь этот маскарадный убор оказался уже ненужным, Бунин перекочевал в Одессу, под белый стяг т. н. добровольческой армии.

Одесские его заметки показательны не только как документы его ненависти к революции, но и как моменты внутреннего его перерождения. Писатель, «никогда не державшийся какой-либо ортодоксальной религии»¹⁾, успокоился под древними церковными сводами.

Одесса, как и Украина, пала под ударами советских войск. Лавина ростовщиков и спекулянтов покатила дальше, к иным, неведомым пределам. Вместе с ними на пароходе «Патрас» уехал и Бунин. Это свое бегство он запечатлел в сильном рассказе «Конец», звучащем, как последнее прощание с родиной и со всей своей прошлой жизнью.

«Вдруг я совсем очнулся, вдруг всего меня озаарило необыкновенно-ярким сознанием, да, так вот оно что—я в Черном море, я на чужом пароходе—плыву в Константинополь. России конец, да и всему, всей моей жизни тоже конец, даже если и случится чудо и мы не погибнем в этой злой и ледяной пучине, только как же это я не понимал, не понял этого раньше, а лишь где-то в глубине души нес какую-то несказанно тяжкую тоску. И от изумления перед своей прежней слепотой я даже вскочил и сел на койке:

— Конец, конец...»

Писатель оказался правым. Старая Россия, та, которая родила, воспитала и прославила своего последнего художника-классика, Россия дворянских усадеб и парков—умерла. Новой России Бунин не понял: его, почти физиологическая, ненависть к трудовым общественным слоям—неизмерима. Она заметно сказалась и в его художественном творчестве эмигрантского периода. Такие рассказы, как о «Дураке Емеле», «Несрочная весна», «Товарищ Дозорный», «Красный Генерал» и «Богиня» написаны под явным влиянием этой ненависти.

Особенно интересен в этом отношении рассказ «Богиня». Сюжет этого рассказа взят из времен Великой Французской Революции, непрерывно заключаемой писателем в насмешливые ковычки. «Богиня»—это Тереза-Анже-

¹⁾ Так писал он в своей «Автобиографии».

лика Обри, артистка, 10 ноября 1793 года игравшая роль Богини Разума. Писатель, посетивший ее забытую могилу на Монмартском кладбище и художественно воскресивший ее портрет, все свои изобразительные силы направил против первой французской революции.

Рассказ «Богиня» относится к новому жанру бунинского творчества. Жанр этот—небольшая новелла, поэма, отдаленно напоминающая стихотворения в прозе Тургенева. Большинство таких поэм, те, где писатель не касается революции: «Звезда любви», «Преображение», «Метеор», «Святитель», «Именины», «Слепой», «Мухи», «Лапти», «Русак», «Слава»,—очень хороши. В них чувствуется прежний, далекий Бунин, его золотая словесная чеканка, его сжатость и экономия, его поразительная вдумчивость и светоносная зоркость в описаниях природы—полевой, лесной, русской. Из всех этих рассказов следует выделить «Звезду любви», «Преображение», «Мухи» и «Славу».

В творчестве Бунина всегда было заметно дыхание смерти. В последнее время, в силу его жестокой отверженности от жизни, оно усилилось. Усилилась и тяжкая тоска о невозвратном. Тоска о невозвратном и, вместе с тем, глубокая, какая-то сверхъестественная злоба особенно ярко выливаются в его последних стихах:

Душа навеки лишена
 Былых надежд, любви и веры.
 Потери нам даны без меры,
 Превращенье к ближнему—без дна.
 Для ненависти, отвращения
 К тому, кто этим ближним был,
 Теперь нет даже выраженья:
 Нас бог и этого лишил.

Стихи Бунина, как и его позднейшие рассказы, далеко неравномерны. Политические, где поэт маскируется «под пророка»,—исключительно слабы, риторичны и мертвы. Лирические—по прежнему хороши.

Все то, чем исполнены последние рассказы и стихи Бунина: любовь к земле, страшная тоска отчуждения, ледяное дыхание смерти, горечь творческой жажды,—все это особенно ярко скавалось в его рассказе «Цикады».

«Цикады» один из лучших по своей музыкальной напевности рассказов Бунина. Лучшим же его произведением за все последние годы, как и вообще лучшим из того, что написано в эмигрантской литературе, является его повесть «Митина любовь».

Бунин—единственный из писателей, которому одинаково удалось изображение и русской деревни, и Цейлона, и помещичьего быта, и быта американского миллиардера.

«Митина любовь»—тема совершенно новая для Бунина. Он часто касался проблемы любви—стоит вспомнить его рассказы «Вера», «Легкое дыхание» и т. д., но он обычно ограничивался только зарисовками, не вдаваясь в детальную, художественную разработку любовного чувства. «Митина любовь» целиком посвящена такой разработке и разрешена с исключительной психологической тонкостью, с великолепно сияющей полнотой. Эта повесть займет место в ряду лучших вещей, написанных Буниным, но она чрезвычайно типична и для Бунина последних лет.

Черное торжество смерти, проникающее ее—все тот же вопль писателя, навсегда потерявшего свой мир, свой быт, свою родину.

Бунин допевает последние песни старой России. Одним из памятников этой России останется его «Митина любовь».

* * *

Бунин выступает иногда с «критическими» статьями. В статье «Июния и Китеж», приуроченной ко дню пятидесятилетия со дня смерти Ал. К. Толстого, он зло обрушивается на поэтов, живущих и работающих в Советской России и, главным образом, на покойного Сергея Есенина. Не зная творчества Есенина, Бунин ограничился несколькими случайными цитатами, ни в какой мере не характерными и не показательными для поэта. Впрочем, противопоставляя Есенину Ал. Толстого, он, даже и здесь, оказался неточным в цитатах. Вспоминая известнейшее стихотворение любимого своего поэта, «Колокольчики мои, цветики степные», Бунин пишет:

... Иль влечу я в светлый град
Со Кремлем престольным,
В Град, где улицы гудят
Звоном колокольным...

между тем, как у Толстого ¹⁾ читаем:

Иль влетим мы в светлый град
Со Кремлем престольным?
Чудно улицы гудят
Гулом колокольным...

В другой статье («Российская челочечина») Бунин, разбирая рассказы Пильняка, Бабеля, Соболя и Сейфуллиной, опять-таки приводит лишь несколько случайных выдержек, подкрепленных злобно-саркастическими послесловиями, суть которых в том, что российская литература—не существует.

Эмигрантская печать вообще часто возвращается к вопросам молодой советской литературы. И если часть ее критики характеризует нашу литературу, как пустыню великого оскудения,—другая часть рассматривает ее как зеркало того «хаоса», который, яко бы, царит в советской стране. Именно такое «положение» развивает Ф. Стедун в своей статье «Мысли о России» («Современные Записки», № 23). В той же статье писатель, сравнивая литературу Советской России с литературой эмиграции, нечаянно проговаривается:

«В Европе живет и работает много более или менее значительных, давно определившихся и давно оцененных мастеров слова. С определенностью ка-

ждого из них связана и хот'единенность друг от друга; каждый—замкнутая скульптура в нише собственного прошлого».

«Скульптура в нише собственного прошлого»...—это сказано хорошо, но не точно.

Тот же самый образ, если расширить его, можно применить ко всей эмигрантской литературе. Литература миграции—литература окаменелой застылости, тишины и забвения. Она погребена под обломками великого крушения—и вход в ее пещеру замкнут тяжким камнем революции. В эмигрантской литературе есть (могут быть и впредь) отдельные художественно-сильные вещи, но они, являясь исключениями, опять-таки напоминают лишь скульптурные изваяния с лицом обреченного и глазами мертвеца. В них, как в одном из Бунинских стихотворений, посвященном девичьему портрету в склепе:

← Венки, лампы, пахнет глечем...

«Мастера слова» находятся за гранью жирой жизни.

Живая жизнь революции имеет свою литературу. Творческий ее поток, несмотря на отмели и пороги, непрестанно усиливается. Он стремится в будущее.

Гул нашего литературного потока и будущий его разлив—тема, выходящая из пределов настоящей статьи.

II. ПО АЛЬМАНАХАМ И СБОРНИКАМ

(Литературный обзор)

Ник. Замошкин

«Московский Альманах». Книга 1-я. Изд. «Моск. Раб.» М. 1926. Стр. 328. «Лемех»—литер.-худож. сборник группы «Лемех» Московская Ассоциация Пролетарских Писателей. М. 1926. Стр. 185. «Недра». Книга 9-ая. Литературно-худож. сборник. Изд. «Недра». М. 1926. Стр. 268. «Свиток» № 4. Сборник литературного общества «Никитинские Субботники». Кооперат. Изд. Писателей «Никитинские Субботники». М. 1926. Стр. 363.

Не всякий сборник может быть назван «сборником» или «альманахом». Альманах, и его ближайший родствен-

ник—сборник, должен иметь свою физиономию, должен волновать читателя «лица не общим выражением». Еще лучше, когда он немножко демонстративен, делает литературную вылазку и когда запоминается. Во всяком случае,

¹⁾ Ал. К. Толстой, — Полное собрание сочинений, изд. А. Ф. Маркса, 1907 г., т. 1, стр. 354—355.

«Страницы альманаха - сборника должны быть современны и даже злободневны. Это оправдывает их появление на свет, придает смысл их существованию. К тому же от альманаха требуем мы строжайшего выбора.

К сожалению, этой строгости редакторской руки нет в четырех альманахах, подлежащих разбору. Вместо «сборников», об'единенных единством воли, мы всего-на-всего имеем собрание сочинений разных авторов (есть такая рубрика в библиографической классификации).

Поэтому мы могли бы нарушать установившийся порядок, т.-е. делать обзор не по отдельным книжкам, а в разбивку, вырывая отдельные произведения (помня, что от перестановки слагаемых сумма не изменится). Но от этой вольности пока воздержимся, так как среди сборников есть два новичка: «Московский Альманах» и «Лемех». Кто знает, может быть, в них найдется, по крайней мере, то, что в частушке называется «выражение на лице».

* * *

«Московский Альманах.»—«Змеевка», повесть К. Минаева.

Чтобы напомнить о Дымовке—для этого не нужно повести. Другое дело—создать образ селькора, типический, человеческий. Тогда и роман был бы к стати. К. Минаев эту разницу не всегда чувствует. Многие страницы его повести могут с успехом конкурировать с газетным отчетом о процессе, снабженным очерком «из зала суда». Может быть, только один мотив делает повесть запоминаемой: селькора убивает озверевшая толпа крестьян, даже бедняки, разгоряченные самогоном, — предсельсоветское кулачье (Житниковы и прочие сытые фамилии) не пожалело денег на спаивание. В остальном—протоколизм, детали, хорошее знание деревни, добросовестность и трудолюбие автора. Качества весьма почтенные, но недостаточные для художественного творчества—писателю нечего бояться belletrической выдумки. К счастью, К. Минаев не злоупотребляет звуковой орфографией в передаче крестьянского языка.

С дореволюционным Житниковым (редкое совпадение!) мы знакомимся по очередной миниатюре П. Романова—«Сенокос». Мужики тут бестолковые, ленивые, полуголодные. Но у них есть выход—в батраки, к Житникову, у которого «косили за угощение и за водку». Как ни сгущал краски Романов, все же получилась идиллическая картинка. Мужички кушают свинину с червяками, а хозяин потчивает, да барыши считает. Прекрасный пейзаж тургеневской России служит фоном для этой идиллии. Спрашивается,—что это: «ты, и убогая, ты, и обильная...» или же скрытое любованье этой убогостью? Романов загадал загадку читателю.

От червивой свинины перейдем к людоедству—в повести А. Окулова—«Хлебунка». Степь. Голод в Поволжье. Сюжетом повести является поездка голодной семьи Панкрата в Москву.—«Там все разберут до последней косточки, найдут настоящее основание...» Сцены этого путешествия показаны автором мелодраматично: за кусок хлеба и три рюмки водки Марфушка продается парню, приехавшему с организацией по оказанию... помощи голодающим; мать, узнав об этом, в отчаянии вешается на железнодорожном колоколе; картины фокстротта и протянутой руки голодающего, сцены во ВЦИК'е—все это подобрано для контрастов. Но от многих страниц повести веет эпической правдой, глубоким проникновением в человечность, в самую суть вещей. Таков, напр., мотив: на миру и смерть красна.—«Страшно одному-то помирать... я рядком приляжу». Автор зря только прибегает к раз'яснениям, которые разжижают впечатление от жизни, напр., восклицание голодающих: «поезд идет... поезд...»—сопровождается авторской ремаркой: «Это звучит,—как призыв к жизни...»

Это—словесный балласт, ничего не прибавляющий к картинности и смыслу сцены.

Смутное, разорванное впечатление оставляет «Гнилое лето» Л. Нисуллина. Написана она не без остроты, но как-то внешне. Мелькают в повести люди (от миллионера до солдата) лета 1917 года. Вся шумная шелудивая Москва керен-

щины. Калейдоскоп положений и людей всех классов общества. Сюжет еле-эле просачивается сквозь это решето. И все же очень трудно сказать—какой же сюжет? Конечно, это не повесть—это просто удачная реконструкция отдельных событий. Запахов гнилого лета не чувствуешь... Стилевая манера повести препятствует внутреннему охвату читателем темы: разорванный диалог, усеченная фразировка и пр. Любопытно, что автор начинает повесть с конца—пролог носит характер эпилога—описывается печальная судьба главных персонажей после 1917 года. Этот прием обратной перспективы у Никулина играет роль аванса, не оплаченного дальнейшим развитием фабулы.

Стихи. Из них «мужские» (Маяковского и Асеева) не плохи. «Женские» явно неудачны и банальны, напр., «Вот вызывают гласом трубным музыканты впереди» — Копыловой. Безделушка В. Инбер о Гавроше парижских и московских баррикад ничем не примечательна.

Таков «Московский Альманах»,—качественно средний, пестрый. Что из того, если одна вещь, может быть, лучше другой, когда нет стержня? Казалось, что тематика, по крайней мере, спасет положение—альманах из мужичьей жизни, но Никулин врезался клином со своими межклассовым людьми-куклами в эту стихию. Альманах не имеет пока даже профиля, о лице же не приходится и говорить.

* * *

Бабушкин, Колос, Гольдберг, Амелия, Андриевский—*новые имена пролетарских писателей из «Лемеха»*. Сборник начинается с предисловия (вместо манифеста). Две выдержки из него: но пока в печати не появился литературный материал, хорошо проработанный группой, ее платформа—звук пустой. Как видите, авторы вполне отдают отчет в серьезности дела, но в то же время они почему-то уверены в *проработанности* своего материала. С последним никак нельзя согласиться. Первый грех, свойственный, пожалуй, всем начинающим; обилие материала,

усложненность, композиционная расплывчатость, отсутствие скрепов и неумение концентрировать свое творческое внимание на главном. Все вещи сборника страдают этим. Как будто жизнь захлестнула авторов (всевозможные трагические и комические комбинации, много действующих лиц, сюжетных отступлений и т. д.). Второй грех: подражательность и желание показать свою образованность—это особенно относится к изображению интеллигенции, которую авторы, по всей вероятности, знают только по наслышке. Кроме истеричности, лодырничества и похабщины (если бы это была сатира, тогда другое дело!) пролетарские авторы ничего не увидели в ней. В бытовом произведении—это тягчайший недостаток, который не искупишь никаким пафосом. Весь сборник на 50% ультрабытовой. Персонажи повестей: слесаря, водники, крестьяне, партизаны и др. Волга, Сибирь. Время—царское и советское. Переходов, светотеней в изображении старого и нового быта нет. Границы между реальной эмпирической действительностью и художественным реализмом не почувствуешь, прочитав эти скучные вещи. Язык (большое место всех «начинающих») тоже не радует—не отшлифованный, сырой, многоводный, но не полноводный. Авторы видят «своего читателя в передовом рабочем и крестьянине» (из предисловия). Но кто внушил им, что только в мелочах быта можно воспроизвести «подлинное лицо революции» (из предисловия)? В большей или меньшей степени все эти недостатки свойственны всем участникам сборника.

Поэты—Андриевский и Амелия. Первый культурнее, вдумчивее, занимается лиризацией таких тем, как «Непонятное»... Второй не сдержался и разразился целой поэмой: «На смену павшему». Кому же неизвестно, что самый слабый, но старательный школьник пишет самые длинные «сочинения»? И все же Амелина выручает неподдельная искренность гражданско-лирических излияний, да и пейзаж ему в общем удается.

Мне легче наметать стог сена на лугу,
Чем написать вот эти строки...

Из письма невесты убитого селькора в поэме Амелина. Это не укор (быль молодцу не укор), а всего лишь напоминание о необходимости учиться и учиться... Судя по отдельным местам рассказов, в которых иногда пробиваются живые нотки и меткие словечки, можно надеяться на лучшее будущее «лемеховцев».

* * *

От новичков переходим к старым знакомцам. «Недра» начинаются повестью Н. Ляшко—«С старору». Повесть не имеет сюжетного хребта. Показана не жизнь рабочих депо, среди которых ведет революционную пропаганду герой повести, а жизнь степи. Да и степная жизнь показана не прямо, а стороной, под углом—как материал для рассуждений подпольщика. Не мудрено, что герой приходит к выводу: «И все-таки мужик лучше, пока его не видишь. Несет от него». Оттого и несет, что подпольщик только трется о мужика, хотя и служит в пастухах. Вся повесть расщеплена авторским замыслом на-двое: не то доказывается, что революционная работа постепенно делается для героя «потребностью», не то центр тяжести повести лежит в изображении природно-мужицкой стихии. Почтенная задача автора—показать рождение и рост человека—будущего деятеля Октября—осталась неразрешенной: внутренний мир героя не раскрыт. Сухой, не без рефлексии, талант Ляшко, тут сказался целиком. Совсем отвлеченно изображается любовь или, точнее, проблема любви (горе Федоса, встреча героя с женщиной у костра). Много в повести разговоров, все участники сходок думают и говорят по-книжному. Глаз отдыхает на ляшковских пейзажах—видишь их, чувствуешь их свежесть, грустную, почти меланхоличную задумчивость. Хороши жанровые картинки (встречи с пастухами и пр.). Ляшко—писатель тихий и попытка его передать пламенную жизнь оказалась беспламенной.

Рассказ В. Светозарова—«Три стены»—совсем особый рассказ. У сильного писателя—это хорошо. У слабого... где тонко, там и рвется. Персонажи—сезон-

ные, деклассированные—из дезертиров и ночлежников, рабочие-строители. Они мечтают выйти в люди,—стать комиссарами... «Три стены»—это символы новой жизни: «первая стена—это жилищный кризис, а вторая стена... это, брат, другого маневра... борьба за новый склад порядков жизни, я ее называю... Сама огромная задача в жизни рабочего—стать справедливой жизни человеком... «Весь рассказ и состоит из осколков разбитой вдребезги жизни героев, желающих опереться на эти стены. Они, модернизованные босяки, очень умные: образы Тициана, Рафаэля мелькают в их воображении; их речь—с претензией на стиль, например, «Колька—человек, по которому еще не прокатилась рысью взмыленная тройка жизни» и т. п. Рассказ ведет сам герой—строитель новой жизни и строитель по своей профессии. В этом двойном строительстве, конечно, есть свой умысел. Авторская игривость; вообще весь рассказ—довольно запутанная игра. Герои—не то протестанты, не то невинные младенцы, нечаянно обнажающие тайны о падших людях. Повествуется все это в каком-то скоморошьем и философском тоне. Автор старается изо всех сил поразить своеобразностью своих героев, их непохожестью. Начинается рассказ [по-фельетонному, по-кольцовски: «Специалисты по разбиванию носов, затылков, ломанию ребер, и вообще по освещению рода человеческого синими цветущими фонарями», а кончается трагически—жена Кольки погибает на улике—от его «коммунистической морали»... Ткань рассказа, тонко сплетенная, поминутно разрывается нарочитой интересностью, отчего внутренней правды и нет в рассказе.

Стихи. Герасимов и Кириллов как-то приглушенно и элегически воспевают героинку 1905 года. Но опять и опять то же Герасимов поет о железе:

Любовь спаянем безгрозным
! Обовьет железной стружкой... и т. д.

Если железо—тема для поэзии, то надо прямо сказать, что не Герасимов—певец железа. Отрадой веет от стихов Б. Ковычева. Правда, эпигонство ему не чуждо, но подлинная лирика всегда немножко архаична и тянет в прошлое.

Лучшей вещью сборника, является рассказ А. Яковлева—«Дикой». От образа лесного человека—угрюмого стража соснового бора—веет звериным мужеством. Охота, жизнь с птицами, лосями, нелюдимость, сила, которая прет... Становится страшно за эту силу и радуешься, что она—вдалеке от людей. Но революция всех хватает и Дикой втягивается в нее. Собственно говоря, он насквозь, от лесной природы своей, конгр-социален, и не он идет к революции, а она идет к нему и находит в нем своего друга. Так переплетаются события, так все переиначивается. Дикой—современная трансформация тургеневского Бирюка. Как Бирюк даром не хотел есть господского хлеба, так и Дикой не может не охранять лес от порубщиков. Он безрассудно идет против всей деревни, борется до изнеможения и побеждает, заставляя мужиков тушить лесной пожар. Замечательно соучастие в борьбе с пожаром Дикого и комиссара, двух разнородных людей. Глаз художника нацупал в Диком, субъективно конгр-революционном типе, полезную силу, объективно революционную. Это чудо совершила революция, в которой полезность определяется не вкусами и симпатиями людей, а их общественной необходимой ролью. Рассказ резко распадается на две части: Дикой вне людей и Дикой среди разнузданной мужичьей стихии. Первая половина—с художественной стороны ценнее. Рождение любви в человеке, ее вспышки, звериная истома и императивность страсти—переданы классически просто: «Дикой поднял ее легко, будто пойманную тетерку, и положил в траву. Он знал, как играют звери и птицы». Во второй половине заметна излишняя динамичность.

* * *

В «Свитке» имеется небольшой роман А. Яковлева—«Человек и пустыня». Три поколения заволжских победителей пустыни—дед, сын и внук Андроновы. Старообрядческая кражистость, апология российской буржуазной нерастроченной силы, гимн энергии и воли—вот лейт-мотив романа. Если хотите, это империалистический роман. Автор любит, как отодвигается вдалеке пустыня под напором капитализма и как ши-

рится колонизация... Андроновы и Артамоновы (у Горького)—явления одного порядка. В романе нет и намека на то, что революция рано или поздно подрежет крылья этой силе. Композиционно роман построен образцово. Действие разворачивается, как пружина. Лаконичны и рельефны словесные жесты у Яковлева, напр.: «Стой, пустыня матушка, отодвигайся,—дед повел рукой, будто отодвигая кого»... Любопытен в романе внук. Конечно, это Курымушка пришвинский. Образы мглы (старуха), змея (голова горы)—родственны курымушкиным образам Голубого, Коцея и пр. У того и у другого здоровый инстинкт побеждает фантазмагории. Вполне законна и другая аналогия: «верь в науку»—слова дяди Курымушки и «науки набирайся»—последний завет старика Андропова.

Рассказ сценарного типа—«Хороший рассказ» покойного Неворова можно было бы не помещать в сборнике, настолько он бледен и случаен.

В стихотворном отделе сборника обращает внимание своим содержанием большая символическая поэма А. В. Луначарского, написанная в 1921 году,—«Концерт». В. В. Вересаев дал новый перевод Гомеровых гимнов—«К Аполлону Пифийскому». Очень любопытно стихотворение Герасимова—«Я в жизни был сильный и ловкий». Одну строфу из него следует запомнить:

Ах, столько воли и усилий,
Так я бился и мечтал,
Чтоб вместо сердца мне не влизи
Расплавленный металл!..

Стихи о железе и] есть тот расплавленный металл, которым захлебнулся поэт. Интересны раздумья М. Волошина—«Опять бреду я босоногий». Пластически выдержан «Сонет о сонете» К. Лавровой. С раздумьями об Иване Грозном выступил Кириллов. Мало оригинальные стихи о синих рельсах от Москвы до Берлина поместила В. Инбер. Литературно-критические отделы в альманахах, как общее правило, придают им воинственный вид. Но это только в том случае, когда в них материал не исторический. «Свиток» же количественно богат, гл. обр., историко-литературным материалом, материалом не альманашного типа.

П. Перцов вспоминает о поэтическом безвременьи 90-х годов и о заре символизма. Его статья—памятка об исчезнувших поэтах, когда-то волновавших публику: тут и Гербановский, и Дренгельн, и Жуковский... Автор довольно круто и с некоторым запозданием, «задним числом», расправляется с критикой Михайловского, Скабичевского, Вейнберга.

О встрече с Брюсовым в Крыму пишет Л. Гроссман. Брюсова он видел без той «сурово-непроницаемой маски», которую носил всю жизнь поэт. В этюде об Ахматовой Гроссман говорит, что популярность поэтессы среди интеллигенции об'ясняется трагическим стилем ее поэзии. Жаль только, что этот трагизм не доказывается, а импрессионистически раскрывается. Этюду определенно не достает социальных предпосылок.

И. Розанов затронул интереснейший вопрос о «славе» писательской. На примере литературной репутации Тютчева автор довольно пессимистически заклю-

чает о бренности писательской славы. Думаем, что пессимизму в этих вопросах не должно быть места,—не надо забывать того, что отзывы современников всегда бывают наполовину «читательскими» и следуют формуле: «интересно—неинтересно». И если Некрасов (и Л. Толстой—добавим мы) первый оценил Тютчева, то принципиально это ничем не отличается от плохой оценки, данной Пушкиным. Было бы интересно применить марксистский метод к этому общественно-важному явлению, ибо всякая слава находит почву только в коллективе.

К литературному наследству В. В. Воровского мало прибавит его статья о Чирикове. Впрочем, в ней имеется четкая мысль о логике художественного творчества—символическое проиаведение требует не только соответствующего времени и места действия, но и правдоподобия характеров и взаимоотношений их.

III. ОКОЛО ЕСЕНИНА

Борис Анибал

Неожиданная и трагическая смерть Сергея Есенина пробудила к нему, как к поэту и как к человеку, громадный интерес.

Даже заслуженные и маститые читатели разных переводных Петровых и Ивановых и прочих Берроузов и те заинтересовались им самим и его стихами. До этого они знали Есенина лишь по наслышке,—как отчаянного парня, летавшего куда-то с Дункан, любившего выпить и, между прочим, пописывавшего стишки.

Конечно, их, главным образом, интересовала его жизнь и в особенности подробности и детальные причины самоубийства.

Так создался спрос.

Серьезные исследования и работы о поэте еще впереди. Сейчас еще слишком живо впечатление от его неожиданной смерти, он еще слишком близко

стоит к нам для того, чтобы писать о нем спокойно и ретроспективно.

Но заслуженным и маститым читателям эти добросовестные исследования вовсе неинтересны, им надо легкое изложение, в котором все бы было понятно и любопытно. Не дожидаясь этих исследований они вежливо, но энергично настаивали на своем и, бегая из одного книжного магазина в другой, неизменно спрашивали:

— А о смерти Есенина есть что-нибудь?..

И ведь нашлось, и нашлось скоро, пожалуйста, почитайте!

* * *

Первым откликнулся на их призыв давно забытый и лишь изредка невнятно произносящий что-нибудь невнятное—заумник А. Крученых. В ударном порядке он издал тощую брошюру с интригующим заглавием — «Драма

Есенина»¹⁾. Книжка разошлась почти моментально и он, до времени оставив, вероятно и ему надоевшие, теоретические изыскания в темных областях заумного языка, переименовал заглавие на более сильное—«Гибель Есенина»²⁾—и в еще более ударном порядке дал второе издание.

Но на этом дело не кончилось: сейчас вышло третье издание³⁾ и, несмотря на все возрастающий тираж книжки (2-е изд.—3.000 экз., 3-е изд.—5.000 экз.), мы ничем, к сожалению, не гарантированы, что она выйдет и четвертым, и пятым.

Что же замечательного написал Крученых, если этот последний его труд привлекает к себе такое небывалое и удивительное для его сочинений внимание.

«Гибель Есенина» имеет не менее интригующий, чем заглавие, подзаголовок—«Как Есенин пришел к самоубийству». Но в освещении этого вопроса он не дал ничего нового, лишь повторив все то, что писалось и говорилось о самоубийстве поэта.

Оценку причин самоубийства Крученых заимствует у Л. Д. Троцкого, письмо которого, читанное на траурном заседании в МХАТ'е (было напечатано в «Известиях» и «Правде»), среди всех появившихся в прессе статей и заметок вскрывает их существо наиболее убедительно.

Итак, рассуждения маститого кубофутуриста о смерти Есенина в общем не дают ничего нового, но его досужие домыслы о покойном, как о поэте, возвращают образ последнего.

Касаясь его творчества, он снисходительно замечает: «у Есенина был некоторый талант» (стр. 8)⁴⁾. Далее следуют рассуждения о мастерстве поэта, о том, как Есенин не умел управлять своим талантом.

Надо очень долго заниматься проблемами заумности для того, чтобы не понять, что сила Есенина—в его необычайной певучести; подходить к нему с аршином метрики, строфики и эвфонии—значит совсем не знать существа его певучести, взрывавшей все сухие законы стихологии и не укладывающейся в них.

Певучесть Бальмонта, некогда утверждавшего:

Кто равен мне в моей певучей силе?

Никто, никто.

с певучестью Есенина несравнима, уступая ей в органичности и стихийности.

Заключая свою тощую и малокровную работу, Крученых говорит: «*тупое, беспросветное нитье* Есенина у есенистов делает их «поэзию»—(ковочки автора, курсив мой. Б. А.) *воем* кандидатов в самоубийцы» (Стр. 10).

Престарелое enfant terrible русской литературы — Крученых — одинаково равнодушно пишет и о Ваньке-Каине с Сонькой Манижурщицей и о смерти Есенина. Начав унылым «дыр-бул-шыл'ом» ныне он превращается в критика без всякого метода и с сомнительными приемами, последняя работа которого едва ли удовлетворяет всем требованиям пристойности.

* * *

Вслед за первой своей книжкой сей кубо-футурист выпустил вторую—«Есенин и Москва кабацкая»¹⁾. Характер ее и ценность ни в чем не уступают первой.

Тем маститым и заслуженным, о которых говорилось в начале статьи, Крученых несомненно угодил, на это указывает третье издание и возрастающий тираж первой книжки.

Правда, он не сообщил им *подробностей и деталей* самоубийства, но зато решил и из'яснил все так просто и понятно, что, пожалуй, можно обойтись и без деталей.

Оба его «труда»—образцовая халтура, наспех сработанная и выброшенная на рынок. Никакого значенья они, конечно, не имеют.

¹⁾ А. Крученых. «Драма Есенина». М. 1926. Изд. В.С.П. Стр. 16.

²⁾ Его же, «Гибель Есенина» (Как Есенин пришел к самоубийству). 2-ое испр. изд. «Драма Есенина». М. 1926. Изд. автора. Стр. 16. Тир. 3.000. Цена 20 коп.

³⁾ Его же, «Гибель Есенина» (Как Есенин пришел к самоубийству). 3-е доп. изд. М. 1926. Изд. автора. Стр. 18. Тир. 5.000. Ц. 20 к.

⁴⁾ Цитирую по 2 изд. «Д. Е.»

¹⁾ А. Крученых, «Есенин и Москва кабацкая». Изд. автора. М. 1926. Стр. 32. Тир. 3.000. Ц. 30 к.

* * *

«Памятка о Сергее Есенине»¹⁾ выпущена столь же быстро и также в ответ на тот интерес, который возбудило его самоубийство.

Но издательство «Сегодня» постаралось оправдать свою излишнюю торопливость соответствующим предисловием, написанным высоким стилем и начинающимся так:

«Всеобщая скорбь от трагической кончины Сергея Есенина—безмерна».

«День его смерти и траурные дни, следовавшие затем, эта печальная эпопея сначала смутных слухов, в дальнейшем превратившихся в ужасный факт... щемящая боль непоправимой утраты— все это требует закрепления сейчас же... пока детали... не стертые слабеющей памятью... (стр. 5).

Несмотря на всю сомнительность траурного пафоса предисловия—причины создания «Памятки», указанные в нем, в какой-то мере заслуживают внимания.

В этой книжке даны три автобиографии поэта (третья написана в октябре 1925 г. и печатается впервые), хроника событий его смерти, пять посмертных стихотворений (из них одно—«Синий туман. Снеговое раздолье»—очень значительно), факсимиле стихотворения 1916 г., библиография творчества и перечень важнейших статей и заметок, вызванных его кончиной. Кроме того, в «Памятке» помещены фотографии Есенина в разные годы жизни и в гробу и фотографии отдельных моментов его похорон.

Несомненно желание и стремление составителя этой книжки В. И. Вольпина, при всей спешности ее выпуска, подобрать материал наиболее внимательно и, не говоря ничего от себя, ограничиться задачами летописца.

* * *

Воспоминания Ивана Розанова²⁾, вышедшие почти одновременно с «Памят-

¹⁾ «Памятка о Сергее Есенине». Изд. «Сегодня». М. 1926. Стр. 61. Тир. 6.000. Ц. 60 к.

²⁾ Иван Розанов, «Есенин о себе и других». Изд. «Никитинские Субботники». М. 1926. Стр. 24. Тир. 5.000. Ц. 25 к.

кой» и вслед за опередившими все издательские помыслы брошюрками Крученых, по сравнению с ними наиболее интересны.

В них Розанов, лично знавший поэта, собрал свои беседы с ним о его литературных вкусах, творческих замыслах и работе.

Отдельные замечания и признания Есенина очень интересны.

Вот отзыв о Блоке:

«Блок много говорит о родине, но настоящего ощущения родины у него нет. Недаром он и сам признается, что в его жилах на три четверти кровь немецкая» (стр. 10).

О Маяковском:

«Маяковского... считаю я очень ярким поэтом, но лишенным духа новаторства: он весь идет от Уитмена. А главное,—у него нет поэтического мироощущения» (ibid).

Дальше узнаем, что «Пугачев» не первое драматическое произведение, написанное им, первым был—«Крестьянский пир», печатавшийся в «Скифах» и уничтоженный им в гранках, о чем он впоследствии жалел.

Записанная Розановым со слов Есенина автобиография—весьма любопытна. Отличаясь от уже известных его автобиографий («Новой Русской книги», «Красной Нивы» и опубликованной «Памяткой»), она, несколько не совпадая с ними, сообщает новые данные о поэте и о пережитых им влияниях.

Если бы автор воспоминаний, в знаниях и умении которого сомневаться не приходится, не так спешил, увлекаемый спросом, с выпуском этой книжки и проработал бы тему до конца, то получилась бы весьма интересная работа, сейчас же мы имеем лишь ее осколки.

* * *

Только что собирался кончить эту заметку, как Крученых, неподражаемый по своей быстроте, выпустил новую книжку, пятую по счету (считая повторные издания «Драмы Есенина»).

Называется она—«Черная тайна Есенина»¹⁾. На обложке ее и на первой

¹⁾ А. Крученых «Черная тайна Есенина» Изд. автора. М. 1926. Стр. 24. Тир. 5.000. Ц. 25 к.

странице ваксой нарисовано по негру, которых некая художница (?) Кулагина пытается выдать за Есенина. Невежливо, но факт!

Лавры Понсон-дю-Терайля беспоят Крученых. Это очевидно. Книжка его имеет подзаголовок: 1. Траурные катафалки. 2. Чего не знают о Есенине. 3. Во вне или внутри. 4. Мания преследования. 5. Чорный человек.

Да ведь это же роман и роман бульварный. О, неуваждаемый Рокамболь! На обложке недостает только пистолета и полумаски (впрочем, на негре она неважна). При чем же тут Есенин?

Оказывается, что очень при чем. Крученых только о нем и пишет, как и в

трех изданиях «Драмы Есенина» и в «Есенин и Москва кабацкая», но в данном случае он концентрирует свое внимание на образах «Чорного человека», которые «являются не столь интуитивно-поэтическими..., сколь практически-клиническими» (стр. 17).

Крученых халтурит совершенно беззастенчиво; в течение трех месяцев со дня смерти поэта он успел издать пять книг о нем и мы, к сожалению, ничем не ограждены от того, что к годовщине он не выпустит еще двадцать. Считаться с ними серьезно не приходится и над Крученых можно только смеяться или нещадно его ругать, спорить с ним, очевидно, бесполезно.

IV. О СОВРЕМЕННОЙ НЕМЕЦКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Р. Куллз

Сумасшедший темп жизни последнего десятилетия сказался особенно резко и отчетливо на глубоком сдвиге психики представителей литературы в Германии. Немецкие писатели, критики и читатели десять лет мечутся в поисках твердой почвы, ускользнувшей из-под ног с началом империалистической войны.

В пестром клубке противоречий резко обнажилась прежде всего классовая подоплека художественных настроений современной Германии. Двумя четко отточенными гранями противостоят мирозерцания интеллигенции с ее группировками — буржуазными и социалистическими — и небольшой группы коммунистического молодняка, только вступающего в литературу.

Печать эпохи — смутной, беспокойной и неясной в ее переходности — лежит на всех писателях и поэтах сегодняшней немецкой литературы, в которой революции не произошло, но уже обнажились симптомы предреволюционных лихорадок.

Романтизм не борется больше с натурализмом, экспрессионизм, привлекавший еще так недавно все внимание писателей, вырождается в литературное клише, импрессионизм остался на

долю уж совсем упрямых ветеранов. Литературные школы в своих навазиях и ориентациях еще не определились, но явственно намечается эклектизм основных линий повествовательных приемов, не блестящих ни особой новизной, ни знаменующих характера достижений.

Современный социальный и авантюрный роман — эти две преобладающие формы большого повествовательного жанра — густо насыщены психологизмом и свидетельствуют о склонности авторов к стилистическому орнаменту, своеобразной культуре языка и к отступлениям в сторону пейзажных описаний и психологических мотивировок характеров, нравов и быта. Отсюда преобладающая тематика современности, жизнь общества и отдельных его слоев до, во время и после войны.

Современный социальный роман в Германии — психологический, семейный, бытовой и нравоописательный или авантюрный — культивируется представителями как крайних социально-философских исповеданий, так и всей промежуточной массой писателей, не нашедших путей к большим и самостоятельным достижениям.

Генрих Манн, издавна склонный к «большим полотнам», закончил свою трилогию «Империя». Широко задуманная серия романов, с подзаголовком «Романы немецкого общества времен Вильгельма II», должна охватить целое тридцатилетие в долевым и попереочном его разрезах. Своеобразная эпопея немцев рубежа двух столетий. Первая часть трилогии — «Верноподданный» — рисует жизнь и нравы среднего мешанства — бюргеров. Этот роман известен русскому читателю, т. к. он появился в переводе раньше, чем добродетельная немецкая цензура решилась пропустить его в Германии. Вторая часть — «Бедняки» — роман пролетария. Для Г. Манна с его приемами психологического импрессионизма тема определяется тем памфлетно-сатирическим заданием, которое он себе ставит в этой трилогии. Только что вышедшая третья часть — «Вожжи» — трактует все ту же тему: путь к власти и могуществу ценой компромиссов, сделок с совестью и пр. Острыми иглами сатиры истыканы все описания общества, нравов и характеров. Литературная физиономия Г. Манна, как и его брата Томаса, в наши дни уже вполне определилась и ждать от них, как, впрочем, и от других «стариков» — Я. Вассермана, Г. Гауптмана и проч., — новшества не приходится. Все в тех же тонах и приемах остается и Макс Кретцер в своем последнем романе «Обманутые». Характерно, что почти все писатели, создавшие себе имя до войны и революции, как-то неохотно подходят к темам животрепещущей современности. Они ее не умеют оценить, осмыслить, художественно об'ективировать. Они предпочитают «кануны», ограничиваются добросовестным освещением людей и их психологии, быта и нравов. События берутся за 10—20 лет, анализируются характеры персонажей, об'ясняется социальная обстановка; затем — прыжок в войну, взрыв патриотического энтузиазма вначале, страдания и трудности окопов, затем.. или смерть, или ряд мажор, которые автор надевает на своих действующих лиц. Так строит Г. Манн, Ганс Гайк, Даудистель и мн. др.

Клара Фибих не решается и на это. Она в своем последнем романе «Одинокий человек» заставляет героя встретить первые раскаты войны в таком возрасте, когда ему впору греться на солнышке и нянчиться с маленьким впуком.

Такой «разбег» на пару десятилетий, чтобы прыгнуть в неизвестность, весьма недвусмысленно характеризует не только отношение авторов к вопросам тематики, но и их понимание задач писателя. Выйти с залежавшимися оценками на торжище новых времен может или очень дерзкий, или весьма крупный художник. И если в Г. Гайке и А. Даудистель мы видим больше художественных дерзаний, то ярко выраженную систему довоенных оценок мы находим у целого ряда писателей, оставшихся и тематически на пороге нового времени. Эта группа, очевидно, болезненно пережившая и войну и революцию, повернула свои упования и надежды в область «потусторонних» интересов, культивируя окултизм и всяческую мистику.

Но о них мы поговорим особо, предварительно же вернемся к дерзателям, по-разному оценивающим свое время, но одинаково строящим свои произведения. Г. Гайк в романе «Современник» подробно описывает весьма не симпатичного юношу Ганса Фастердинга, типичное порождение Берлина, дитя большого города и средней интеллигентской семьи. Эмоциональный, неуравновешенный красноречивый, этот юноша презирает учителей, науки и учебные заведения, стремясь к карьере артиста. Шалости амурные и дерзкое самомнение не дают ему возможности окончить средней школы ни в Берлине, ни в провинции. Вернувшись в Берлин, он поступает в студию талантливого артиста, который вскоре же отказывается от этого ученика, не скрывая, что сценического таланта у него нет. Фастердинг этого допустить не может. У него! Нет таланта? — Чепуха, просто учитель педант и завистник. Он отправляется в путешествие. В Италии его застают об'явление войны. Война, окопы, битвы, быстрые переброски с фронтов на фронты и ра-

стущее глухое недовольство, озлобление... Ганс становится политическим деятелем советов рабочих и солдатских депутатов. Деятельность его далеко не безупречна в смысле бескорыстной преданности интересам революции, но, в конце концов, и это проходит ему безнаказанно. Он вновь в Берлине, но работы нет, приходится в кабаках играть на гитаре. Неожиданно ему повезло. На улице ему отвесил пощечину посторонний человек. При падении Ганс разбил себе голову. Оказалось, что оскорбитель богатый человек и Ганс выигрывает по иску за «потерю трудоспособности» ренту в 100 марок ежемесячно. Он доволен..., но доволен ли читатель таким «современником»? Таково ли в самом деле поколение немцев, делавших войну и проигравших революцию? Спросим об этом Альберта Даудистеля, дающего тот же план в романе «Жертва».

Роман построен тоже с «разбегом» на два десятилетия. Мальчик, сын шахтера, Гейнрих Хельцель, остается сиротой и бежит из дому от мрачной перспективы подмастерья на потычках. Корабль, трюм, юнга, скитания по белу свету, все профессии, прожженная до костей, уверенность в жизни и ее требованиях. Начав с газет, Хельцель расторговался и имел уже большое книжно-комиссионное дело, не брезгуя и другими видами доходов. Во время войны наш герой попадает матросом в действующий флот и быстро постигает закулисную сторону войны, начинает тяготиться службой и бессмысленностью бойни. Он становится революционером, организует восстание на корабле. Попытка, однако, оканчивается неудачей, в результате 20 лет каторги, но достигнуто и другое: создано ядро революционеров-моряков и выковалась непреоборимая вера в победу революции. Через тысячи хитростей и симуляций он спасается из ужасного места заключения. Самые сильные страницы романа это те, которые описывают ужасы режима и жизни дисциплинарных лагерей. Постепенно времена изменились, революционные узды окрепли и с момента вспыхнувшей революции Хельцель становится

ее вождем. Но пьяное вино свободы порождает тяжелое похмелье. Революцию не сумели удержать в руках. Буржуазия сорганизовалась, социал-демократия предала и свобода плавает в потоках крови. Хельцель падает жертвой революции, защищая ее до последнего издыхания.

Кого же было больше—Фастердингов или Хельцелей? Очевидно,—Фастердингов, если судить по результатам войны и революции, если верить свидетельству и других современных повествователей.

Не все сразу с полей сражения пришли домой, не все принимали участие по ту или эту сторону баррикад во время революции. Были и такие, которые протомились в плену большую часть войны и все время революции. Базиль Зальмасер—в романе Юлленберга «Свет в болоте»—возвращается на родину после пятилетнего плена. То, что он там находит, поражает его сознание, будоражит его чувства. Отец умер, родной дом и клочок земли проданы, кругом нищета и разорение. Людей, родных немцев также не узнать: страсти разнуздались, царит тупой бездушный эгоизм, интересы сосредоточены исключительно на удовлетворении малых и больших потребностей, страсть к наживе и все способы обмана затуманили головы его земляков. Зальмасер мечется, как раненый зверь, посылает небу и людям свои проклятия и удаляется от людей, идет в болото Алльгой. В работе,—упорной, сознательной работе,—находит пути к познанию природы и приходит к миру и людям через сложные этапы замкнутости в себе...

Роман построен так, что оставляет простор для мыслей читателя, конечно, усмотревшего в нем символ предзнаменения и исторических путей Германии, после бедствий и поражений обновляющейся через уединение и замкнутость в себе. Социальная значимость такого идеалистического подхода к проблемам современности, разумеется, не велика, но весьма показательны и суждения читателей и самое творчество таких писателей для характеристики одной из граней противостоящих воззрений, о которых мы говорили выше.

Еще в большей степени характеризует эти идеалистические воззрения группа писателей, совсем ушедших в себя и в теософические настроения.

Теодор Этцель, известный своими баснями, далеко не лишенными сатирического оттенка, в романе «Последующая жизнь» рисует нам «хождение души» после смерти тела. Это такая беспочвенная, но сложная абракадабра, что мы ее положительно не в состоянии уместить в нашем трезвом сознании.

Другой писатель этой группы — Ганс Бранденбург, уже говоривший своим читателям и о «Вечных голосах» и о «Торжестве жертвы», занимает их внимание большим своим романом «Комната юности», построенным в весьма сложном плане переплетающихся «судеб» трех поколений, предназначенных которых роковым образом запутаны в клубке мистических предначертаний, нисходящих от дедушек и бабушек к внукам и внучкам.

Чтобы не слишком утомлять внимание нашего читателя, все равно не склонного проникаться флюидами, исходящими из астральных тел произведений немецких художников-теософов, мы перейдем к рассмотрению ряда таких романов, в которых трезвее и беспритязательнее «отразился век и современный человек».

Бесспорно, та живая ткань жизни, которая нарастает на затягивающихся язвах большого социального тела страны, привлекает внимание современных писателей больше, чем мистика. Жизнь входит в берега, ураганы, бросавшие корабль из края в край, пролетели и отбушевали... Надо собирать уцелевший инвентарь, чинить повреждения и подводить пластырь под пробоины. Но далеко неравномерно и не с одинаковым энтузиазмом работают корабельщики: отсутствие общих программ и планов, хаотичность хозяйства, падающая марка, интриги на верхах, алчность и упрямство разных «влиятельных», нищета и недоверие масс, — все это настолько усложняет дело починки общественного корабля, что работы дружной и планомерной отметить

не может ни один из писателей. В длинной цепи романов звено за звеном проходят перед нами картины послевоенной и пореволюционной жизни от верхов до низов, от биржи, заводов, театров и церкви до простейших ячеек, — семьи и индивидуума — и нигде, нигде читатель не может найти гармоничного ритма. Везде перебои, хищения, личные выгоды, радение «родному человеку», провалы и дезорганизация.

Самым талантливым изображением нынешней Германии является роман Бернгарда Келлермана «Братья Шелленберг». Этим своим последним романом писатель окончательно утверждает, что его талант — звезда первой величины. Поражает многогранность его дарования. И никогда Келлерман не повторяет себя, в каждом новом произведении он обращает к читателю новый лик. «Море» и «Туннель», «9-е ноября» и «Случай Шведенклея», наконец, последний упомянутый уже роман — какие это все разные вещи!

Братья Шелленберги — Венцель и Микаэль — дети своего века, расцвет деятельности которых падает на годичную испытаний их родины. Хозяйственно-политический кризис, система инфляции, резко соприкасающиеся грани всеобщей нищеты и фантастической роскоши небольшой группы ловких дельцов служат фоном роману и обстановкой, в которой действуют братья. Но Микаэль охвачен мыслью спасти родину из хаоса хозяйственной разрухи путем создания разработанной им системы обновления сельского хозяйства. Он строит громадные города-сады, занимает заброшенные и невозделанные участки земель, превращая их в культурные сельскохозяйственные очаги, строя на них фабрики и городки-поселки для рабочих. Он дает работу сотне тысяч голодных и бесприютных инвалидов войны, уменьшает число безработных и мечтает о возрождении Германии по своей программе, украшенной девизом: «Смерть голоду! смерть болезням! Да здравствует солидарность!». Эта наивная система социальных реформ Микаэля, игнорирующая вопросы классовых противоречий, раскрывает один план

романа. Другой—в деятельности другого Шелленберга—Венцеля. Он—откровенный и весьма изворотливый спекулянт-делец весьма крупного масштаба. Начав с маленьких операций в кредит, Венцель быстро становится королем рынка и биржи. Ворочая миллионами, владея дворцами, фабриками, землями и скаковыми конюшнями, Венцель Шелленберг вырастает в громадную символическую фигуру капиталистической Германии. Любопытно то, что самого Венцеля подсекает ничтожный предрассудок: он оказался в положении смешного роконосца... Как же теперь быть ему, всемогущему Шелленбергу, с мешанским клеймом обманутого мужа? Это ли не «катастрофа»? Залепив публично оплеуху любовнику своей жены, он уходит от всех дел, резко порывая со своей прежней жизнью и принимается за продолжение планов умершего брата Микаэля, несмотря на то, что еще так недавно он эти самые планы презирал. Типичная фигура беспринципного дельца беспринципного времени!.. Но общая картина современной Германии написана потрясающе правдиво и с весьма глубоким захватом.

Этот мир дельцов, спекулянтов и бесшабашных предпринимателей, конечно, весьма показателен и заставляет задуматься о тех, из чьей шкуры выколачиваются все источники доходов небольшой группы калифов на черный час Германии. Бегло описывает Келлерман рабочих, строящих поселки Микаэля Шелленберга, голодных инвалидов войны; неудачников жизни и обездоленных войной и безвременьем крестьян. Один из этой большой серой массы стреляет в Микаэля, думая убить Венцеля, о котором он слышал, как о вредном пауке-кровососе. Но пролетариат Германии в романе не показан. Такая задача была бы не по плечу автору, идеологически с пролетариатом не связанному.

Однако, пробел этот отчасти восполняется творчеством Франца Юнга и пока еще весьма небольшой группы его единомышленников, перечислить которых трудно потому, что слишком зыбки еще их достижения и слишком

много публицистики в их художественных оформлениях, чтобы рассматривать их, как художников. Франц Юнг имеет уже вполне определенную литературную физиономию, в которой черты публициста и борца выражены подчеркнуто-выпукло, часто за счет линий эстетической закругленности. Беда ли это? Едва ли, если принять в соображение арену деятельности и задания писателя, сумевшего сказать значительное слово в таких произведениях, как «Рабочий поселок», «Красная неделя», «Завоевание машин», «Пролетарий» и др. Эти колкие произведения переведены на русский язык и наш читатель с ними знаком. Поэтому мы не будем подробно останавливаться на отдельных книгах этого молодого пролетарского писателя Германии.

Отметим несколько литературных явлений, относящихся к так называемому «семейно-бытовому» роману. Этот вид повествовательного жанра всегда культивировался в Германии с большим успехом, особенно писательницами. Как домашнее рукоделие, плелись хитрые узоры благодушного повествования из жизни великосветских кругов Идой Ган-Ган, Фанни Левланд, Е. Марлитт и др. В начале нашего столетия таких барынь-романисток перестали читать. Им пришли на смену более крепкие буржуазные писательницы: Клара Фибих, Рикарда Хух, Берта Зуттнер, Мария делле Грация и мн. др. Конечно, проблема «женской эмансипации» их особенно интересовала. Но эта традиция устарела для нашего времени и современные писательницы выпили также немало глотков из горького кубка своего времени. Фрида Краце импрессионистически повествует о катастрофах и кризисах в сознании и бытии эмоционально напряженных людей; Илька Кунингль-Эренбург рассказывает о борениях и порываниях молодого Вартенштейна, который в угоду отцу должен изучать «право», будучи артистом-музыкантом («Книга о счастье»); Елизавета Крукенберг пытается разрешить старую проблему борьбы с бедностью путем

благотворительности... Ну, конечно, примитивность социальных взглядов автора не удовлетворит вдумчивого читателя, но наведет его на серьезные размышления о том, как глубоко должно быть страдание страны, если даже благодушные буржуазки пишут романы не о любви и радостных утехах, а о нищете и болях.

Старый быт дал большие трещины. Переходные и довольно уродливые отношения устанавливаются между полами на фоне распада буржуазной семьи. Мужчина пришел с полей сражения, опаленный газами и обкуренный дымами огневых завес, он потребовал «новой» женщины.

Попытку нарисовать таких «новых» любовников, утверждающих свободный союз любящих и презирающих «приличия», делает Ганс фон Гаммерштейн в романе «Февраль». Но это почти одинокая попытка. Обычно «новые формы» сводятся к весьма старым фигурам адюльтера, содержанки, маленькой артисточки и т. п. Показательны в этом отношении бытовые романы Пауля Хоккера и Ф. Кобнера, рисующие исключительно мир артистической сцены и кино.

Мы не будем останавливаться на исторических романах, которыми богата современная немецкая литература, по крайней мере количественно. Исторические «трилогии» — повседневное явление. Печаль безвременья и горечь поражения заставляют авторов уходить в героическое прошлое родины и там искать утешений и сил для кажущегося примирения с безысходной действительностью.

Заслуживает упоминания особая серия, правда, не романов, но не уступающих им по читательскому спросу материалов, выходящих выпусками в прекрасном издании Р. Леонарда в Берлине, «Отщепенцы общества», с подзаголовком «Преступления современности». Для составления этих книжек в их переплетах привлечены известнейшие писатели Германии и других стран. Намечено к изданию 32 тома, до конца 1925 года вышло 10. Среди авторов встречаем имена Анри Барбюсса, Карла Федерна — зна-

тока Италии эпохи возрождения, Рене Шиккеле — интересного новеллиста из Эльзаса, пишущего по-немецки, Ганса Райзера — известного современного новеллиста и пр. По темам серия представляет собой богатейший материал современной преступности: государственной, социальной, политической, сексуальной и т. д. «Процесс московских социалистов-революционеров» «Процессы Кайо», «Процесс Хармана» — известного убийцы-педераста из Гамбурга и т. д.

Повидимому, серия пользуется большой популярностью: в чтении бесконечных томов о пороках и преступлениях современный немец находит какое-то особо сладострастное наслаждение, сходное с тем, какое испытывали французы, увлекавшиеся пошлой бульварщиной в эпоху второй империи. Есть что-то общее между чтением криминальщины и чтением тех мистико-теософических романов, о которых мы говорили выше.

Другой, не менее заманчивой для современного немецкого читателя духовной пищей является авантюрный роман всех видов. Немцы никогда не достигали большой самостоятельности в области этого жанра, питаются или переводами, или подражаниями Жюльо Верну, Фенимору Куперу, Майн Риду и т. д. Взрослые редко читали такие романы. В современной пореволюционной литературе наблюдается более оживленный интерес к роману приключений, при чем за счет криминально-сыщичьего романа, питавшего нежный возраст предшествующего поколения, склонность читателей растет к путешествиям, экзотике и псевдоисторическому прошлому. В этом спросе сказывается не только отношение немцев к судьбе своих колоний, но и утомление от психологизма в литературе и потребность в оживлении фабулы, в динамике быстро развивающегося действия, богатого опасностями, критическими положениями и напряжением ситуации. Это тоже результат кризиса экспрессионизма.

До какой степени вкус к романам приключений обострен в настоящее время, можно видеть из того, что решительно все, имеющие успех у читателей романы в той или иной степени заключают в себе черты и приемы авантюрного романа. От этих черт не свободен и боевик сегодняшней моды, упоминавшийся уже роман Б. Келлермана «Братья Шелленберг».

Среди большого количества современных романов приключений останавливает внимание вещь молодого и несомненно талантливого писателя Ганса Райзера «Чепенс Биншам-бродяга». И по композиции и по фабуле — это авантюрный роман, по фону и настроениям — социально-бытовой.

Биншам — принципиальный, органический бродяга, беспризорный человек, психологический гротеск, получившийся в результате войны и безвременья. Не все могли кропотливо связывать какие-то распавшиеся концы цепи личных и общественных отношений, иным — людям типа Биншам — это было непереносно. Он не имеет дома, не хочет его иметь и не ищет постоянного пристанища. Это философия протестантов против всякого социального уклада. Есть в этом герое что-то от Руссо, Дефо и Свифта... Условности «цивилизации» его делят, он от них уходит. Роман насыщен любовными приключениями героя, терпкими обнаженно-вульгарными, с точки зрения утонченной извращенности представителей «культуры», тонущих в вавилонском разврате больших городов.

Такой герой прошел через все литературы, принимая обличья времен и народов, добрал и до последнего своего воплощения под маской Биншам. Непосредственная, улениспигелевская закатка делает его легким и быстрым, подлинным героем авантюрного романа. И вот перед нами последний потомок своих литературных предков, в иных костюмах и под иными именами — Жиль Блазов, Симплициссимусов, Улениспигелей и проч. и проч., чаровавших прадедушек и прабабушек современного читателя, не всегда умеющего под новой маской открыть лицо старого знакомого.

Другой характерный роман современности, тоже авантюрный, принадлежит Рихарду Эйрингеру, мало известному у нас, но весьма талантливому писателю. Этот роман — «Пинкепоттель и его друзья» — примыкает к другому типу международного романа приключений, наиболее знакомым представителем которого является Жюль Верн. Печать современности лежит на каждой странице этого романа. Пинкепоттель — миллиардер, газетный король и чудака из Нью-Йорка, человек, который залез во все щели жизни. Он организует полет на северный полюс, избрав себе в спутники по одному представителю от каждой расы и национальности, имеющих на земле. Все эти люди должны быть веселыми и не знать никакой профессии. Интернациональные весельчаки объединяются на почве презрения ко всему «серьезному» и технически-профессиональному. По возвращении, друзья основывают «четвертый интернационал — юмора и смеха». Конечно, все это не серьезно и даже легкомысленно. Но разве авантюрный роман непременно должен быть трактатом по социологии? Он занимателен, остер, весьма неглуп. Качества для романа существенные.

Этот тип романа, где каждая глава составляет как бы отдельную новеллу с явным стремлением дать заостренную концовку, скопить эффект и разрешение к последним ее строкам, является переходным к другому повествовательному жанру — новелле, ныне также охотно культивируемой в немецкой литературе. Недаром же этот прием, сцепления отдельных новелл в целое, охватывающий повествование кольцом общей фабулы и общих героев, применен Рихардом Эйрингером, новеллистом по существу своего дарования. Как некогда у Сервантеса, переход от новеллы к роману произошел путем сложения новеллы с двумя героями в целое, охваченное общим названием Дон-Кихота, так и Р. Эйрингер сделал такую попытку сложения. Но после своего «Пинкепоттеля» он опять вер-

нулся к новелле, в которой и является настоящим мастером.

Новелла—по существу продукт городской культуры. Ее предки—забавный анекдот, фаблио, рожденные в среде горожан позднего средневековья и в атмосфере раннего возрождения. Этот жанр прошел через века, приспособляясь к требованиям и вкусам эпохи. Порой новелла уступала дорогу большим жанрам, умирала на время. Но характерно, что воскрешение новеллы всегда начиналось со стилизации ее. Этой особенностью блещут и современные новеллисты Германии, так охотно уходящие в примитив и стилизующие приемы ранних новеллистов.

Р. Эйрингер выдерживает ряд новелл в стиле итальянских мастеров XIII—XIV в.в., Манфред Кйбер стилизует под Чоусера и немецких примитивистов, Ганс Райзер во власти мрачных настроений Реформации с ее непреклонным духом и глубоко-пессимистическим прогнозом протестантов.

Жуткое впечатление навевает его новелла «Ночь», эта «книга гнева против лжи». Под покровом неласковой, ненасытной темной ночи видит он свое время и своих соотечественников. Выхода из этой ночи он не знает: она будет продолжаться вечно, ибо все уже испробовано на земле, все уже было и «сегодня уничтоженный и раздавленный, назавтра уклад мира поднимет голову с прежней отталкивающей гримасой».

Зарисовывать эти гримасы, подмечать гротески одряхлевшей и гибнущей цивилизации, художественно отразить обличье форм и людей эпигонского периода большой умирающей культуры, судорожно вздрагивающей в предсмертных корчах, примириться с неизбежностью конца и ждать... прихода новых сил с Востока, должествующих смести топотом и беспощадностью юных гуннов и варваров готовый рухнуть старый мир—вот основное настроение новеллистов сегодняшней Германии.

У. О СОВРЕМЕННОЙ ЖИВОПИСИ

(АХРР и ОСТ)

Я. Тугендхольд

...«Партия должна высказаться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области (литературе). Всякое иное решение было бы казенным псевдо-решением». (Из резолюции ЦК РКП (б) о политике партии в области художественной литературы).

После английской забастовки самые оживленные разговоры Москвы мая месяца 1926 г.—это об АХРР'е и об ОСТ'е,—о том, какова наша живопись есть и должна быть. И при этом—разговоры в весьма повышенном, почти страстном тоне: одни видят в АХРР'е чуть ли не готовый материал для новой Третьяковской галереи, другие ставят АХРР в образец «эстетам», воспитанным на «Аполлоне», третья, наоборот, АХРР'ой ругаются, как новой разновидностью «словесности» и т. д. Словом, страсти разгорелись!

Мы не противники АХРР. Наоборот, почти с самого появления этой ассоциации мы приветствовали ее установку на реализм, на революционный сюжет, ее желание связаться с советской и пролетарской общественностью, ее желание войти в преемственную связь с лучшими традициями передвижничества. Более того, мы должны констатировать что в значительной мере, благодаря лозунгам АХРР, и другие наши художественные группы взяли за последние годы курс на изобразительность, на новую революционную и бытовую сю-

этику (общества «Маковец», «Бытие» и даже «Ост»). Но в то же время мы не переставали подчеркивать, что, будучи «прогрессивной» в области тематики, АХРР пренебрегает мастерством, качеством художественной продукции. Мы находили смягчающие обстоятельства в трудных условиях времени, в оторванности художника последних лет от живописной практики и т. д. Что этот изъяснитель стал ощущаться и самими основоположниками АХРР, это видно из того факта, что ассоциация в интересах повышения своего художественного уровня еще в прошлом году пригласила на свою выставку ряд квалифицированных мастеров (Кустодиева, Юона, Машкова и др.). Однако этот акт гостеприимства, нарушив какую-то первоначальную идеологическую «чистоту» АХРР, вместе с тем не повысил *общего* качественного ее уровня, попрежнему весьма серого.

И вот снова все эти вопросы встают перед нами в связи с текущей грандиозной выставкой АХРР—«Жизнь и быт народов СССР». Бесспорно, идея этой выставки, идея «познания самих себя» (как удачно выразился А. В. Луначарский в своей речи на верниссаже)— важная, новая и чрезвычайно своевременная идея. Бесспорно, русская живопись в прежнее время почти не выходила из круга великорусских наблюдений и мало интересовалась окраинами. Слова Гоголя «надо изучать Россию» почти не воплтились в жизнь; многие русские художники знали за границу гораздо лучше России. Только теперь, с образованием Союза Республик, с политическим и культурным освобождением национальностей, настала пора, когда искусство не только может, но и *обязано* отобразить все яркое и богатое многообразие нашего Союза, всю «смесь одежд и лиц, племен, наречий, состояний».

И вот в этом отношении, программно и тематически, выставка АХРР, являющаяся результатом поездки художников на места, безусловно значительна. Она устанавливает основные вехи для дальнейшего художественного познания СССР. Такие работы, как «Постройка гидроэлектростанции в Земовчанах» Иогансона, «Открытие канала Красный

октябрь в Дагестане» Дроздова, «Доклад об Авиахиме в Алтайской юрте» Котова, «Самоедский Исполком» Модова, «Чувашские пионеры» Богородского или целая галерея советских выдвиженцев на местах (вроде «Председателя незаможных селян» кацмана или Башкирской комсомолки Мерзагинды» Лехта),— все это, действительно, новые моменты, новые темы, столь же знаменательные и характерные для нашей революционной эпохи, как, скажем, «крестные ходы» для Репинской эпохи, или изображение «покоряемых туземцев» и «сартских мальчиков-рабов» для Верещагинской поры.

И вместе с тем, приветствуя в этом общественном плане выставку «Жизнь и быт народов СССР», как завоевание в области расширения художественной тематики, мы не можем и не должны скрывать ее крупных дефектов, как художественного явления. Совершенно нельзя ставить вопрос так, как поставил его, например, Щекотов (в своем фельетоне «8-я выставка»), который начал с какого-то предостерегающего окрика на всех остальных критиков: «Никакого, мол, даже сопоставления с выставками других группировок в данном случае и быть не может». Из слов Щекотова вытекает, что неприятие выставки АХРР в целом или ее критика есть попросту какая-то контр-революция. Этот тон *нора* оставить. Мы думаем наоборот, что на девятом году революции, когда все вопросы нашего строительства подвергаются правдивой и всесторонней вентиляции на столбцах прессы (гораздо более свободной, чем это возможно, например, в западно-европейской прессе), и по отношению к вопросам искусства, в частности, к АХРР, никакого «табу» быть не должно. Наоборот, мы *поступили бы против интересов дальнейшего развития нашей художественной культуры*, если бы прониклись психологией самодовольства, если бы стали «статически» почивать на лаврах вместо того, чтобы трезво отнестись к себе и к *данной* ступени своего искусства.

Совершенно ясно говорит об этом революция ЦК партии: «Если в руках у пролетариата уже теперь есть без-

ошибочные критерии общественно-политического содержания любого литературного произведения, то у него нет таких же определенных ответов на все вопросы относительно художественной формы». И поэтому партия должна высказаться за свободное соревнование различных группировок и течений в данной области. Всякое иное решение вопроса было бы *казенно-бюрократическим* решением. А отсюда ясна вся спорность утверждения, что только АХРР «заражен» революционным энтузиазмом, и вся опасность прикрепления к АХРР'у марки какой-то *общинозности*.

В этом отношении более правильную позицию занял т. Сосновский, справедливо расхваливший общественное содержание выставки и в то же время оставивший открытым вопрос об ее мастерстве. Впрочем, т. Сосновский, вместе с тем, забегая вперед, утверждает, что выставка АХРР—готовый материал для новой Третьяковской галереи. Но в том-то и дело, что это материал скорее для музея этнографического, нежели художественного! Вот этой-то разницы мы и не должны забывать. В 1926 году мы не имеем права отмахиваться от вопросов мастерства, как от чего-то второстепенного, что как-то само собой приложится. Не имеем права потому, что на наше искусство все более и более устремляется внимание всего мира (готового вместе с тем ставить нам всякое лыко в строку). Не имеем права потому, что без культуры формы те таланты, которые у нас есть (вроде, например, Богородского, Соколова-Скала и Федорченко), навсегда обречены оставаться только «подающими надежды», «вундеркиндами», «самородками»; т.-е., попросту говоря, дилетантами. Не имеем права и потому, что наше искусство есть искусство, поддерживаемое государством. Искусство, представленное в Третьяковской галерее, которому т. Сосновский противопоставляет АХРР, было искусством, развившимся вопреки правительству, на случайные средства отдельных меценатов, и все же его мастерство стоит на весьма высоком уровне (призывая «назад к передвижникам», мы часто совер-

шенно забываем о том, что передвижники были вместе с тем и большими мастерами). Сколь же более требовательны должны быть мы, имея в виду искусство, поощряемое рабоче-крестьянским государством!

Вот почему следует называть вещи их именами. Выставка АХРР—в громадном большинстве своем лишь этюды с натуры, документы, сырье, но еще не искусство, т.-е. не художественное претворение и заострение действительности. Многие из этих этюдов не плохи (как, напр., Кавказские этюды Христенко, уральские Белянина и Шестопалова, самаркандские Д. Яковлева и т. д.), но, будучи перенесены на большие полотна, они превращаются в этнографические и географические олеографии, в «школьные картинки», в неоправданно увеличенные иллюстрации. И невольно встает вопрос: не лучше ли было бы вместо этого псевдоискусства заснять СССР с помощью наших довольно уже опытных фото-репортеров, с помощью «кино-глаза».

У нас принято думать, что «форма» есть лишь какое-то «украшение» содержания, которое может быть, а может и не быть. На самом деле форма—это оформление, организация содержания, существеннейшим образом меняющая его смысл. Дряблое изображение строящейся гидро-электростанции (а какой это действительно величавый и революционный мотив!) противоречит самому духу этого строительства революции; приторно-слащавое, пряно-экзотическое изображение Бухары и Туркестана противоречит смыслу нашего нового подхода к Советскому Востоку; изображение пионеров, комсомольцев и делегатов а la мешанский Маковский противоречит духу нового молодняка (работы Лупова, Владимирского, Хвостенко) и т. д.

Было бы неверно, однако, полагать, что среди 1.719 экспонатов выставки АХРР нет хороших вещей. Они есть, но их приходится выискивать. Мы разумеем не только произведения маститых мастеров, вроде Архипова, Кустодиева, Рычова, Лянсоре, Малютина, Юона и друг, но и произведения основных членов АХРР. Таковы очень

интимные, почти трогательные пейзажи Украины Григорьева, четкие портретные работы Кацмана, мужской портрет Рязжского, туркестанские работы Рянгиной, натюр-морт Никонова, «Рыбаки» В. Корева, «Пристапъ в Севгорыб-тресте» Корягина, некоторые работы Мадорова и особенно превосходная донбассовская графика Павлова и Дормидонтова. Из художников «со стороны» надо отметить работу Шведе, отличные винницкие рисунки Нюрнберга, вдумчивые тонкие акварели Журавлева (образы Донбасса), культурные работы молодых саратовцев: акварели Зиновьева и живопись Полякова, а также «Чувашский базар» Байбарышева, «Башкирский май» Тюйкина и т. д.

Однако все эти хорошие работы тонут среди целого моря сплошной обывательщины. АХРР 'у свойственна американская жилка: ставка на количество. И вот эта самая погоня за количеством чрезвычайно снижает качественный уровень выставки. Средняя масса, толща АХРР—это провинциальная художническая масса, последние эпитоны выродившегося передвижничества, которые замолчали после революции, а теперь снова подняли голову, окрыленные АХРР. Эта художественная посредственность снова выносит наружу свои устарелые, дряблые мешанские приемы живописи, несколько не прикрываемые самым революционным названием картин.

И вот в результате такой мешанщины трудно было бы отыскать на выставке АХРР какую бы то ни было единую идеологическую или стилистическую платформу и ответить на вопрос, *где же собственно локализуется* сущность АХРР, как художественной группы? В фотографическом ли бытовизме а Іа Маковский, в нео-голландском ли натурализме Рянгиной, в слащавом ли экзотизме Пшеничникова, в этнографизме Котова или в стилизаторстве под икону, фреску, миниатюру, лубок, которым отмечены некоторые произведения Мадорова, Малыгина («Дело Савинкова»), Куликова (его кустарный «Базарный день»), Богородского («Чувашская этнографическая композиция»). Вот этого *общего* стержня, этого

единого взгляда на искомую форму и искомый стиль в АХРР» и нет.

Некоторое недоразумение получилось также и с приобщением к АХРР 'у квалифицированных художников из бывшего «Союза» и «Московских живописцев» (б. «Бубновый валет»). В сущности говоря, АХРР не знает, что с ними делать, куда их девать. Некоторых из них «заключили» в какой-то особый «раздел формальных исканий» (Архипов, Кустодиев, Фальк, Юон и др.); других «разослали» по губерниям (так москвич с головы до пяток И. Машков попал в Крымский отдел, Рождественский и частью Фальк—в отдел Москвы в Центральной Промышленной и Земледельческой области); третьих разбили по *разным* отделам (так, Кустодиевский «Стенька Разин» водворен в Татреспублике).

Однако, в результате такой чрепословицы и смешения принципов формального и этно-географического, получается лишь хаос. Учреждение особого раздела формальных исканий педагогически совершенно неправильно, ибо оно внушает ложную мысль о том, что допустимо какое-то искусство с формальными исканиями и *без* оных. С другой стороны, от того, что Фальк числится за Черноземной областью, он несколько не становится ее выразителем, будучи детищем парижской культуры, а Машков, написавший очень холодные, совсем не южные пляжи, вовсе не становится выразителем Крыма от того, что фигурирует в Крымском отделе. Положение несколько не спасает в данном случае и то, что в каталоге Машков поясняет, что на пляже им изображена фигура зам. наркомздрава, а в книге Щекотова (где есть отдел «Художники о себе») он же открывает нам такую Америку, как то, что «пользование лечебным Крымом всей трудовой массы СССР является ярким показателем деятельности Соввласти и результатов великой Октябрьской революции».

По существу же говоря, из работ этой группы художников следует отметить пару пейзажей Рождественского, тонкие по живописи фигуры Фалька, работы Федорова и более молодых Чекмазова, Козочкина. В них есть

культура живописи, хотя и односторонняя—с гипертрофией краски, как таковой, над рисунком, и композиции. Никакой идеологической спайки между этой группой красочников и ахрровцами нет. В то же время, поскольку заданием выставки было отображение СССР, ничем не оправдано отсутствие на этой Всесоюзной выставке таких подлинно национальных и подлинно экзотических художников, как Сарьян для Кавказа, П. Кузнецов для Туркестана, Богаевский для Крыма, Бойчук для Советской Украины. Разве не «бесхозяйственно», например, то, что в одно и то же время АХРР устраивает грандиозную выставку с отделом Северной области, а на стороне открывается Главнаукой выставка мурманских работ молодого художника Редько, гораздо более интересных, нежели то, что характеризует Мурман на выставке АХРР? Отсутствие всех этих художников оправдано, по видимому, только одним—недостаточной планомерностью и объективизмом в организации выставки АХРР, фракционизмом.

А между тем анализ этой выставки, как мы видели, показывает, что в сущности никакой четкой платформы ни в идеологическом, ни в художественном плане у АХРР нет. Разрастаясь, эта ассоциация становится только профессиональным объединением художников, а ее выставки превращаются в пестрые и электрические салоны, художественные универмаги. Надо, однако, отдать должное деловитому американизму АХРР—именно ею выдвинут вопрос о салоне. Но раз на очередь дня нашей выставочной политики выдвигается «проблема салона»—ее разрешением впредь должна вестись не отдельная ассоциация, сколь бы энергична она ни была, а само государство в лице Наркомпроса. Только при этом условии будущие салоны станут действительно показательным отражением «свободного соревнования различных группировок и течений».

* * *

Так же, как АХРР, ОСТ (Общество Станковистов) ставит своей задачей отображение нашей современности.

Это подтверждает хотя бы простая иконографическая параллель между обеими выставками. Так же, как и на выставке АХРР, здесь есть «Ленин» (работа Денисовского), деревенские и индустриальные мотивы (Лабас, Купрянов, Денека), беспризорные (Козлова), инвалиды и жертвы войны (Пименов), красноармейцы (Меркулов), ужасы гражданской войны (Лабас и Тышлер), комсомольцы (Пархоменко и Мельникова), и если даже у Фалька на выставке АХРР есть своя «Недавно приехавшая в Москву девушка Фрося», то и в ОСТ'е у самого Штеренберга есть своя «Аниска». И однако к трактовке всех этих тем ОСТ подходит иначе, нежели АХРР, стараясь облечь современное содержание в соответствующую ему четкую и заостренную форму.

ОСТ образовался из «левой» художественной молодежи, уже на дискуссионной выставке 1924 года повернувшей от абстрактно-беспредметных исканий к конкретизму, к изобразительности. Самое название ОСТ объясняется реакцией против того бойкота, которому подвергалась еще недавно у нас станковая живопись, и желанием ее возрождения—возрождения *картины*, как органического и замкнутого целого. Вместе с тем остовцы вынесли из первого периода своих исканий определенный багаж формальных достижений в области цвета и фактуры. (Как бы переходной ступенью от этого первого еще отвлеченного периода к новому являются и на текущей выставке работы Кудряшева.—«Динамика в пространстве» и др.) Забота о мастерстве, об обработке поверхности картины резко выделяет остовцев из общего фона русской живописи, почти всегда поглощенной: больше в психологические, нежели в формальные проблемы. В каждом из наших художников-интеллигентов была частица скромнейшего Глеба Успенского, и если у нас были мастера живописи, то это скорей какой-то контрабандой, от нутра, а не от сознательных усилий. Остовцы, исходя из того, что наша эпоха есть эпоха сознательной организации и самоорганизации, стремятся к картине прежде всего, «хорошо-сделанной».

Отсюда понятно увлечение древнерусской иконописью, которое характерно для остовцев, разумеется дело идет не о «духе» иконописи, но об ее формально-технических качествах. Было бы ошибочно представлять себе остовцев, как реставраторов древнего художественного мироощущения, наоборот, доминирующей чертой их живописи является устремление к индустриальной современности. Если ахрорцев можно назвать сермяжными художниками, то остовцы, по преимуществу, рафинированные горожане. Они в такой же мере увлечены блеском иконы, как и четкостью надписей на автомобилях и аэропланах. Вот этот своеобразный стык Востока и Запада, древне-русской иконной «олифы» и лакированного металла современной индустрии и является характернейшей чертой ОСТ'а, придающей ему определенную физиономию. Отсюда и качества и недостатки ОСТ'а. К первым относится уплотненная манера живописи, полновесность цвета, четкость композиции, твердость арабеска, ко вторым — некоторая жесткая, жестяная «вывесочность», забвение того, что картина маслом отличается и должна отличаться как от деревянной иконы, так и от расцветченного металла. У некоторых остовцев мы видим злоупотребление лаком, черным цветом, темными, рыжебурыми красками (в то время, когда настоящая иконопись была светлой и сияющей).

Здесь сказывается, впрочем, и то, что остовцы по своему воспитанию и по своей работе в журналах скорее графики, чем живописцы. Вот почему ОСТ, в сущности, некий компромисс между картиной и расцветченной графикой и увеличенной обложкой. Эта черта сказывается, например, у одного из наиболее сильных представителей ОСТ'а Дейнека, отличная работа которого «На стройке новых цехов» (выдержанная лишь в четырех красках: черное, серо-голубое, кирпично-красное) производит впечатление все же скорее графическое, чем живописное.

Однако на открывшейся выставке уже есть признаки начавшегося преодоления этого графизма и начавшегося завоевания живописности. Таковы ра-

боты Гончарова, Лучишкина («Вечерами поют птицы»), молодого Пархоменко и особенно Лабаса. Последний обладает всеми данными тонкого живописца. В его работах многое еще от абстрактности прежнего периода, от иконы (многоточность композиций), но, вместе с тем, в них есть уже и подлинная, живая и горячая живописность. Таков, например, его «Уральский завод», величавый по всей своей композиции и погруженный в своеобразную живописную атмосферу; такова же и его работа «Белые ушли», более слабая по композиции, но интересная по красочной гамме, говорящая об оглядке автора на живопись Делакруа, и, наконец, пожалуй лучшая, в смысле насыщенности цветом, его «Башкирская деревня».

Живописное начало достигает наибольшего апогея в ОСТ'е, в работах Д. П. Штеренберга. Это, несомненно, уже зрелый мастер, работы которого могли бы с честью фигурировать и на любой парижской выставке. Живопись Штеренберга — сплошное радование цветом. И, вместе с тем, в ней нет той поработанности краской, жирной и маслянистой, которая часто наблюдается у художников бывшего «Бубнивого валета»: художник владеет ею, заставляя ее звучать *каждый раз по-иному* — соответственно тому объекту, который она передает. Штеренберг умеет мастерски внушать ощущение каждого материала: блеск мрамора, зернистость хлеба, шероховатость дерева, скользкость рыбы и т. д. В этом смысле сквозь парижскую виртуозность в живописи Штеренберга, сказывается и нечто от «примитива», более того — нечто от пережитого нами вещевого голода, научившего по-новому «ценить» вещи. Именно таким об'ективным благоговением, «уважением» к любой вещи отмечены натюр-морты Штеренберга. Быть может, они выиграли бы еще больше в смысле своей выразительности и значительности, если бы это наше, «пережитое» начало победило в них некоторую парижскую элегантность.

Особое место занимает на выставке и Тышлер со своими немногими полотнами и многочисленными рисунками пером. Вот еще совсем юный худож-

ник, с несомненно большим, хотя и не нашедшим еще себя, дарованием. Культура тышлеровского рисунка чрезвычайно сложна: тут и Индия (например, «Картина наводнения»), и гофманщина, и современный германский экспрессионизм, и средневековая германская графика, и, наконец, чисторусская мейерхольдовская театральность. Театральности пожалуй больше всего. Тышлер мыслит свои образы, как некие театральные цирковые зрелища, как мизансцены людей и вещей. Его персонажи несут на себе все атрибуты, все эмблемы, всю бутафорию своей жизни, своих страстей и несчастий, как некие бродячие «продавцы» (любимое слово Тышлера). Тышлеровский мир — балаган, театр на площади, и, вместе с тем, в нем есть острота и трепет подлинного переживания. Тышлер — дитя

нашего трагического времени, легшего на художника чрезмерным грузом острых переживаний, и даровитому художнику следует пожелать высвободить себя из-под этого груза, тяготящего плечи его персонажей.

Преодоление излишнего интеллектуализма, иногда охлаждающего творчество ОСТ, преодоление современного германского экспрессионизма (сказавшегося, например, в последних «Инвалидах и проститутках» Пименова), преодоление некоторого маньеризма, жеманности и выкрутасности, идущих от Ходлера, таковы пожелания, которые можно высказать и по отношению всего ОСТ'а в целом. Он стоит на верном и здоровом пути поисков *современной художественной формы*, но этот путь пока что им лишь начат¹⁾.

VI. КАЗАЧЬЯ ЛОПАНЬ

С. Ветлугин

Эх, и самогон же варили в Казачьей Лопани! Славный самогон, презамечательный. Всю Украину обойдешь, не отыщешь еще подобного, в казацко-лопанских хуторах и подавно. Криница. Крепости может сто, а может двести ученых градусов. Запалишь — огнем синим полыхнет. Хоть бы мокрый след от него остался. Горлянку обожжет огнем. В носу, что дратва протянется. По кишкам белым каленым железом. Может быть оттого, что на табаке, на чесноке, да на красном стручковом перце настаивали. В голову так пибало, так закручивало чортовой каруселью хаты да тыны, кума с кумой, да жинку стокою, что балдели казацко-лопанские пивуны, не хуже гоголевских Черевиков да Галушек.

На рожон лезли, напившись.

Да еще как лезли!

Запорошит к святкам тропы да стаяжки дорожные сугробами, снегами. Ляжет по ним заячий, неверный след. Придут каляды с бумажной, озябшей звездой, бабкины сказки тысячелетние про рождественских чертей рогатых,

про ведьму в ступе, похожую на метель, про метели, похожие на ведьм; про колдовство да про заговоры. Тогда колят десятипудовых боронов, свинных маток. Сало розовое, нежное, не успел в рот шматок вопхнуть, уже растаяло, разошлось, полезай за другим.

Тогда и варился тот замечательный самогон.

Пили под сало, под галушки, под маринады. Пили здорово и крепко. Потом выходил на леваду с северной стороны Назар Ефимович, по фамилии Нагорный, с сыновьями. Икал многоэтажно, сыто. Черную бороду воронным крылом, с проседью, на плечо ветром заносило. Мороз слезу точил. А ему хоть бы что, шесть десятков, как не бывало. Назар Ефимович с сыновьями кулак об кулак, шапка на чем только держится.

— А ну, и-эй! Казаки! Выходь биться!

¹⁾ Следует упомянуть и интересную скульптуру на выставке ОСТ — работы Эллионена и Вейнера, особенно последнего, в работах которого есть и монументальность формы и выразительность характера.

А уж Иван Григорьевич по правую руку становится. Может, запомнили, кто такой Иван Григорьевич? Так то—Винник. В 40 лет кулак у него, что добрый кавун, або гарбузина.

Этот тоже орет через Лопань запорошенным пьяным хатам на южную сторону.

— Выходь, молодцы!

Выходили на леваду с южной—Винник другой, Павел Эмануилович, с двоюродным братом. У этих, как и у тех, хаты да тыны, бабы да макитры на первый день гопака пляшут. Разминали кости, поднимали пудовые кулаки, сходились на глубоком снегу. За ними и другие—битюговые, бородатые, горячие, за битюговыми—парубки в новых лихих смушковых шапках, с чубом, по-городскому выпущенным.

Начиналась потеха—Сечь Запорожская. Считали, пересчитывали ребра. Резиновый кулак отскакивал от ребер. Саженная грудка только—бум! бум! бум!—как тот веселый бубен на вечерных. Переделывали носы, скулы, сопатки, хрящи крепкие, что дерево. Только у парубков сдают, юшку красную пускают. Выли, глядя на мужей да на сыновей, за плетнями жинки, приговаривали:

— О, голованька моя бидна. Знов кирпичину греть, да на грудя класты.

Грели кирпичины, компрессы ставили, потом деревянным маслом да фотоженом растирали и долго еще после буднего похмелья ныли бока, зудела барабанная перепонка в ухе, и цирюльник долго подправлял кусок вырванного уса.

«Доброе» было время еще в прошлом году в селе Казацья Лопань.

Пошла безлошадная беднота в совет, свои порядки советские навела.

Постановила:

— Самогон—отрава. Искоренить самогон на селе и на его хуторах.

Пошла работа. Самогонщиков, что сопливых грибов на коровьем навозе. Носом по улице повел, сейчас самогонный дух к носу потянется. С закрытыми глазами на дух иди, прямо на варку попадешь—на добрую свежинку.

Штрафовали по тем временам круто. Никому не спускали. На самогонные

штрафы совет купил двух коней. На штрафы 7 месяцев содержался штат райисполкома.

Вот сколько было самогонщиков в Казацьей Лопани!

Вывела-таки их беднота.

Шагнула в село новая жизнь, незнакомая. Крепким клином в старую вошла. Распешила. С каждым днем все глубже и глубже уходит в сердцевицу сельского жития.

Стыдно стало Винникам да Нагорным.

Скребли потылицы...

* * *

Та же Казацья Лопань.

По шляхам осенняя лень стяжкой золотистой легла. В небе стекляно-остывшем позднее сентябрьское томление отпевших стрекков, зоревых песен серпа стального на жнивьях. Дрожит в бурьянах паутина. Седеет натруженная земля бабьим летом. По утрам пахнет село Казацья Лопань дымом и хлебом. Кажется, что пахнет дымом и хлебом сама земля, беременная озимью, зеленую грудь запрокинувшая за дедовские разохшиеся ветряки, немые до края неба.

Плывут в голубиной вышине серебряные чудесные корабли. На первом осень. По шляхам, по стежке золотистой—осень. В свернутом трубкой, узеньком листке посеревшей вербы, в скирдах, в дедовской прищуренной стойке за тыном то же увядание осеннее, дремное, седое.

Идешь по селу—немь, глухота, покойность.

Где жизнь?

Ушла ли влюбленной за багряным подолом последнего знойного заката, или, чуя близкую стужу, зарылась сосать лапу, или уволоклась в мазанки править уставшую долгими летними днями мужичью кость.

Нет ее на селе. Идешь с улицы в улицу—нелюдимо. Замкнулись в себе оконца. Безбровные очи глядят на тебя незряче, сонно сощурившись. Лениво, лениво. Будто не глядят.

Бог на тяжелых замках под чугунными решетками храма упрятан.

Над богом воробы.

И только.

У тына две бабы в расцветенных цветами плахтах—в хустках. Но и цветы вялые, тронутые вереснем. Взгляд, что и у оконце—далекий, упрятанный.

Нет ни ребят, ни свиток. Идем долго. От того ли, что пустынные улицы и тихи хаты, с на уши нахлобученными соломенными стародавними шапками, кажется, идем до сельсовета от станции битый час. Тоскливо прядают под ногами бревна на лопанском мостку. Под ним горло речки давно пересохло. По растресканному географической картой дну гуляют куры. Красномордый петух считает предобеденные часы по солнцу. Вербы подбежали к речке и обожглись, потускнели, обвисли печально над раскаленным руслом.

Но стоило нам перешагнуть порог сельского совета и сразу обдало человеческим дымом, крепким табачным куревом, крепко слаженной мужичьей жизнью.

Сюда перенесли сельское сердце, здесь оно билось, работало и горячило думки. Комнатушек много. В каждой комнатухе тьма народу набилось. Сегодня прибрались по-особенному—в люстриновые пиджаки, проглаженные воскресные рубашки, штанину натянули из блестящей «чортовой кожи». Сошлись степенные, необычные.

Лушат семя. Стелется под потолком другой дымный сивый потолок из зыбкого угара. От того, что слоняются у стен—дня не видать—загородили потемки. В потемках балачки вяжут.

— Посеял?

— Семсудой—спасибо. Дождичек вдарил под самую пид руку.

— Тягне из земли ужасно.

— Добры зелена.

В одной из комнатух—невозможики, бородастые, медяные. Молодежь. Сгрудились сосредоточенно. Сидят с утра. Дел накопилось ворох. Все надо «образовать» в форму, принять решение по тому или другому заявлению, «резолюцию высказать». Сельская беднота—советский оплот. Однолошадники, безлошадники. Редко, редко вылезающие в середняки.

Мы пришли под конец заседания. Разбирались «текущие» вопросы. Какой-то Шевченко просил угодье умершего бобыля. Заслушалось заявление. Председатель повел глазами округ:

— Просю высказаться по поводу.

Мозгуют. Взвешивают. Как бы не промазать. Чтобы попасть, так попасть в самую точку. Слова скупые, обточенные.

— Я таки думаю, шо дать.

— А еще хто хоче высказаться?

— Категорическая беднота той Шевченко—я вкажу.

— Так там дид какой-то поддыхает. Куды дид денеш? Как дашь?

— Так то караульный. Хату караулил. Это ж не батько.

— Голосую индивидуально с единогласностью.

Голосуют единогласно. Так уж заведено—ни воздержавшихся, ни против. Уж если разрешать так единогласно, а если не разрешать, так тоже единогласно.

Одной думкой думают, одним мериллом меряют.

* * *

В село возвратились красноармейцы. Ушли от земли в Красную армию темные, как сама земля. Сторонились КНС—Комитета незаможных селян, обходили свой совет стороной. Слонялись за дивчанами по сельским задачам, охальничали, а то сидели прибранные, как и отцы, на лавочке перед хатой, плевались подсолнечной шелухой, плялились оловянно на праздничное безлюдье.

Возвратились из армии незнакомые. Та же речь, да не та. Та же думка, да в другую сторону круто завернулась. Научились в Красной армии многому и первому тому, что не может сельская беднота без КНС быть.

— Хотим вступить в свою организацию.

Читали заявления:

«Прошу выпне упомянутой СКНС принять меня членом нашей семьи, так как, прибыв из доблестной Красной армии и узнавши задачи КНС и задачи Соввласти, я даю организации свое слово—каковые ни будут возложены на меня обязанности, буду я их выпол-

нять добросовестно и честно, как единственной организации, защитницы рабочего и беднейшего крестьянства.

К сему заявлению расписался Иваченко».

Читали одно заявление за другим, — кого принять, а кого «разобрать».

Мнениями о другом судили.

— Какая у него раньше думка была. Семь лет революции на селе прожил, а теперичка в казнэс заявлению пишет.

— В другой раз позвать на комитет, мы на него подывимся.

— Нехай позвать. Что за людипа?

— Откладай бумагу. Пиши лезорюцию.

Это не красноармеец, это свой селянин. Взяли разумно под подозренье — «что он такое за людина», сами убедятся, балачкой характеристику соберут, а уж потом в протокол запишут.

Крепко!

Слово, что гвоздь. Слово новое, чужое — «гарнизация», «лезорюция» клином вошло в этих степенных сосредоточенных людей и прибило их мысль к советскому строительству, к новому советскому быту.

Такое явление, как комнезам, давно стало явлением бытовым.

Неразобранных дел еще много, но время в обрез. Времени не хватает. Маловероятно, но так. В воскресном селе не хватает времени справиться с общественными работами.

Когда такое было?

Председатель, закрывая собрание, говорит:

— Товарищи, сегодня у вечеру в Гурово грают спектакль. Прохаю до спектаклю.

И торопливо добавляет:

— За вход пятак, або десять копеек. На керосин.

* * *

Через пять минут в этой же комнате сидят одни демобилизованные красноармейцы. Их человек двадцать пять. Только что выбранный новый предкомнезама, тоже демобилизованный красноармеец, ведет собрание.

— Товарищи, довольно ховаться за батькову спину. Надо организоваться, надо заняться общественной работой. В селе спать.

— Так, так, — такает кто-то из угла.

— Село наше ждет, когда мы гуртом свои знания, которые мы принесли из Красной армии, отдали своему родному селу. Нас дожидались. Мы не можем сидеть по закуткам, по клуням, на отповом добре, сложа руки. У нас есть и комнезам, и сельбудынок, и кооперация. Мы должны село разбудить, товарищи.

По лавкам, у стен, молодые, крепкие. У кого форменная фуражка, у кого красный или малиновый кант. У кого галифе, гимнастерка. Наполовину военные, наполовину партикулярные.

— Собрались мы сюда, чтобы стать крепко друг к дружке и начать строить советскую жизнь для наших отцов, для наших дедов.

Речь нескладна, угловата, как плохая основа хаты, но тепла и душевна, как молодая, быстрая кровь.

— Так что сидеть не будем, работать будем. Об этом не приходится говорить.

— Библиотечку завести надо.

— Надо.

— Кооперацию на твердые ноги...

— Кооперацию.

— Сельбуд мельницу берет...

— Слыхали.

— Электрификация...

* * *

Были мы в школе, показывали нам ученическую выставку. Из глины ребята всякую всячину лепили, из дерева да лучины — сохи, ткацкие станки, бороны да косы строили.

Показали нам одно сложное сооружение. На дощечке построена глинобитная хата. Даже не хата, завалина скорей. Три стены, четвертой нет. Нет ни окон, ни дверей, вместо них печальные дыры. Крыша наполовину растаскана на корм, обнажились печально стропилья. В хате, в самой глубине, на жестком ложе лежит на боку фигурка. Рядом с хатой в глиняную землю натканы спелые, осыпающиеся хлебные колосья. С поля бежит заяц.

— Когда мне принесла девочка это сооружение, — рассказывала местная учительница, — я была в большом недоумении. Спрашиваю ее: «Что же ты, девочка, не окончила работу? И крыша».

у тебя не закончена, ни дверей, ни окон нет».

Обиделась девочка на учительницу за то, что та не поняла ее мысли, не разобралась в работе.

Объяснила та:

— Это хата беднячка. Все у него развалилось, все пришло в ветхость. Сам он хворый мучается в тяжелой болезни на своей койке, холодует та голдует. Никто его не кормит. Поле у него не убрано. Зерно осыпается, гибнет урожай. Зайцы последнее едят на корню.

Вот мысль, заложенная детской головкой.

Девочка закончила словами:

— Плохо ему потому, что этот бедняк не состоит членом организации. Будь он ее членом, ему бы помогли и хату починить и урожай собрать.

* * *

Был уже вечер. Последний раз петух с кровавым гребнем обошел на широкой сельской улице курицу, потоптал ее.

Завтра будет яйцо.

Завтра будет новая жизнь.

С утра пришедшие в стены совета не расходятся. По двору «дядьки» метут бородами, разговоры разговаривают. Много их на крыльце, перилах, ступеньках, на сваленных в кучу лесинах.

Сегодня день урожая. Пришли в совет послушать. В теплых смушковых шапках, в ватных стеганых душегрейках, в свитках домотканых. Многих не хватает из колхозов. Эти уехали в Золочеве на показательную сельскохозяйственную выставку. Свое показать, чужое посмотреть. Приравнять. Ведь в Казачьей Лопани четыре коллективных хозяйства, в среднем по

10 семейств в каждом. Организуется пятое. Поговаривают о шестом.

Гуторят сельчане. Кто-то прямо во двор вынес скрипучий стол. С лесин, кряхтя, поднялся президиум и пошел к табуреткам. Началось собрание. Вышел учитель. «Дядьки» откашлялись и засопели, повея ухом. Стали слушать.

Неурожай в округе, неурожай в Казачьей Лопани. Округа объявлена неблагополучной по урожаю. Не только косили, а и руками хлеб дергали.

— Засуха. Дождей мало. Нет. Работаем скверно землю, как деды наши работали. Говорим—умеем, а не умеем—учиться нам надо. Умели бы обрабатывать землю, не было бы недохода.

Слушали старики.

В стороне молодой агроном ждал своей очереди, своего слова и полушопотом вел разговор с сельчанами.

Придет время—день урожая в праздник обрядится. Может быть, не завтра, не послезавтра, но скоро. Оставят деды «науки» на поле, придет действительная агрономическая наука и взлетит, выпустит тучный, ржаной колос.

Это будет праздник лучший из праздников.

И село лучшее из сел...

...Багровело на закате солнце. Дымком самосада от пьгарок тянуло. Плавала серебряная паутина в дрожных вечерних тенях, путалась в длинных бородах, в чудесных словах о возможном и близком. Сидели старики. Думали. Было кой о чем. Глазами в землю уткнулись. Учитель говорил, говорил, смотрел поверх стриженных соломённых крыш в небо, словно на нем он читал сельское благополучие.

Под ноги упал лист желтый...

...Со двора во двор выпагивала осень золотая.

Отзывы о книгах

Ник. Никитин. — «Полет». Гиз. Ленинград 1925 г. Стр. 267. Цена 1 р. 50 к.

В книжке Николая Никитина собрано десять рассказов и повестей.

Чем руководствовался автор, составляя свой сборник, — неизвестно. Должно быть, он решил воспользоваться несколькими хорошими и недурными вещами, чтобы сплавить всю заваль, накопившуюся у него за последние годы.

Только этим можно об'яснить общую обложку над рассказами, такими различными по своим художественным достоинствам.

Попадают образцы, отмеченные крупнейшими недостатками. Среди них первенство принадлежит рассказу «В полях», о котором ниже придется поговорить подробнее. Следом идет «Белый лес» с совершенно неправдоподобным сюжетом. Почти все детали его притянуты за волосы и тоже неправдоподобны, нереальны. Можно, конечно, в виде забавной мелочи опубликовать —

«Удостоверение

Дано гр-ке Шукачевой Дарье для натурального спирта в том, что имеет малютку и не имеет сосания в грудях и имеет машинку для приготовления малютки, сие удостоверяем без всякой цели.

Предволисполком Зубкин»,

но зачем же уверять читателя, что благодаря этому удостоверению спирт был все-таки получен?

Также нереален и неубедителен «Черный хутор», где Никитин пишет про двух собак-овчарок, крайне упр-

щенно и неумело проникая в недра собачьей «психологии». Построен этот рассказ на грубом незнании материала: собаки, по собственному почину, в одиночку (поочередно) кидаются на волчью стаю, среди белого утра наведающую хутор... Никакая собака не делает этого и, уж, во всяком случае ни одна овчарка не сможет «переломить на двое» хребет матерого волка («вожака»).

Рассказы «Смешная страна» и «Тоска» значительно интереснее и ценнее. В них чувствуется никитинское умение погрузить читателя в особое, почти чувственное восприятие людей и обстановки. Полной силы достигает это качество в «Могиле Панбурлея», благодаря чему рассказ становится подлинно-революционной вещью: у читателя создается цельное и полное ощущение изолированности Панбурлеев, нелепости и ненужности их бытия, их смерти.

Еще большую четкость и крепость приобрела бы «Могила Панбурлея», если бы Никитин не засорил ее своими ремарками — некоей «философией».

Рассуждения о том, что «каждый век дарит могилы», что «в степи орда, грабеж, воля. Так было тогда, когда приходили сюда отцы»... и принятие революции как бунта — достаточно хорошо известны читателю: ими грешен не один Никитин. Но Никитин умеет осознать свое непонимание — и это может служить залогом его дальнейшего роста. Рассказ «Тоска» кончается так:

«А, может быть, я понял все превратно, как часто со мной бывает.

Я многого не понимаю ни в этой жизни, ни в этом тоскливом сосновом лесу».

В предисловии к повести «Полет» есть место, которое может служить добавлением к этим строкам:

«Повестью я их (героев «Полета») регистрирую, как покойников. Об их судьбе—старинной и скучной—мне хотелось здесь рассказать. Это точка им—и для меня, автора,—чтоб обменяться приветом с тем племенем, кого еще Пушкин назвал «младым и незнакомым».

Нельзя сказать, чтобы повесть целиком оправдывала предисловие, ибо военспецы Фирсов и Климович выписаны с любовью и симпатией, мешающей увидеть в них покойников. Но «Полет» стоит несомненно в связи с мотивом «Могилы Папбурлея». Мастерство же отдельных мест (сцены «Кукушки», Москва, бал-маскарад), яркость людей (особенно Гумара и квартального Фонарикова) и почти безукоризненный язык ставят повесть в ряд с лучшими никитинскими вещами.

Поставив точку мертвецам, Никитин берется за живых—за тех, кто в той или иной мере жив сейчас в нашем уездном захолустьи (да и не только в захолустьи). Об этом—его повесть «О бывшем купце Храпове, об Олимпиаде Ивановне и о веселом художнике Мокине». При помощи интересной, быстро движущейся фабулы, показан целый ряд уездных жителей: бывший купец Храпов, «который, может быть, революционер», веселый художник Мокин, одновременно расписывающий церкви и поставляющий портреты вождей, милиционер, движущийся с такой тяжестью и грохотом, что кажется, будто он поминутно «роняет роуля»,—все они запоминаются и все они продукт нашего сегодняшнего дня. Написана повесть в новых для Никитина тонах. Начиная с сюжета и кончая подходом к героям, повесть условна в сторону шаржа.

Никакого сора, никаких ремарок, толкающих читателя на ложные пути—на сей раз нет и в помине. Повесть же в целом позволяет думать, что «точка»

Никитиным действительно поставлена. Надо надеяться, что путь повести «Обывшем купце Храпове» приведет Никитина к хорошим результатам..., если только не подвернется ему под ноги другой путь, удобный, торный, манящий многих,—тот путь, который страшнее всяких «рассуждений». Мы говорим о рассказе «В полях». Легкость, слащавость и фальшь, с которой описывается в нем деревня, узпавшая о смерти Ленина,—поразительны: даже лошади только-только что не рыдают и, во всяком случае, «стоят мирно, опустив головы, дергая ушами». Вряд ли удастся автору, при помощи таких «идеологически выдержанных» экскурсов, обменяться приветом с племенем, которое Пушкин назвал «младым и незнакомым».

Борис Губер.

Павел Низовой.—«Черноземье». — Повесть. Изд-во «Земля и Фабрика». Москва—Ленинград 1926 г. Стр. 215.

Приятие деревней войны, февраля и октября—тема повести Низового «Черноземье». Село Казапское—Зарубино и деревня Подгорково,—грязь, вековая тьма, дурман водки и самогона, а рядом имение князя Кугушева,—дворец с драгоценным фарфором, художественной мебелью и стародворянскими преданиями. Противопоставление обычное в литературе последних лет.

У мужика на полосе «колос от колосу—не слышно голосу», а на барских полях тарахтят жнейки, натуживаются с возами широкозадые лошади.

Низовой неплохо повествует об этих вещах.

В повести имеется и поп—пьяница, обжора, с'едающий у прихожан на празднике все запасы, за что раз'яренный хозяин обливает его молочной лапшей, и кулак Федот Кузьмичев, торговец, проклявший сына, Никандра, ушедшего из дома отца и ставшего социалистом и «крамольником».

Думы мужика о войне, бабий плач о мужьях и сыновьях, раскол между старой и новой деревней в феврале и октябре, в частности, встреча Федота Кузьмичева с возвратившимся из

ссылки Никандром,—все это изображено с достаточной картинностью, простотой и убедительностью.

Пряничного, плакатного мужика нет в повести Низового, и это большой плюс. Угрюмый, молчаливый, темный мужик Низового не понимает газетного языка.

— Наш сотрудник ин-тер-вью-ировал испанского посла,—читает Григорий Спирин.

— Это к чему же такое слово? Посла, что ль, так прозывают?

— А бес его знает...

— Да чего по-пустому читать? Нам что к делу, а не хреновину разводить,—рассердился Лука Дудкин.

— Конечно, к делу. Про войну, аль про думу.

— Насчет земли нет ли чего.

Но этот же мужик великолепно понимает, кому нужна война и зачем ее начали. «Завсегда так, война купцам на пользу, мужикам на раззор»,—говорит умный мельник Степан Егорыч, будущий уполномоченный волостного совета.

Егор Нефедыч, отдавший царю сына и племянника, напряженно думает: «На земле места много, для всех хватит. Зачем убивать? Вот капиталам тесно, простор нужен, из-за них, поди, вся склака».

Инвалид Спирин стучит деревянной ногой.

— Всех сверху донизу переменить надо. А потом республику.

Революция.

Мужик, изголодавшийся по земле, стихийно ненавидит войну, жадно поглядывает на помещичьи усадьбы и помещичьи леса.

На сцене появляется организатор стихии, долженствующий ввести ее в законные рамки, Никандр. Он обещает родному селу живую воду учредительного собрания.

Но плотина прорвана. Крестьяне уничтожают усадьбу. Без Никандра и против него организуются сельсоветы.

Никандр арестован. И только в тюрьме он сознает всю законность мужицкого беззакония, все бессилие своей интеллигентской справедливости. Он ощущает коренной перелом в своем существовании.

— Я с вами.

Крестьяне, не понимавшие значения слов «кулуары и интервью», поняли истинное значение рабоче-крестьянской революции скорее, чем меньшевик Никандр.

Вторая повесть—«Митякино»—сортом пониже первой. И здесь раскол крестьянской семьи. Но трактует свою тему автор не ново и не оригинально. Язык хромает, излишне слащав, непо-крестьянски сентиментален и приторен.

А. Баркова.

Василий Ряховский.—«Сокращение штатов». Изд. «Недра» 1926 г. Стр. 96.

Жил-был скучный интеллигент, Владимир Васильевич, который скучно был женат на кокетливой женщине Рите. Революция выбила супругов из седла и они скучно брюзжат на новые порядки, в обществе отставных акцизных чиновников и романтических графоманов, пишущих трактаты на тему о смысле жизни. Рита уехала к родным погостить, а Владимир Васильевич в это время успел влюбиться в комсомолку—такую же скучную и нудную, как и он сам. Но вернулась жена, скромный роман прерван, и Владимир Васильевич неожиданно умер (вероятно, от сюжетного малокровия повести).

Я совершенно согласен с теми, которые будут протестовать против такого «прозаического» пересказывания художественных произведений:—«Этак можно свести к нулю и самую интересную вещь». Но дело в том, что в книге Ряховского нет *ничего*, кроме этой схемы. Ни одного интересного образа, ни одного занимательного положения, ни одного живого человека.

Единственный раз обмолвился автор живой фразой:

«В соборе гулко ударяли в большой колокол и на его гуд из других церквей нанизывали звонкие голоса маленьких колоколов».

И потух. Ничего не увидел, ничего не приблизил к читателю из того провинциального мирка, который знает, очевидно, не плохо.

Нет места возражению, что сама тема провинциальной жизни скучна и не за-

нимательна:—*уездные* зарисовки Горького, Замятина и др. приучили нас к тому, что о *скудном* можно увлекательно писать и с большим любопытством читать. И если у начинающих писателей нет своих собственных сил выбраться на дорогу, надо пытаться зажечь свои маленькие дарования пламенем большой литературы.

Иначе они рискуют быть занесены в список хронических статистов искусства, которым никогда не выбраться на индивидуальные, запоминающиеся роли.

Федор Жич.

Георгий Устинов.—Черный ветер. Роман. Госиздат 1926 г. Стр. 127. 700 экз. Ц. 80 к.

Роман из эпохи гражданской войны—задача трудная и ответственная. У нас на эту тему написано достаточное количество романов, повестей и рассказов—большинство из них забывается на следующий день. Установился даже какой-то неизбежный трафарет, по этому трафарету написан и роман Устинова.

Дано три схематически обрисованные группы.

Первая группа,—центр романа,—коммунист Пажитков и его партизаны, нарушившие уставы военной дисциплины. Постепенно они превращаются в бандитскую шайку, ведут борьбу с красными отрядами, потом, надеясь заслужить прощение, сражаются с Махно. Вторая группа—идейные, неколебимые коммунисты. Третья—несколько шпионов, спекулянтов и содержанок. Условно мы готовы допустить и такую группировку, правда, уже неоднократно встречавшуюся, пожалуй, она была бы и не столь важна, если бы автор работал правильным методом.

В художественном произведении, построенном на столкновениях и противоречиях характеров, этот метод должен быть объективным, приближающимся по строгости письма к немногословной летописи. Ведь ценность изображения кровавых и страшных эпизодов заключается не в психологическом анализе (неизбежно относительном и произвольном), а в выпуклой фактичности в поступках и действиях. «Итальянские

хроники» Стендаля являются лучшими образцами такого метода, и этому методу следовало бы учиться всем нашим авторам, работающим над темами гражданской войны.

Не анализ и не описание чувств, а отчетливая передача расположенного в известной последовательности ряда жизненных и неизбежных положений—вот задача «военной» литературы.

Если бы Устинов сосредоточился на этом и отбросил психологию—возможно, он написал бы интересный роман или повесть. Но с психологией он не справился: она или слишком педагогична и назидательна или чересчур банальна. Фактическая ткань романа из-за этой психологии утратила свою ценность и пошла на задний план. Дело Савинкова красноречивее и убедительнее, чем дела Пажиткова. У первого все преимущества запутанности и сложности, у второго все недостатки однотонности. Группа спекулянтов удовлетворяет только обывательское воображение. Конечно, у них «роскошные» содержанки, конечно, они пируют в особняках, конечно, их арестовывают: «странно было бы видеть в те пламенные годы революции всех этих, одетых во фраки и манишки с высокими воротничками, мужчин, этих полуголых, жирных, откормленных, накрашенных, в дорогих колье, бриллиантах и жемчугах, вапудренных, выкупавшихся в дорогих духах женщин... видеть в это время громадную роскошную квартиру, принадлежащую одному человеку, это множество столов, уставленных бутылками дорогого вина, дорогими сервизами, изощренными дорогими закусками, которых наставлено было больше, чем на сто человек» (стр. 44). Полноте! Какие это женщины купались в духах, на каком языке закуски называются «изощренными»? Ах, товарищ Устинов! Прочитали бы вы хоть один роман Бальзака, любившего изображать «черную биржу»—он бы помог вам описать и содержанок, и «закуски», и мрак спекулирующей души.

Скажем прямо, стиль, сбивающийся все время на скверную канцелярщину—вот основной, непоправимый недостаток: «Черных ветров». С упорной ра-

боты над стилем придется начинать автору, если он еще раз решит выступить в художественной литературе.

К. Локс.

В. Келлерман. — «**Братья Шелленберг**». Перев. Г. И. Гордона. Изд. «Сеятель». Л. Стр. 304. Ц. 70 к.

Новый роман Келлермана можно считать, пожалуй, одним из наиболее значительных произведений переводной литературы последнего времени.

Среди «Женщин-кукол», «Людей в зоологическом саду», заплесневевших романов Клары Фибих, — книга Келлермана с ее, правда, беспомощно разрешенной, но все же широко поставленной общественной темой, приобретает особенную ценность.

В несколько нарочитой и нестройной интриге романа сталкиваются представители самых разнообразных общественных слоев современной Германии: здесь и берлинская богема, и рабочие, и капиталисты: — одни — «потомственные», другие — только недавно чудовишно разбогатевшие на смелых спекуляциях. К последним относится один из двух братьев Шелленберг, в сущности главный герой книги — Венцель. Фигура Венцеля — своеобразное смешение болезненного авантюризма со здоровым упорством, настойчивостью, постепенное превращение его из мелкого шибера во владельца богатейших и могущественнейших концернов; «бывшие люди», облотившие счастливица в ролях личных секретарей, управляющих, агентов, сыщиков и пр., — все это очень хорошо удалось Келлерману. Зато чрезвычайно неудачен и бледен приторно добродетельный, неумный и путанный «реформатор», капиталист Михаил Шелленберг — «обновитель» Германии, совершенно пасующий перед великими задачами возрождения страны и создания «беспошлинных, беспаспортных и безграничных государств», — задачами, навязанными ему автором.

Неотчетливые и расплывчатые проекты свои о всеобщем равенстве Михаил начинает осуществлять путем привлечения безработных к постройке полугосударственных, полугосударственных полупромышленных городов.

Как сам Михаил, так и вся часть романа, ближайшим образом связанная с ним сюжетом и персонажами, — холодны и тенденциозны...

...«Освободите, пожалуйста, этого несчастного, — говорит Михаил о безработном, пустившем ему пулю в плечо. — Он — жертва общественной нужды»...

Несколько фальшиво и неоправданно «обращение» Венцеля: под влиянием своих семейных неудач, он бросает Берлин, и после смерти брата удаляется в одно из имений, чтобы продолжать начатую им работу.

Насколько автор наивен и беспомощен в «положительной» части романа — в разрешении социальных противоречий, взваленном почему-то на плечи филантропа — капиталиста, — настолько он правдив, наблюдателен и интересен в части, посвященной буржуазии послевоенной Германии.

В романе чувствуется некоторое нагромождение самостоятельных, искусственно связанных между собой интриг — хотя это и позволяет автору включить в роман большое количество действующих лиц, охватить ряд разнообразных моментов жизни Германии последних лет.

Нервозный, напряженный импрессионистский стиль «9-го ноября» вспоминается здесь только в некоторых местах. Книга написана гораздо спокойнее и свободнее.

Оригинал, очевидно, достаточно испорчен, вернее чересчур дословно передан переводчиком:

«Издали доносился какой-то странный и в то же время приятный шелест. Деревья издавали какой-то запах, но больше всего очаровывала чудная тишина. Вдруг Георгу показалось, что он погружается в какую-то глубину»... «Море ослепительно блестело, а горы, раскаленные солнцем, были лишены всякой растительности»... и т. п.

Н. Эйшиксма.

А. Луначарский. — «**О театре**». Сборник статей. Изд. «Прибой». Л. 1926. Стр. 237. Цена 2 р. 25 к.

Новая книга Луначарского «О театре» — в отличие от предыдущей («Театр и революция») лишена статей обще-

эстетического порядка. В подавляющем большинстве сборник посвящен «откликам на текущие театральные события», преимущественно анализу сезона 1924—1925 г. г. Все помещенные статьи (кроме предисловия) уже появлялись в наших периодических изданиях. В их числе ряд статей о Малом театре, о Камерном, о Большом (к столетию), о спектакле «Анна Кристи», о «Смерти Пазухина» в МХАТ'е, о театре красного быта и т. д. Последние две части изданы в перепечатке статей о Западно-европейском театре, так же опубликованных в период 1912—1914 г. г. в «Театре и искусстве». Таким образом, интереса новизны книга не представляет, но дает ряд любопытных наблюдений о театре.

Луначарский пишет не только, как критик,—но и как зритель. Может быть, как зритель, в большей степени. Луначарский исходит от непосредственного и совершенно эмоционального восприятия, которому он затем ищет объяснения и оправдания. Автор сам признается, что его—«человека, театрално довольно искушенного»—театр «частенько волнует». Далекий от «равнодушного поглядывания на сцену», Луначарский импульсивен в своих суждениях, он сохраняет силу первого впечатления и всецело попадает под власть театрального представления. Таковы его «Парижские письма»,—записи внимательного посетителя парижских премьер и генеральных репетиций. Большинство статей появилось не в переработанном виде—как они довольно спешно вылились из-под пера взволнованного автора вскоре после спектакля. Отсюда возникают те частые общие определения, которыми пользуется Луначарский (постановка нарядная, исключительно ярка и т. д.), отсюда вытекает и живая заразительность книги.

Подход Луначарского обращается в своеобразный и плодотворный метод «анализа непосредственного восприятия». Восприятие он ставит в связь с общей проблемой деятельности того или иного театра и его сценических особенностей (искусство Малого театра, МХАТ'а, Мейерхольда). Конкретный спектакль, в изложении Луначарского,

характеризует стиль всего театра в целом. Оценка некоторых явлений не терпит, однако, своей спорности. Рядом с блестящим анализом комедии Ромашева «Воздушный пирог» (значительность поставленного задания, не подчиненность автора «старой комедии») — кажется преуменьшенным значение Эрдмановского «Мандата», который Л. хотя и считает «самым большим театральным явлением прошлого сезона», но принимает с рядом оговорок. Рядом с четким анализом Малого театра (театр—«психологический» и «социальный» с преобладанием «слова»), остается двойственным отношение к Камерному театру: его Луначарский считает созданным «для героических трагедий и социальных комедий», но одновременно видит опасность вырождения во «внешнюю монументальность». Немного недооценены пути раннего Мейерхольда (первых лет революции), который отнюдь не строил свой театр («Зори», «Мистерия буфф») в качестве «блестящего развлечения, веселой полудирковой, полукинематографической «игры» в самом прямом смысле этого слова».

Обе книги—«Театр и революция» и «О театре»—дают большой материал не только для историка современного театра, но и для анализа эстетических взглядов руководителя нашей театральной политики. Впрочем, это—тема отдельной статьи, тем более, что Луначарский обещает «новую книгу», в которой «изложена была бы основная эссенция его взглядов на театр». Новая книга помогла бы четко и окончательно поставить все вопросы, связанные с «театральной эстетикой» Луначарского, в свое время вызвавшей такие споры и явно отразившейся на его «театральной политике».

Книга издана лучше, чем «Театр и Революция», но снова без соблюдения элементарных библиографических правил (без указания дат статей и места их первого появления).

П. Марков.

Э. Форстер.—«Поездка в Индию» («История одного преступления»). Издание М. С. Сабашниковых 1926 г.

Маленький городок в Бенгалии у Марабарских пещер. Десяток—другой англичан-чиновников. Тяжелое наказа-

ние грозит доктору индусу—Азису, находящемуся на государственной службе, за то, что, показывая пещеры мисс Квэстед, пытался будто бы ее изнасиловать. Но в самый острый момент суда «потерпевшая» берет обвинение назад.

Дальше мисс Квэстед рвет со своим женихом и возвращается в Лондон; Фильдинг—друг индуса—счастливым женился; а индус уехал в глубь страны лечить своих сограждан.

Такова фабула, но за этой несложностью романа притаилась насыщенная противоречиями жизнь современной Индии. Сжалась, уплотнилась и глухо «клокочет» в этой простой книге.

У Форстера ярко описано, как группа англичан, наблюдающих за праздником индусов, боится попасть даже в полосу света. Здесь острее всего переплелись величавость религиозных настроений со стихийной ненавистью к поработителям-иностранцам.

Как известно, англичане сидят в Индии для благодетельствования этой страны; но на «цивилизаторскую» их деятельность Индия отвечает по-своему. И на суд над индусом коллектору (главное административное лицо в английской провинции) надо ехать под усиленной охраной полицейских; даже метельщики—и они почему-то вдруг исчезли; и приходится искать из окрестностей именно таких, что менее всего убеждены в невинности Азиса (подсудимого); дети забрасывают автомобиль проезжающих камнями; при входе в суд—крики студентов, «истерических» мальчишек; и уж дико и непонятно то, что каждое слово защиты за дверями суда подхватывается ожидающими толпами и выливается в пламенное заклинание:

Эмисс Эсмур
Эмисс Эсмур
Эмисс Эсмур

(имя миссис Мур, умершей англичанки, что могла бы дать показание в пользу индуса).

Неожиданно для англичан дело принимает злобешую окраску. И эти сбесившие метельщики, и туземки, поклявшиеся не принимать пицци, пока заключенного не оправдают, и странные письма с заграничными марками, что полу-

чал друг Азиса—«японский Шпион» (!).

«Появился какой-то новый дух, какая-то перестановка вещей, и никто из этой маленькой кучки белых не мог этого об'яснить».

А рознь меж мусульманами и индуистами. Вдруг оказывается какое-то странное единство угнетенных масс в горе. Их разделяет вера. Отдельные воспоминания. Былая слава Кордовы для мусульман. Но это давно. А теперь...

«Пока мы ее (славу) оплакиваем, англичане занимают Дели и изгоняют нас из восточной Африки. Ислам, даже истинный ислам, и тот бросает неверный свет на путь к свободе.

Песни будущего должны перейти грани веры»,—так заключает Азис (индус-мусульманин).

Знаменательно то, что почти одновременно с «Поездкой в Индию» появилась книга Картхилия, англо-индейского администратора: «Потерянная Индия.— Почему англичане потеряли Индию».

Англичане не потеряли Индии; их там 100 тысяч на 325 милл. туземцев.

Жизненный факт—Британия владеет морями, владеет и Индией.

Но Индия тронулась в путь. Лед идет.

В книге англичанина Форстера это выражено. И это главное.

Самый процесс перерождения Азиса,—психологическая метаморфоза превращения его из парии, полупрезирающего все национальное, в страстного политического националиста,—автором так и не показан. Взяты две крайности. Между ними суд. Но уж таков самый фон этого романа, «внешняя обстановка». И жизненная правда этого перерождения чувствуется сама.

Феерические чары Востока, подгримированные страсти, обычные для «экзотических» романов,—в этой книге их нет. И это выгодное отличие «Поездки в Индию». И еще: нет манерности; Форстер—не турист. Он несколько сух, но серьезен и прост. Куски подлинного быта. Вся мешанина, вся паника кучки чиновников, англичан, командующих массами рабов; их клуб, чаяния и чиновные надежды показаны художественно и цельно.

Само слово у Форстера сухо и скупо в эмоциональном отношении. Оно почти

безразлично. У образов нет своего чекана. Но у Форстера есть свой особый прием творчества: нервы книги натянуты почти до срыва; не выразительные сами по себе слова и идеи напряжены; сам он скользит по самым верхушкам слов своих героев, их идей и красок природы.

И, всем этим жонглируя, он нас подчиняет; он заставляет все время быть настороже. Поэтому эхо Марабарских пещер (злополучное эхо, искажившее всю жизнь городка) неожиданно и замечательно оживает и на суде и неоднократно после него.

Постепенно, но верно, накаляется в романе социально-политическая атмосфера.

В книге видно,—как какаля-то сила событий перегоняет всех и даже этого «подсудимого» Азиса,—индуса-интеллекта.

И, когда логика умного Фильдинга начинает его прижимать, индус не находит ответа, но чувствует другую логику, логику стихии событий.

«Долой англичан во всяком случае. Это верно. Убирайтесь, говорю я Вам, убирайтесь скорее».

Мы можем ненавидеть друг друга, но Вас мы ненавидим еще больше. Если я не заставлю Вас уйти, Вас заставят Ахмед и Керим (дети Азиса); хоть через полмиллиона лет, но мы освободимся от Вас, да, мы загоним в море всех проклятых англичан и тогда мы с Вами будем друзьями».

Брагин.

В. Ф. Переверзев.—«Творчество Гоголя». Издание 2-ое, дополненное. Книг-во «Основа». Иваново-Вознесенск. 1926 г. Стр. 172.

Несмотря на то, что первое издание этой книги вышло еще в 1914 г. (и с тех пор до сего времени не переиздавалась), книга и сейчас должна рассматриваться как одна из лучших научных работ по истории русской литературы прошлого столетия.

Наши литературоведы-социологи, как известно, доселе уделяли не особенно много внимания социальному анализу формы художественных произведений,

занимаясь, главным образом, выяснением идейного значения литературных произведений. Работа В. Ф. Переверзева ценна как одна из первых действительно серьезных попыток всестороннего социологического анализа литературно-художественного творчества, в данном случае Гоголя.

Свое изложение В. Ф. Переверзев открывает весьма интересным предисловием—статьей под заглавием «Гоголевская критика за последнее десятилетие». Здесь автор рецензируемой книги подводит итоги новейшим изысканиям в области гоголевского творчества. Автор рассматривает работы биографического, фрейдистского и так наз. формального направлений. И совершенно справедливо В. Ф. Переверзев констатирует полную бесплодность этих работ. И стремление биографов об'яснить сложную сущность художественного творчества Гоголя его индивидуальной личностью, и сексуальное «толковничество» пресловутого Ермакова, и метафизическое понимание формы, ее полный отрыв от реального бытия у формалистов,—все это ведет к тому, что все «новые» работы сторонников этих «методов» не дают ничего действительно нового, а сводятся лишь к производству новых ярлыков. В. Ф. Переверзев в заключение своего предисловия блестяще отводит все «возражения» формалиста А. Цейтлина, выступившего с критикой социологического анализа В. Ф. Переверзева.

Разбирая творчество Гоголя, В. Ф. Переверзев останавливается на всех сторонах художественного стиля Гоголя, всюду представляя нам и социальный генезис художественных особенностей творчества Гоголя. В основу своей интерпретации наш автор кладет положение: Гоголь—отобразитель разлагающегося дореформенного провинциального мелкопоместного русского дворянства. Наряду с этим мелкопоместным характером творчества Гоголя, Переверзев указывает на присутствие в гоголевском творчестве казачьего элемента. Эту двойственность проф. Переверзев, в противоположность всем другим исследователям, решает в духе социологизма. Гоголь—

мелкопоместный дворянин эпохи распада этой среды, его коснулся процесс деклассирования, он не удовлетворен современным ему положением дворянского мелкого поместья, он ищет чего-то более идеального, и, не обладая большой интеллектуальной культурой, в отличие от художников крупного поместья: Пушкина, Л. Толстого и др., он может перенестись только в область

прошлой, в общем — примитивной, бунтарской казачьей жизни, отсюда и появляются книжные казачьи типы в его творчестве. Самый анализ стиля сделан у Перверзева очень интересно и убедительно, так, напр., дан великолепно анализ Гоголя-жанриста, хорошо разобраны характеры и т. д. и т. д.

Арк. Глаголев.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ.

В 5-й книге журнала «Новый Мир» напечатана повесть Бориса Пильняка «Повесть непогашенной луны». Хотя в предисловии повести и содержится указание, что речь идет не о смерти тов. Фрунзе, но вся бытовая обстановка, некоторые подробности и т. д. говорят об обратном. Повесть держит читателей в уверенности, что обстоятельства, при которых умер «командарм», герой повести, соответствуют действительным обстоятельствам и фактам, сопровождавшим смерть тов. Фрунзе. Подобное изображение глубоко печального и трагического события является не только грубейшим искажением его, крайне оскорбительным для самой памяти тов. Фрунзе, но и злостной клеветой на нашу партию ВКП(б).

Повесть посвящена мне. Ввиду того, что подобное посвящение для меня, как для коммуниста, в высокой степени оскорбительно и могло бы набросить тень на мое партийное имя, заявляю, что я с негодованием отвергаю это посвящение.

С товарищеским приветом А. Воронский.

ОТ РЕДАКЦИИ.

Поменая письмо тов. Воронского, редакция вполне присоединяется к его мнению. Редакция считает помещение в «Новом Мире» повести Пильняка явной и грубой ошибкой.

Редакция.

Издатель «Известия ЦИК
СССР и ВЦИК».

А. В. Луначарский.
Редакция: В. П. Полонский.
И. И. Степанов-Скворцов.

Н О В Ы Й М И Р

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА

СОДЕРЖАНИЕ ВЫШЕДШИХ КНИГ:

Я Н В А Р Ь

С. ЕСЕНИН.—Черный человек (поэма). Вс. ИВАНОВ.—Яицкие притчи (расск.). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ.—Море (из ром. «Преображение»). Н. АСЕЕВ.—Бурские края (стих). С. КЛЫЧКОВ.—Чертухинский Балакирь (отрывки из романа). Вл. МАЯКОВСКИЙ.—100% (стихотв.). А. СОБОЛЬ.—Мемуары веснушчатого человека (рассказ). В. НАСЕДКИН—Три стихотворения. В. ПИЛЬНЯК—Грэгго-тримунтан (рассказ). П. ОРЕШИН—Стихотворение. В. ДАНИЛОВ—Художественный образ в языке Ленина. В. ВЕРЕСАЕВ—Воспоминание о Короленко и Анненском. Л. ВОЙТОЛОВСКИЙ—М. Е. Салтыков-Щедрин. А. АРОСЕВ—Памятники революционного Парижа. Г. ЛЕЛЕВИЧ—Поэт мужицкой стихии (С. Клычков). Вач. ПОЛОНСКИЙ—Памяти Есенина. В чужих краях. П. ШУБИН—Чего добилась и чего не добилась буржуазия в Локарно. Земля советская. Р. АКУЛЬШИН—«Калитра» и культура (из деревенского блокнота). Н. СМИРНОВ—Заметки о журналах. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ—В. Красильникова, Г. Яеубовского, Ф. Жид, Я. Фрида, С. Пакентрейгера, Ю. Данилина.

Ф Е В Р А Л Ь

С. ЕСЕНИН—Четыре стихотворения. М. ПРИШВИН—Юность Алпатова (роман). Бор. ПАСТЕРНАК—Потемкин (из поэмы 1905 г.). С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ—Жестокость (повесть). Ник. ЗАРУДИН—Два стихотворения. Дм. СТОНОВ—Хрущев (рассказ). В. НАСЕДКИН—Стихотворение. Мих. ГЕРАСИМОВ—Стихотворение. Пант. РОМАНОВ—Огоньки (рассказ). В. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ—Стихотворение. В. ШИШКОВ—Комар (рассказ). М. ГОЛОДНЫЙ—Два стихотворения. Из неизданной переписки Л. Н. ТОЛСТОГО (10 писем к Н. Н. Страхову). С. ГОРОДЕЦКИЙ—Воспоминание о Есенине. А. ЛЕЖНЕВ—О современной критике. Ник. СМИРНОВ—Заметки о современных писателях (М. Пришвин). В чужих краях. Вл. МАЯКОВСКИЙ—Нью-Йорк. Земля советская. Д. ФИБИХ—Черное и красное. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Д. Горбова, Дм. Фурманова, Г. Яеубовского, Н. Асеева, Е. Браудо.

Продолжение см. на 4-й стр. обложки.

Н О В Ы Й М И Р

под редакцией А. В. ЛУНАЧАРСКОГО, В. П. ПОЛОНСКОГО и И. И. СТЕПАНОВА-СКВОРЦОВА.

СОДЕРЖАНИЕ ВЫШЕДШИХ КНИГ:

М А Р Т

С. СЕРГЕЕВ-ЦЕНСКИЙ — Жестокость (повесть). Нив. АСБЕВ — Декабристам (три стихотворения). Вл. МАЯКОВСКИЙ — Порядочный гражданин (стихи). Мих. ПРИШВИН — Юность Аллатова (роман). Петр ОРЕШИН — Три стихотворения. Вл. БАХМЕТЬЕВ — Железная трава (рассказ). И. ДОРОНИН — В степи (стих.) С. КЛЫЧКОВ — Чертухинский Балакирь (роман). В. ИНБЕР — Сыну, которого нет (стих.) И. СОКОЛОВ-МИКИТОВ — Два рассказа. А. ЯСНЫЙ — Стихотворение. Мих. ГЕРАСИМОВ — Песенка (стихотв.) Дм. СЕМЕНОВСКИЙ — Два стихотворения. Ал. БЕЛОЗЕРОВ — Из молодых лет Максима Горького (по новым материалам). В. НЕЧАЕВА — Из литературы о Достоевском (поездка в Даровое). Нив. СМИРНОВ — Памяти Ларисы Рейснер. А. ЛУНАЧАРСКИЙ — «Искусство в опасности». Юр. СОБОЛЕВ — Театральная жизнь Москвы. Б. ГУБЕР — Два романа. А. ЯКОВЛЕВ — Деревня. А. СТАРЧАКОВ — Ленин в песнях советск. Востока. Вл. ВЛАДИМИРСКИЙ — Город Та-Чен (в Западном Китае). ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Ф. Жиц, К. Локса, Г. Борезко, Е. Браудо, Н. Пимсанова, В. Гольцева, В. Козмина, С. Борисова.

А П Р Е Л ь

А. ТОЛСТОЙ — Московские ночи (рассказ). С. ЕСЕНИН — Стихотворение. Л. СЕЙФУЛИНА — Каин-кабак (повесть). А. БЕЗЫМЕНСКИЙ — Картошка (стихотв.). М. ПРИШВИН — Юность Аллатова (роман). Нив. ЗАРУДИН — Вальдшнепы (стихотв.). Е. ЭРКИН — Мейран (стихотв.). Пант. РОМАНОВ — Первая любовь (рассказ). С. КЛЫЧКОВ — Чертухинский Балакирь (роман). П. ДРУЖИНИН — Стихи о стихах. Н. ДЕМЕНТЬЕВ — Два стихотворения. Ал. БЕЛОЗЕРОВ — Из молодых лет Максима Горького (по новым материалам). А. СМИРНОВ-КУТАЧЕСКИЙ — Страдальная частушка советской деревни. Вяч. ПОЛОНСКИЙ — Памяти Фурманова. Л. ВОЙТОВСКИЙ — Новые вещи Горького. Я. ТУТЕНДХОЛЬД — Дела художественные. Е. БРАУДО — Художественная проблема радио. С. БУГОСЛАВСКИЙ — Музыкальная жизнь Москвы. А. ЛИТВИНОВА — Два английских писателя. А. ЯКОВЛЕВ — Деревенские очерки. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Бор. Губера, Ф. Жиц, А. Барковой, Г. Якубовского, Ю. Данилина, И. Сергиевского, Ю. Соболева, Н. Ашукина, М. Брагинского.

М А И

Алекс. СЫТИН. — Стада Аллаха (рассказ). Петр ОРЕШИН. — Три стихотворения. В. ВЕРЕСАЕВ. — Три (Из отроческих воспоминаний). Дм. СЕМЕНОВСКИЙ. — Два стихотворения. Мих. ПРИШВИН. — Юность Аллатова (роман). Ал. МАКАРОВ. — Счастливая земля (рассказ). Мих. ЮРИН. — В горах (стихотворение). М. ТЕРЕНТЬЕВА. — Тайга (стихотворение). Анна БАРКОВА. — Табачная плантация (стихотворение). Серг. КЛЫЧКОВ. — Чертухинский Балакирь (роман). Вл. МАЯКОВСКИЙ. — Сергею Есенину (стихотворение). А. ЛУНАЧАРСКИЙ. — «Игра любви и смерти» (новая пьеса Ромея Ролана). Три письма И. С. ТУРГЕНЕВА к А. П. ЕФРЕМОВУ (с предисловием С. Орловского). Н. ЗАМОШКИН. — Литературные проселки. Б. РЕЙХ. — Современные немецкие драматурги. Я. ТУТЕНДХОЛЬД. — Наша скульптура. Ник. СМИРНОВ. — О «Перевале». Р. АКУЛЬШИН. — Разговоры. П. ШУБИН. — Пасхальный стол II Интернационала. ОТЗЫВЫ О КНИГАХ: Л. Войтоловского, Бор. Губера, Н. Замошкина, Виктора Якерина, И. Сергиевского, Арх. Глаголева, Ю. Соболева, Ю. Данилина, Н. Эйшишкиной.